Н. С. Арсеньев

ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

N. S. Arsen'ev

A CREATIVE APPROACH TO RUSSIAN CULTURAL TRADITION

With a foreword
by Serafim Miloradovich

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Н. С. Арсеньев

ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Предисловие Серафима Милорадовича

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Nikolai Arsen'ev: IZ RUSSKOI KULTURNOI
I TVORCHESKOI TRADICII
With a foreword and bibliography
by Serafim Miloradovich

First published in 1959 by Possev-Verlag (Frankfurt am Main)
Reprinted (courtesy of Possev-Verlag) in 1992
by Overseas Publications Interchange Ltd,
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 1 870128 87 7

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by J. W. Arrowsmith, Bristol

ПРОФ. НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АРСЕНЬЕВ (1888 — 1977)

Профессор Николай Сергеевич Арсеньев родился в 1888 году в Стокгольме (Швеция), где его отец состоял на русской дипломатической службе. Николай Сергеевич Арсеньев окончил Московский лицей и полный курс Московского университета (1912). Московская жизнь начала века с ее основными процессами духовной жизни и противоречивыми новыми стремлениями — с одной стороны, верность старым традициям, с другой, изысканный Серебряный век, с третьей, кипение общественных философских исканий — оставила в молодом Арсеньеве глубокий след. В этом легко убедиться, читая его лекции и статьи. С 1912 по 1914 год Николай Сергеевич продолжал изучение философии в Германии и получил степень доктора философии Кенигсбергского университета. В 1914 году он был принят в Московский университет на должность приват-доцента. Февральская революция и Октябрьский переворот застали его в Москве. В 1918 году Арсеньев был назначен профессором в университет в Саратове на новую кафедру Сравнительной истории религии (в 1920 году большевики эту кафедру закрыли).

В годы Первой мировой и гражданской войн Арсеньев пытался пойти добровольцем на фронт, но был забракован из-за плохого зрения — однако некоторое время служил в Красном Кресте при Белой Армии. После поражения Белого Движения Николай Сергеевич поселился в Варшаве, где преподавал Православное богословие при университете и регулярно ездил в Кенигсберг, где преподавал философию.

Во время Второй мировой войны он был в Германии, где нацистские власти запретили ему заниматься преподавательской деятельностью. В 1945 году представительство Польского правительства в Лондоне предоставило ему почетный паспорт, с помощью которого Николай Сергеевич смог поехать в Париж. Там, перенеся сложную глазную операцию, он стал преподавать в Богословском Институте Св. Дионисия и читал лекции в разных православных, католических и протестантских организациях.

В 1947 году профессор Арсеньев был приглашен в Нью-Йорк в Православную Свято-Владимирскую Академию при Колумбийском университете. Там он преподавал вместе с такими известными мыслителями, как Н. О. Лосский, о. Г. Флоровский, Г. П. Федотов, о. А. Шмеман, С. С. Верховский, о. И. Мейендорф и др. Впоследствии Академия стала самостоятельным высшим учебным заведением и переехала в Криствуд (штат Нью-Йорк) в отдельное больше помещение с красивой церковью и парком. Николай Сергеевич остался при Академии до конца жизни. Он скончался в 1977 году в городке Сиклифф недалеко от Нью-Йорка.

Н. С. Арсеньев сумел остаться удивительно молодым до конца своего длинного жизненного пути. Однако не только этим он привлекал к себе молодежь. Вокруг него всегда теснился круг молодых людей, для которых были, конечно, важны его поистине энциклопедические знания (он знал, например, 12 языков и читал ежедневно Священное Писание на греческом и древне-еврейском), но гораздо более притягательной была его глубокая духовность, его способность видеть Божественную искру в каждом человеке. Круг интересов Николая Сергеевича был таким обширным, что его невозможно охватить. Он был не столько богословом в профессиональном понимании этого термина, сколько религиозным мыслителем, мистиком-реалистом. Он также, как про него сказал

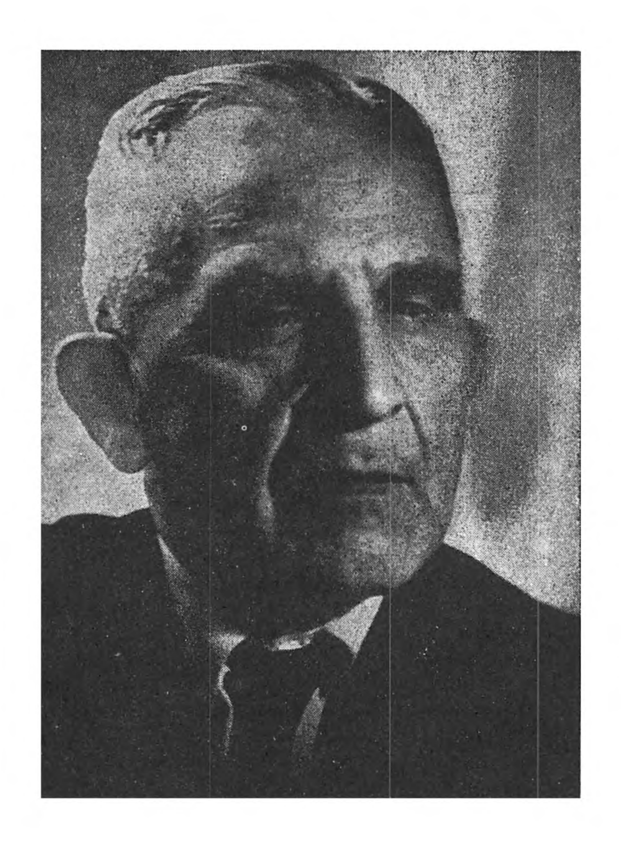
Р. Плетнев, "исследователь и поэт - сей остальной из стаи славной мыслителей свободной России".

Помимо богословия, надежды и устремления Арсеньева связаны были с ролью русской культуры в построении будущей России. Николай Сергеевич был сторонником истинного экуменического движения, всего, что возвышало без компромиссов в принципах. Он был убежден, что красота в этом мире есть порыв к Богу. Один известный протестантский богослов сказал о нем: "Если вы желаете ознакомиться с русским Православием, то, прежде чем взяться за книги, рекомендую вам встретиться с профессором Арсеньевым". Н. С. Арсеньев воистину воплощал в себе лучшие черты глубокой культуры, пропитанной Православием и с любовью открытой всем.

Проф. Арсеньев всегда надеялся, что его книги проникнут в Россию. И радость его была велика, когда в 1974 году он узнал от новоэмигрантов, что труды его уже тайком попадают в Россию и вызывают все растущий интерес.

Мы уверены, что переиздание его книги "Из русской культурной и творческой традиции" поможет еще более близкому знакомству российского читателя с творчеством Арсеньева. Книга эта особенно актуальна в наши дни, так как подлинная культура всегда антитоталитарна и преображает человека глубже, чем любые, даже самые талантливые, политические трактаты.

Серафим Милорадович



Н. С. Арсеньев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пришло время подводить итоги русскому культурному достоянию, русской духовной и творческой традиции. Подводить итоги не для того, чтобы хоронить или ставить на полку в музей старинных, отживших культур, а чтобы *питать и вдохновлять жизнь,* чтобы *создавать жизнь:* готовить новую восстановленную, свободную жизнь в освобожденной России. История устремлена *вперед;* то молодое поколение, на ответственности которого лежит строительство будущего (ибо призвание наше и в первую очередь молодого поколения в том, чтобы *строить будущее)* должно, однако, строить его, вдохновляясь из того лучшего, чем веками жил и питался духовно русский народ, из его духовных сокровищ, и из того, что выше народа и народного, но чем живет народ и душа его, — из Источников Высшей Жизни, из Правды Божественной, из Реальности Божественной.

Народ живет из корней духовных и физических, как и дерево растет из корней, т. е. из жизни традиции. Без традиции нет истории, нет жизни народа, но традиция эта *динамична,* она устремлена вперед и уходит вглубь. Есть единая духовная органическая жизнь народа, полная борьбы, взлетов и падений, достижений и неудач, тяжких грехов и подвигов праведности, но в своем лучшем питавшаяся из ценностей духовных, которые выше народа, и связанная с духовным лицом, с психологическими предпосылками и со всей историей народа. Мы должны критически расценивать эту историю, эту традицию, и с любовью беречь и «культивировать» то ценное, что она произвела, и творить новую жизнь и новые ценности духовные, питаясь из тех же источников духовных, не в рабском внешнем подчинении или подражании, а в *динамическом росте.* В этом и есть смысл культуры. Она определяется источниками, ее питающими, и целями, к которым она устремлена, и живою тканью исторической преемственности и личного усилия и подвига, подвига как отдельных лиц, так и целого народа. Живое предание и личный подвиг, устремление вперед и укорененность в прошлом и в глубинах жизни духа составляют одно

— один порыв, один поток, одно мощное течение. Чтобы участвовать плодотворно в жизни своего народа, чтобы влиять на нее, нужно знать, из чего родились высшие его достижения, высшие его духовные сокровища, и самому воспринять в себя эти творческие, будящие, плодотворящие силы. В Советской России эта преемственность насильно извне нарушена наложенным на народ ярмом рабства и беззакония, такого рабства, которого история еще не видела, ибо это рабство также и духовное, убивающее совесть и живую сущность человека или, во всяком случае, стремящееся убить их. Ибо и под этим ярмом в скрытом, подавленном виде, гонимая и попираемая, еще не вполне умерла эта живая традиция, эта жизнь духа, из которой только и может жить народ. Наша задача — способствовать сохранению и восстановлению *свободного потока творческой традиции* — более того, воспитывать себя к ответственной нравственной расценке себя и своего прошлого и настоящего к нравственному — сознательному, мужественому и творческому — подвигу.

Настоящая книга написана несколько лет тому назад, но темы, ею затрагиваемые, сохранили свою значительность. Она посвящена рассмотрению той *ткани* творческой преемственой жизни, которая составляет самую сущность и основу культуры. Отдельные ее черты, отдельные группы явлений выхвачены нами из общего потока, но они помогут нам составить себе мнение об общем ходе и характере этого творческого процесса и прикоснуться к питающим его духовным силам.

1958 г. *Автор*

ВСТУПЛЕНИЕ

1.

Немо ли для нас и для будущей свободной России русское прошлое или есть живая связь, живая преемственность духовной жизни и духовного творчества? Вот вопрос решающего значения. Решающего оттого, что не может поток течь вперед, если он отрезан от своих истоков, и не может расти ввысь дерево, лишенное корней. Без живой связи с прошлым прекращается творчески-поступательная жизнь народа. Ибо жизнь есть одно органическое нераздельное целое: нельзя его разрезать на куски и удовольствоваться отрезком настоящего, ибо получится кусок трупа. Можно ли отказаться от всего своего прошлого, от того, что его вдохновляло к жизни и творчеству не отказавшись от собственного «я»? Народ может и даже должен критически и вдумчиво-строго относиться к своему прошлому (как и к своему настоящему), но тем более должен он бережно чтить и любить те духовные питающие ценности, которыми он жил, те основы, из которых выросло лучшее, что он создал. Только то, что укоренено в почве, истинно динамично и жизненно.

Что же в этом прошлом особенно ценно, особенно близко, от чего веет особым душевным теплом, что в этом прошлом стояло у самых источников русского творчества, русской духовной жизни и питало их? Часто мало заметное особенно важно. Самая *ткань жизни,* повторяю, насыщенная творческими воздействиями, передатчица духовной традиции, не менее интересна и важна для изучения, чем отдельные великие памятники и творения культуры, выросшие на основе этой ткани, напитанные этим скрытым в ней потоком жизни и без нее невозможные. Вот на эту ткань жизни прошлого главным образом и обратим свой взор, на этот поток духовной преемственности, насыщенной творческой энергией, соединяющей прошлое с настоящим, приближающий отцов к детям, живой, должно быть — более того, *наверное* и поныне. Формы изменились, но дух творческой преемственности еще веет. Изучим его прошлые формы, часто пре-

красные, часто своеобразные, иногда грустно-невозвратимые, иногда внутренне давно преодоленные, иногда по существу живые и поныне — проявления этого то тихого и сосредоточенного, то юношески играющего, творчески могучего потока, исполненные и согретые духом жизни.

Конечно, не следует однобоко идеализировать. Много, очень много печального, непросветленного и отрицательного было и в ткани русской жизни, много грехов и вин. Тяжелы и темны были часто судьбы русского народа, особенно крестьянства, и много проявлений русской художественной и умственной культуры выросло как раз на заднем фоне крепостного права в привилегированной обстановке, созданной этим крепостным правом (хотя в лучших своих представителях она внутренне и отрицала его). Все это отнюдь не умаляет великой ценности того духовного наследия, о котором идет речь и которое принадлежит *всему* народу, в каком бы слое оно ни проявилось. На эти ценности обратим свой взор.

И в связи с этим другой вопрос ставится с такой же силой: как связана эта ткань культурной традиции с *основной стихией русской жизни,* с основными струями или потоками, слагающими ее? Присматриваясь ближе, мы увидим глубокую укорененность в *народной* стихии нашего культурного наследия: оно не есть продукт только того или иного слоя, оно по существу своему истинно и глубоко народно, ибо вытекает из основ, из глубин народной жизни, из предпосылок народной психологии. Такова, например, эта связанность с просторами, столь характерная для русской народной души со всеми ее достоинствами и недостатками, с ее различными дарами, но и с ее душевными опасностями, вытекающими отсюда. И вместе с тем из этой связанности с просторами родились и высшие перлы русской художественной культуры. Эта основная стихия народной души могла быть питающим, живительным источником культурного творчества, но и страшной губительной силой, если хаотически разливалась, ниспровергая все препоны, все основы нравственного порядка. Сама по себе нравственно нейтральная природная сила, она могла или просветляться духовным началом, становиться благодарной почвой, приносящей плод сторицею, или превращаться в слепую, разнузданную склоку буйных и темных элементов, или, наконец, замирать в пассивном нравственом оцепенении и отяжелении.

В связи с этим взор наш простирается еще дальше и устремляется к тем *основоположным, просветляющим жизнь*

духовным силам, что действовали и, я верю, и доныне действуют, хотя может быть, и более скрыто, в русском народе, к тем творческим, спасающим, исцеляющим и созидающим силам, из которых он духовно жил в течение своей истории, даже среди всех своих несовершенств, слабостей и падений.

Из этой живой ткани духовной преемственности и из этих оплодотворяющих духовных сил становятся нам более ясны — ибо они выросли и питались отсюда — и великие произведения русского творчества и основные проблемы русской мысли, образы праведников, воплотивших в себе высшие устремления и идеалы народной души.

2.

Я особенно много, но далеко не исключительно, остановлюсь в этой книге на культурном материале, относящемся к началу и середине 19-го века. Это и понятно: то было как раз время величайшего цветения русского художественного творчества, особенно в области литературы. Более того, в это время как раз произошел тот великий *культурный синтез,* из которого вырос этот изумительный творческий подъем русской художественной и умственной жизни и культуры, характеризующий русский 19-й век. Этот синтез произошел как результат встречи двух духовных начал, двух культур: своего, национального, русского начала, в значительной степени напитанного и оплодотворенного духовной традицией Православной Восточной Церкви, и начала западного. Самое яркое проявление этого творческого синтеза, выросшего из этой встречи, — Пушкин, а за ним Толстой, Тютчев и ряд других· Но и Достоевский немыслим без этого синтеза. Конечно, он получает у него особый характер, как ведь Достоевский, с его «горнилом» сомнений и исканием Бога есть целый особый мир для себя: это сочетание скорби Иова и трепета Паскаля, исканий и отрицаний русской радикально-интеллигентской молодежи, выросшей часто на материалистически-поверхностных западных брошюрках и вместе с тем нередко более глубокой, чем эти брошюры, и мятущейся духовно; тут далее воздействие литературных традиций реалистически-авантюрного, но вместе с тем социально настроенного французского романа середины 19-го века, и творчество Диккенса с его проповедью жалости, и русская действительность, и «Мертвый дом», а с другой сторо-

ны — религиозно-духовный опыт восточного христианства с его созерцанием и проповедью прорыва в мир Вечной Жизни и с его примерами духоносного подвига в лице, например Тихона Задонского, оптинских старцев, и, наконец, один из решающих моментов русского народного благочестия — переживание грешником безмерного снисхождения к нему, в пучину греха, милующего и прощающего Бога.

Творческий синтез Запада и Востока, часто глубокий и оплодотворенный религиозно — так например, в религиозной мысли Киреевского и Хомякова — вот, что характеризует расцвет русской духовной культуры 19-го века.

Встреча эта часто, не всегда, конечно, — происходила на лоне русской культурной и патриархальной семьи, укорененной в религиозно-национальной традиции и восприявшей вместе с тем и культуру Запада и органически, внутренно освоившей ее. Это была в начале и середине 19-го века (да часто и позже) главным образом, как мы знаем, русская дворянская семья, но собственно сословный ее элемент нас тут мало интересует: эта дворянская семья являлась в данном случае носительницей и представительницей *общерусского* культурного дела. А оплодотворялась она духовно и религиозно в значительной степени из центров русской религиозной жизни — из общения с подвижниками и старцами, особенно из участия в литургической, сакраментальной и аскетически-мистической жизни Церкви, т. е. из того источника, при котором сословное начало уже никакой роли не играло, ибо он захватывал и питал духовно и самые широкие народные массы, как и ряд представителей умственной элиты народа.

Еще несколько слов о периоде, к которому — но, опять повторяю, отнюдь не исключительно — относится значительная часть и, может быть, даже наиболее характерная часть предложенного мною в главах II-ой и III-ей материала: это — первые десятилетия после 1812 года: 20-ые, 30-ые, 40-ые годы. Для историка русского культурного развития не может не быть ясным, какую решающую роль в судьбах всей русской культуры, и особенно для творческого синтеза между западным и национальным в 19-ом веке, сыграл 1812 год. Об этом следовало бы много сказать. Всего пока сказанного и написанного об этом недостаточно. Следовало бы больше выявить все нити, идущия от национального потрясения и национального подвига 1812 года, к великому куль-

турному и духовному оплодотворению и к духовному русскому творчеству 19-го века.

Один Пушкин уже как обвеян откликами 12-го года:

«Ты помнишь ли, как шла за ратью рать,
Как с старшими мы братьями прощались,
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя всем тем, кто умирать
Шел мимо нас? . . . . .»

Величайший русский литературный эпос и один из величайших памятников мирового эпоса — «Война и Мир», родился из него же.

На наших глазах Россия и народы, населяющие Россию, пережили второй 1812 год. Подвиг русских людей в защите своей родины был глубоко национален и героичен. Героизм и подвиг не могут не всколыхнуть их, не оплодотворить душу народа. Но истинное оплодотворение ее и подлинное творчество невозможно без веяния свободы. Дождется ли русский народ этой свободы? Если да — во что мы верим — то он не сможет игнорировать, как проявлялась творческая, в глубинах своих религиозно укорененная и оплодотворенная, динамика в жизни тех поколений, что строили великую русскую духовную и художественную культуру предыдущего периода.

3.

Динамическая традиция! Истинно духовная, истинно жизненная традиция всегда динамична: это есть *единый поток жизни духа,* вытекающий из глуби прошлого, делающий столь многое в нем — казалось бы отдаленное — и близким, и ценным, и дорогим для нас, и текущий через нас дальше и творящий жизнь — настоящее и будущее. Он освящает и просветляет быт, но он же должен быть готовым и духовно преодолевать его и, не останавливаясь окончательно на нем, освобождать, когда нужно, от внешних пут его и вести нас дальше, в борении и подвиге. И конечный, решающий источник его — не прошлое само по себе, не «традиция предков», а питающие глубины Духа, не связанные с хронологией, но питавшие и творческую, духовную жизнь предков. Прикасаясь к этому потоку, мы сами можем стать участниками его, струями в нем, носителями духовных сокровищ,

духовной преемственности, или вернее: участниками жизни, носителями жизни — жизни Духа. И поток этой подлинной творческой традиции — или подлинной творческой динамики: что в таком случае одно и то же — может стать в нас тогда потоком «воды, текущей в Жизнь Вечную».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ РУССКОЙ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ

1.

Красота и уют и внутренняя теплота патриархальной семейной жизни — какое это богатство. Как целый мир духовных и душевных ценностей раскрывается здесь в этом семейном тепле, в этой насыщенности культурной традицией, в этой живой связи с живым миром прошлого. В этой тихой и неуклонной динамике юного и нового, вырастающего из этих старых корней, питающегося теми жизненными источниками, что текут в этом тихом мире семейной традиции, вдохновляющегося из них. Семена бросаются и дают ростки, и мы видим иногда — но еще гораздо чаще не видим — и самое бросание семян и первые всходы и завязь плода, а потом видим богатый плод и жатву. А. С. Хомяков признавал уже пожилым человеком, что всем своим направлением духовным он обязан своей матери [1]). Философ князь Евгений Трубецкой в своих воспоминаниях детства показывает на маленьких эпизодах, как влияла их мать на восприимчивые души детей, так что на всю жизнь запечатлевалось сознание нравственной невозможности обижать слабых или другое не менее важное сознание: всевидящего, везде присутствующего Ока Божия: «Не помню, что сказала на это мама. Помню только, что с этой минуты с какой-то необычайной силой гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных — самых сильных — ощущений, какого-то ясного и светлого Ока, пронизывающего тьму, проникающего в душу, и в самые глубины мирские, и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие внушения — самая суть воспитания, и мама, как никто, умела их делать».

А какой памятник благодарности поставил Лев Толстой той, которая с самоотверженной любовью заменила ему и его

братьям и сестре мать. (Матери он лишился в самом нежном возрасте): «Тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь: влияние это было, во-первых, в том, что она еще в детстве научила меня духовному наслаждению, любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, я чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви . . .»

Так строится жизнь, так совершается великое дело духовного оплодотворения, так льется часто невидимый, часто мало заметный, но могучий поток духовной, жизненной динамики, составляющий оплот жизни народа, его стержень, связь между его прошлым и будущим.

2.

Задний фон — вернее, питающая основа или охватывающая духовная атмосфера такой тихой, незаметной и вместе с тем, творчески согретой русской семьи — религиозная жизнь, поток веры, текущий из недр Церкви, мирный и обвевающий благостным теплом· Как близка была эта семья к жизни Церкви, как сплеталась эта жизнь Церкви с жизнью семьи — и в первых религиозных наставлениях, и в самой стихии матери, питающейся из этого благодатного потока и насыщенной им, и в благочестивых домашних обрядах и, наконец, через участие всей семьи в церковных богослужениях и постах, празднествах и таинствах церковных. Вся ткань жизни пронизана этим: благословение родителей, совместные молитвы, заветные, родовые, из поколения в поколение переходящие иконы, или, например, иконы, которые заказывались в день рождения ребенка по его росту — «мера рождения» дитяти. Последнее — очень старый обычай, уходящий вглубь еще допетровской Руси, встречаем его и в семейном быту русских царей XVII века. Так, например, в старых записях Московской Оружейной Палаты времен Алексея Михайловича читаем: «17 г. (1666 г.) Сентября 19. Крестовой Фома Борисов принес в Оружейную Палату меру деревянную длиною полодиннадцати вершка, шириною полчетверти вершка, а сказал сее де меру выдала ему из хором Царицы крайчея Анна Михайловна Вельяминова, а сказала, что указал В.Г.Ц. и В.К. Алексей Михайлович и пр. против сее меры сделать в Оруж. Палату доску образную кипарис-

ную, а на ней написать Ангел В. Г. Царевича Иоанна Алексеевича, образ Иоанна Предтечи[2])». — «В 1634 г. знаменитый иконописец того времени, Иван Паисеин, писал меру царевны Софьи Михайловны (род. 1634 г. Сент. 15). В 1665 г. Апр. 24 меру царевича Симеона Алекс. писал иконописец Федор Евтифеев на кипарисной доске. В 1672 г. с 1 июня знаменитый же иконописец Симон Ушаков писал меру царевича Петра Алексеевича образ Живоначальные Троицы да Св. апостола Петра на кипарисной доске длиною 11, шир. 3 вершка»[3]).

Так и в нашей семье, например, доныне уцелел большой образ: Вход Господень во Иерусалим, преп. Сергий Радонежский и преп. Мария Египетская — сделанный по росту новорожденного младенца Сергия, моего отца, в 1854 году; мой отец родился в день памяти Св. Марии Египетской, совпавший в 1854 г. с праздником Входа Господня в Иерусалим. Такие же иконы по росту новорожденного — бабушки или прабабушки или прадеда — сохранились и до наших дней — например, в Столыпинской семье и в ряде других семей.

Благословение родителей детям — этот стержень и путеводный маяк в жизни детей при всех обстоятельствах жизни: и в обыденной, ежедневной обстановке семейного тепла и уюта, так при прощании и в моменты решающих событий жизни детей — при отъездах, разлуках, особенно при основании детьми собственной новой семьи, и, наконец, при предсмертном прощании родителей с детьми. Благословение родителями детей или взаимное благословение всех членов семьи на сон грядущий — черта, свойственная патриархальным русским семьям даже и до наших дней: говорю о таких семьях, что сумели донести до нашего времени живое сокровище молитвенного общения детей с родителями. Из этой теплоты вечерних семейных переживаний и из тоски по ним вылилось известное стихотворение А. С. Хомякова:

Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас,
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога ... (1838 г.)

Благословение перед разлукой, обычай в молчании «посидеть» вместе, в безмолвной молитве перед отъездом. Тяжесть разлуки скрашивается переброшенными через нее мостом благословения и молитвы. Отпускаемым на чужбину детям,

сыновьям уходящим на войну сколько давалось с собой благословений и молитв на дорогу и как много было в старину рассказов про то, как материнское «благословение» — образок, повешенный на шею матерью перед отъездом — отклонил полет неприятельской пули: образок погнулся, а пуля пролетела мимо. Мы здесь касаемся самого святого, сокровенного и интимного в жизни семьи. Отсюда вырастают те невидимые скрепы и нити, которые делают семью единым духовным организмом, дают столько теплоты и очарования ее внутреннему «воздуху». Нет, больше того: дают столько глубины и религиозной ценности ее жизни, делают ее высшей из человеческих святынь, делают ее как бы своего рода «домашней церковью» перед лицом Божьим. Величайшему художнику русского патриархального семейного быта — Л. Н. Толстому удалось как никому другому передать красоту этого внутреннего «воздуха» семьи, особенно в «Войне и мире». Самое святое в человеческих отношениях неизобразимо, но как подлинно и тонко написана эта сцена благословения княжной Марьей брата Андрея, отправляющегося на фронт: «Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение», — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный, старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. — «Пожалуйста, для меня . . .» Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок . . .»

Эта сцена вдохновлена семейным преданием толстовской семьи, согласно которому прадед Льва Николаевича, князь Сергей Федорович Волконский, был защищен от пули в семилетнюю войну образком благословения матери.

Один из героев Отечественной войны 1812 года, генерал Д. С. Дохтуров, пишет жене в Москву тотчас после Бородинского боя, где он командовал левым флангом, сменив смертельно раненого Багратиона: «Благодарю тебя, душа моя, за образ, я его тотчас на себя надену. Явно вижу Божью милость ко мне, в страшной опасности Он меня спас. Благодарю Всевышнего»[4]).

В записках А. М. Тургенева (1772—1863), писанных в 1848 году, описывается как его 14-летним мальчиком (в 1786 году) родители отправляли на царскую службу в Петербург: «Перед отправлением меня родители благословили меня иконою Спасителя нашего, Нерукотворенною именуемою. Сверх сего родительница надела мне на шею небольшой крест животворящий с ладонкою и дала мне мешечек с медными копейками и денежками, наказав крепко, чтобы не мочь отказать просящему милостыни Христа ради»[5]).

Когда Константин Леонтьев в 1854 году отправляется на войну в Крым, мать ему дает на дорогу родовой золотой ковчежец с мощами, как родительское благословение.

Или вот, как начинаются «Русские женщины» Некрасова (прощание старика — отца, графа Лаваль, с дочерью княгиней Трубецкой, едущей навсегда в Сибирь к мужу):

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок,
Сам граф-отец не раз, не два
Его попробовал сперва...
Творя молитву, образок
Повесил в правый уголок
И зарыдал... Княгиня — дочь
Куда-то едет в эту ночь...

Старая русская былина рисует родительское благословение богатырю, отправляющемуся на свои подвиги:

Не сырой дуб к земле клонится,
Не бумажные листочки растилаются:
Растилается сын перед батюшкой,
Он и просит себе благословеньица:
«Ох ты гой еси, родимый милый батюшка,
Дай ты мне свое благословеньице...»
Отвечает старый хрестянин Иван Тимофеевич:
«Я на добрые дела тебе благословенье дам,
А на худые дела благословенья нет...
Не помысли злом на татарина,
Не убей в чистом поле хрестянина.

(Из былины об Илье Муромце)

А в былине о Дюке Степановиче читаем:

К той ко матушке ко родимоей,
Честной вдиве Омельфе Тимофеевне,
Пал Дюк тогда матушке в резвы ноги,
Просит у ней благословеньица съездить в Киев-град . . .

Даже и буйный Васька Буслаев покорно просит материнского благословения:

Вздумал Васинька съездить в Ерусалим град,
Стал он просить у матушки благословеньица,
Буйной головой он до сырой земли,
Как не белая береза изгибается,
Не шелковые листья расстилаются,
Васинька матушке наклоняется».

Новая жизнь, новая семья начинается с благословенья родителями женихов и новобрачных, строится на нем, оно «утверждает домы чад». В общерусском, например, и крестьянском быту, оно крепко сохранялось до самых последних времен — до революции и даже дольше. В сознательно-религиозной традиции крепких русских семей, попавших в эмиграцию, например во многих семьях из старого русского культурного слоя, эта центральная роль благословения родительского при построении новой семьи в полной мере еще сохранилась и поныне. Об этом свидетельствуют крепкий семейный быт и бодрое жизнерадостное настроение строящей новую жизнь русской молодежи, в частности, например, в русских, культурно-патриархальных оазисах — Кламар под Парижем, Сиклифф под Нью-Йорком и во многих, многих других местах русского рассеяния.

А вот несколько зарисовок обряда благословения новобрачных в русском крестьянском быту середины и конца 19-го века. У. Р. Терещенко в его известной книге «Быт русского народа» (часть II, свадьбы, Петерб. 1848) собрано много ценного материала.

В Смоленской губернии отцы, родной и посаженный, и мать наставляют и благословляют жениха, он кланяется им в ноги, сватьи поют:

Не вороной конь копытом землю роет,
Наш молодой князь благословенья просит

У батюшки родителя, у батюшки благословителя,
У матушки родительницы, У матушки благословительницы.

В Нижегородской губернии, когда все бывает готово к поезду в церковь, каждый из молодых благословляется родителями в своем доме следующим образом: продвигают стол к углу под иконы и покрывают его белым полотном, потом кладут на стол ржаной хлеб с солью, пирог и белый хлеб, затепливают свечи и лампаду под образами, все домашние и родственники молятся с невестой. После отец и мать надевают на себя шубы, выворoченные шерстью наверх, а отец крестный берет правой рукой жениха за одну его руку, держа в правой своей руке вывороченную шубу, за другую руку жениха берет дружко или брат и подводят его к родителям, которые стоят за столом: отец с иконой, а мать с хлебом. Дружко говорит: «Любезный батюшка, благослови милое чадо злат венец прияти и плод с райского древа сняти». Он повторяет эти слова три раза, а жених три раза падает в ноги своему отцу, на разостланной шубе, которую приготовил сват. Затем отец благословляет сына иконой крестообразно, которую целует сначала сам, потом дает ее целовать сыну, а наконец целуют друг друга. Точно таким образом благословляет мать сына, потом отец и мать благословляют его поочередно хлебом-солью и отпускают к венцу.

Сходным образом происходит этот обряд благословения и в других местностях России. К восьмидесятым годам XIX века относится следующее описание предсвадебного благословения у крестьян Елатомского уезда Тамбовской губернии:

По окончании обеда поддружье берет потник и кладет его среди комнаты. Дружко подводит сюда жениха, становится рядом с ним против родителей и испрашивает у них благословение:

«Батюшка родимый,
Благословите своего сына родного
К суду Божию постоять,
Злат венец принять,
Животворящий Крест целовать . . .
Как святые отцы принимали,
Так и нам грешным».

«Благослови, батюшка», добавляет жених и три раза кланяется ему в ноги, испрашивая прощения.

«Бог благословит», говорит отец, троекратно обнимает его и вручает ему благословенный образ с караваем. Затем жених становится против матери, дружко точно также просит ее благословить сына: жених просит у нее прощения и получает второй образ с караваем.

Очень торжественным был обряд благословения при праздновании свадьбы царя Михаила Федоровича 5 февраля 1626 года.

Государь слушал раннюю обедню, потом благословлялся у своего отца, святейшего патриарха, и говорил ему речь: «Великий Государь, отец наш, Филарет Никитич, святейший патриарх московский и всея Руси. По воле Всеблагого и соизволению вашему и матери нашей, инокини Великой Государыни Марфы Федоровны, назначено быть нашей свадьбе, а сего дня моей радости. Святейший патриарх — благослови сына своего». Патриарх, благословляя сына говорил: «Всемогущий и неизреченный в милости, вознесший тебя на царский престол за благочестие, Тот и благословляет тебя. Да подаст Он тебе и супруге твоей долгоденствия и размножение роду. Да узришь на престоле сыны сынов твоих и дщери дщерей твоих, и да защитит Он всех вас от врагов, распространит могущество ваше от моря и до моря, и от рек до концов вселенныя». Потом патриарх благословил его образом Пресвятыя Богородицы.

Наглядными носителями родительского благословения, более того — священными для детей и семьи символами Божия благословения являются семейные иконы. Они передаются из поколения в поколение, как бы воплощая в себе духовную связь, духовную преемственность отцов и детей. У бесчисленных крепких русских семей, простых и знатных, скудного достатка, зажиточных и богатых, были эти заветные семейные или родовые иконы, «родительского» или «дедовского» благословения. В старом купечестве, у старообрядцев, в стародворянских и княжеских родах, у духовенства, в крепких гнездах крестьянского семейного быта, особенно, например, на севере России. Некоторые семейные или родовые иконы как бы воплощали в себе жизнь поколений, историю семьи или рода с отцовской или материнской стороны. Так, например, в одной из ветвей Голицынского рода хранилась как семейная святыня очень древняя икона, которую опальный Меньшиков вывез в Сибирь и которой он бла-

гословил в Березове дочь свою, княгиню Голицыну при выходе ее замуж[6]). В семье Ермоловых хранилась из поколения в поколение икона «царской невесты» Марии Хлоповой (которая должна была выйти за царя Михаила Федоровича), прабабки Ермоловых. В старшей ветви Долгоруковского рода хранилась как большая святыня икона, которая была связана с памятью героини и подвижницы, княгини Натальи Борисовны Долгорукой, рожденной Шереметевой, вдовы трагически казненного Ивана Долгорукого, впоследствии монахини; эта икона была родительское благословение малолетнему сыну князя Ивана. Это — только несколько случайных примеров, взятых мною наугад из знакомых мне семей. В старозаветных купеческих семьях, особенно старообрядческих, также особенно много было таких старинных, наследственных семейных икон. Для детей и внуков они были насыщены живым потоком родительского и дедовского благословения и молитв.

В древне-русском доме «красный угол» с иконами, божницей или домашняя часовня были центром религиозной и духовной жизни семьи. Какую огромную роль играли эти иконы в жизни дома в древней Руси явствует хотя бы из наставления Сильвестровского «Домостроя»: Глава 8-ая: «Како дом свой украсити святыми образы, и дом чист имети. В дому своем всякому христианину, во всякой храмине святые и честные образа, написаны на иконах, ставити на стенах, устроив благолепно место со всяким украшением и со светильники, в нихже свечи пред святыми образы возжигаются на всяком славословии Божием, и по отпетии погашают, завесою закрываются, всякие ради чистоты, и от пыли, благочиния ради и брежения, а всегда чистым крылышком сметати, и мягкою губою вытирати их, и храм тот чист держать всегда, а к святым образам касатися достойным, в чистой совести, и на славословии Божии и на святом пении и молитве, свечи вжигати, и кадити благовонным ладаном, и фимиамом, в молитвах и во бдении, и в поклонах и во всяком славословии Божии, всегда почитати их, со слезами, и с рыданием, и сокрушенным сердцем исповедатися, просяще отпущения грехов».

Когда старорусский человек входил в дом, то прежде всего он искал глазами иконы. Сначала он клал поклон перед ними, затем только кланялся хозяевам и всем прочим присутствующим. Так рассказывают нам иностранцы, бывшие в XVI и XVII веке в Московской Руси, например, Гер-

берштейн, бывший в Москве при Василии Третьем в 1517 и 1526 гг., и Мейербер, цесарский посол в 1660—63 гг. к царю Алексею Михайловичу. А сколько подлинности в этой сцене из «Декабристов» (неоконченного романа Льва Толстого), где простая деревенская старуха, Тихоновна, приходит в Москву пешком из далекой деревни к своим господам Чернышевым хлопотать за своего старика мужа, попавшего по недоразумению без вины в тюрьму. Робея, входит она в лаптях и белых онучах в шумную людскую избу московской усадьбы Чернышевых, но не теряет выдержки, хоть и оробела. «Благовидная», «в правильном деревенском наряде», сначала кладет она кресты и кланяется на передний угол, не смущаясь незнакомой ей обстановкой, затем уже кланяется присутствующим. Как в этой с натуры описанной картинке ярко выразилась «благолепная», «истовая» укорененность в дедовском обычае тогдашних крепких простых людей.

Мерцание лампадки перед иконой связалось таинственным образом с незабвенными воспоминаниями о матери, с лучшими воспоминаниями детства для Константина Леонтьева. Весь русский домашний быт в своих подлинных выявлениях жив этим, освящен этим. Обильно текла молитвенная жизнь в недрах семьи. Уже в том же «Домострое» Сильвестра читаем: Глава 12. «Како мужу с женою и домочадцы в дому своем молитися. По вся дни, в вечере, мужу с женою и с детьми и с домочадцы, кто умеет грамоте отпети вечерня, навечерница, полунощница, с молчанием и со вниманием, и с кроткостоянием, и с молитвой, и с поклоны. Пети внятно и единогласно. После правила отнюдь ни пити, ни ести, ни молву творити . . . А ложася спати, всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положити. А в полунощи всегда, тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитися, елико вместимо, о своем согрешении: а утро вставая, такоже, и комуждо по силе и по желанию . . . Всякому христианину молитися о своем согрешении и пущении грехом . . .»

Конечно, это — идеализированное изображение, это то, что автор «Домостроя» выставляет как идеал, — не все так делали. Но молитвенный строй был крепок в старой русской семье. Опасность для старорусского благочестия заключалась, как мы знаем, в религиозном формализме, в некоторой склонности придавать внешнему, обрядовому, второстепенному, первостепенное значение и тем материализировать религию, превращать ее в жесткий обрядовый закон, в склонности, явившейся роковой причиной раскола, не всегда пре-

одоленной и позднее. Но и внутреннее глубокое восприятие веры жило, как мы отчасти уже видели, в патриархальных русских семьях, одухотворяло их своим дыханием, давало им силы для жизненной борьбы, давало внутренний свет и тепло всему их укладу. Сколько религиозно-укрепленных, нравственно крепких, просветленных ,праведных и благостных, сияющих тихим светом любви и благотворения личностей, известных, а еще более неизвестных, которые составляют, может быть, высшее украшение русской национальной жизни, вышло из недр благочестивой русской семьи, теснейшим образом срослось с этим бытом и освятило его; на этом подробнее остановимся в главе о русских праведниках различных времен, различных слоев культуры, различных сословий и состояний.

3.

Очарование патриархального семейного быта старорусской образованной дворянской среды XIX века — этого времени особенно пышного и творческого расцвета русской культуры — состоит между прочим в гармоническом взаимном проникновении двух культурных начал: западно-европейского и исконно-русского, в лоне многих этих семей. Здесь получался тот творческий синтез, что так характерен для русской культурной, особенно, например, художественной и философской традиции XIX века. В этом также огромная историческая заслуга этого семейного быта в лице многих и многих его представителей. Здесь наглядно и практически решался вопрос: «Восток или Запад», или вернее: «и Восток и Запад», столь важный для духовных путей русского народа. Здесь и то и другое становилось своей, дорогой, глубоко пережитой и близкой ценностью. Но свое, исконное, родное, патриархально-религиозное, связанное с мистическим укоренением в недрах Церкви с ее трезвенно кротким и бодрящим духом, имело первенство там, где осуществлялся действительный органический синтез в лоне этих семей. Получалась новая своеобразная атмосфера, отличная и от обычной западноевропейской культуры и от ревностного, но не всегда осмысленного хранения старины в до-петровской Руси или в старообрядчестве, или от еще более печального огульного ее отрицания, плевания на нее — явления, сыгравшего роковую роль в жизни русского народа. Новое и старое, Западное и Восточное в творческом синтезе, но согретое из

корней Старого, но выросшее из лона Старого и Неумирающего, но питающееся из него и живущее из него. Ибо это Старое было вместе с тем и Вечно-юное, творящее жизнь, поток жизни, укорененной в Боге.

Такова была духовная атмосфера крепких культурных семей — конечно, не все, далеко не все были такие в русском культурном классе, но их было не мало, — укорененных в своей святыне и открытых для чужого, или вернее, для того же родного и близкого, что светилось в этом «чужом».

И в западной культуре русское религиозное чувство, русская семейная культура искала тоже этого Старого и Неумирающего религиозно-укорененного, творящего жизнь. Поэтому в целом ряде старых русских религиозно настроенных, культурных семей был так силен дух истинного «Экуменизма» — вселенскости, искания лучей Логоса Божия — Слова Божия везде, где они встречались, и радование их сиянию, открытость душевная для них, дух истинно христианской братской любви к духовным и религиозным сокровищам Запада, к его исканиям и обретениям, к его великим мыслителям, художникам, религиозным светочам и праведникам, при глубокой духовной сращенности с лоном своей Матери — Восточной Церкви.

Мне припоминается целый ряд старинных библиотек русских семей, свидетельствующих об этой «экуменической» — религиозной настроенности. Помню чудную библиотеку в нашем милом Красном, имении моей бабушки, Н. Ю. Арсеньевой (рожденной Долгорукой), Новосильского уезда Тульской губернии. Дом был простой, деревянный, не очень большой. Старый большой дом был сломан братом моей бабушки, собиравшимся на его месте выстроить «палаццо», что так и не было осуществлено. Бабушка моя, сделавшаяся владелицей имения, построила тогда этот беспритязательный, но уютный дом. Он весь был полон семейных воспоминаний, старыми семейными портретами, старыми гравюрами, старой мебелью. В двух комнатах — столовой и шкафной — стояли высокие застекленные ореховые шкафы. В них было большое богатство книг, особенно французских XVII, XVIII и начала XIX века, но также и английских и немецких — конца XVIII века и из времен Наполеоновских войн и эпохи романтизма. Особенно богатым был религиозный отдел. В этой библиотеке Вольтер, Руссо и энциклопедисты отсутствовали (составители были глубоко верующие православные христи-

ане), но зато были произведения Фенелона, Bossuet, Massillon'a, Bourdaloue, M-me de Guyon, Паскаля и ряда авторов, связанных с Port Royal и, конечно, St. Francois de Sales во многих изданиях. Был ряд немецких и английских религиозных писателей наряду с художественной литературой. Но особенно ценна и замечательна была личная библиотека моего деда, В. С. Арсеньева, унаследованная им от его отца, но значительно расширенная и пополненная им самим — собрание творений мистиков и религиозных мыслителей, мистически окрашенных. Центром этой библиотеки был ряд старинных изданий Якова Беме (мой дед был убежденный «бемист» и христианский мистик); далее шли сочинения его последователей и близких ему по духу мистиков и мыслителей, XVII, XVIII и XIX веков — Pordadge, Valentin Weigel, Oetinger, Bengel, Franz Baader, Hamberger. Много было и ценных мистически теософских рукописей из наследия русских мистически и христиански настроенных кругов начала XIX века, например, была рукопись одного из трактатов Сковороды на толстой синей бумаге XVIII века, был ряд собственноручных писем Сперанского на духовно-мистические темы. Классики мистической литературы христианского Запада и христианского Востока были богато представлены. Здесь были и Августин, и Иоанн Скот Эригена, и Бернард Клервосский, и Бонавентура (чудные Эльзивировские издания XVII века), и Екатерина Генуэзская, и Таулер, и Рейсбрук, Seuse, и «подражание Христу» Фомы Кемпийского, и „Theologia deutsch" и Иоанн Святого креста(Juan de la Cruz) и Тереза Испанская, и Иоганна Арндта «Об истинном христианстве», и Иоанн Мэсон, и Фома Кампанелла, и Николай Кузанский. Здесь были все восточные отцы: Василий, Афанасий, оба Григория, Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский, Кирилл Александрийский, и Климент и Ориген, и творения, известные под именем Дионисия Ареопагита. Здесь было «Добротолюбие» по-славянски и по-русски, и все учителя духовной традиции Православного Востока; конечно, и авва Дорофей, и Макарий Египетский, и Отечник, и Исаак Сирин, и Нил Синайский, и Симеон Новый Богослов, и творения Тихона Задонского, Димитрия Ростовского, Феофана Затворника. Церковное Православное предание — или вернее, непрерывающийся поток благодатной жизни Церкви — литургическое и догматическое, аскетическое и мистическое, центрирующееся в тайне воплощения Бога и Слова, предание, которым жила и духовно питалась вся семья моего деда, воспринималась здесь, как

и в ряде других благочестивых и культурных старых русских семьях, не полемически заостренно, а положительно-центрально и духовно-созидательно, а потому в основах своих, в созвучии с христоцентрической устремленностью великих праведников и мистиков и западного христианства. Экуменический дух в семье моего деда Арсеньева и в семье Долгоруких (родителей моей бабушки Арсеньевой) питался в значительной степени и многочисленными личными связями. Моя прабабушка была в переписке с Alexandre Vinet, знаменитым религиозным писателем и мыслителем протестантской Швейцарии, и в близком контакте с одним из видных деятелей церковного возрождения в Англии 40-х годов прошлого века — „Oxford movement" Вилльямом Пальмером (корреспондентом Хомякова, автором замечательной книги о Никоне), гостившим долго в России и целое лето прожившим в имении моей прабабушки — нашем Красном. Она же ездила к преподобному Серафиму, была дружна с митрополитом Филаретом, знала Хомякова. На Давыдово-Долгоруковскую семью было много английских влияний: брат моей прабабушки, Владимир Петрович Давыдов учился в Эдинбурге, посещал Вальтера Скотта, которым он страшно увлекался. Но он же был в гостях и у старика Гёте в 1829 году. Со стороны моего деда Арсеньева вливались больше немецкие мистические и философские влияния, а со всех сторон вливалось влияние французской культуры. Так, воспитателем моего деда и его братьев был сержант наполеоновской «великой армии», застрявший в России после 1812 года, человек очень образованный и начитанный и глубоко верующий христианин; будучи верующим католиком, он однако усердно посещал православную церковь. Моя мать имела воспитательницей одну замечательную шотландку, а выросла моя мать в деревне у своей бабушки, Анны Николаевны Шеншиной, рожденной Ермоловой (двоюродной сестры знаменитого Ермолова, с которым Анна Николаевна была очень дружна). Влияние этой моей прабабушки Шеншиной-Ермоловой, женщины из ряда вон выходящей, глубоко русской, с глубоко пробужденным религиозным чувством и необычайно сильно развитым чувством правды и справедливости, человека активной и деятельной любви, по западному культурной и вместе с тем, укорененной в родном быту, в родном предании и церковной жизни, — ее влияние на мою мать было чрезвычайно сильно и плодотворно. Опять получался богатый и творческий духовно синтез, но решающее значение имел

здесь уже момент религиозной и благодатной жизни и подвиг неустанного, благодатного служения деятельной и себя забывающей любви, которым была озарена и просветлена вся ее личность. То, что происходило в одной семье, такой же постоянный взаимообмен западного и русского, приводивший часто, но не всегда, в течение XIX и в начале XX века, к плодотворному синтезу, при укорененности в своем родном, происходил в большей или меньшей степени и во многих, многих других русских культурных семьях. Вспомним, например, среду, в которой росли и воспитывались Тютчев или братья Киреевские — эти семьи с насыщенной культурной жизнью, укорененные в родном быте и родной вере, и вместе с тем интенсивно захваченные духовными сокровищами Запада[7]).

Здесь, в этой культурной и религиозной и глубоко патриархальной русской семье XIX века — повторяю — подготовлялся и уже осуществлялся в значительной мере тот глубоко творческий синтез Востока и Запада, столь характерный для высших достижений русской культуры XIX века. На творческом синтезе Востока и Запада в русской культурной традиции, этом явлении огромного, основоположного значения, следует остановиться отдельно.

4.

Душевное тепло и уют старой Москвы, старых московских, укорененных в предании и вместе с тем живущих усиленной культурной жизнью семей! Впрочем, не только московских, но вообще русских старозаветных культурных семей. Но остановимся сначала на Москве, особенно на этом своеобразном, исполненном огромной прелести мире московских переулков, например, в районе Арбата и Пречистенки, Поварской — центре сосредоточенной, радушной, патриархально уютной, простодушной и, вместе с тем, часто столь утонченно-культурной жизни, столь дышащей преданием, столь неразрывно с ним связанной и вместе с тем нередко столь динамической и творческой духовно. Это действительно целый особый мир, связанный с остальным миром, но живущий вместе с тем своей особой, сосредоточенной жизнью. Маленькие, порою кривые переулки, особняки, частью спрятанные в глубине двора или сада, частью выходящие на улицу, преимущественно одноэтажные с мезонином, с несколь-

кими колоннами «ампир» и 8-9 окнами фасада (но зато часто этот домик, кажущийся небольшим с улицы, тянется вглубь двора и оказывается огромным домом). И тут же напротив приходская церковь (часто по две в том же переулке, иногда и по три), маленькая, с зелеными, синими или золотыми куполами или луковицами, нередко пятиглавая, с маленькой, отдельно стоящей колокольней, полувросшей в землю, с обсаженным деревьями двором, иногда приходским, в котором мирно тянутся по бокам деревянные домики причта, а посередине иногда расстилается большая лужа с полощущимися в ней утками. Отсюда, из этой церковки, доносится колокольный звон во всякое время дня — и утром и вечером, и днем, если, например, кого-нибудь хоронят. В самой церкви какой мир благодатный, какая сосредоточенность, особенно в часы вечернего богослужения. У прихожан свои излюбленные, более или менее постоянные места. Стоят и молятся одни поодиночке, другие с семьями, пожилые ближе к стенам, иногда со стулом. Мерцают лампады, отражаясь на окладах икон, в церкви полутемно. Поют: «Свете тихий, святыя славы... Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога...» Отрадно и тихо и не только успокоительно, но и бодряще и оплодотворяюще действует эта собранная церковная жизнь. А в этих особняках так тепло душе и мирно. Двор с многочисленными службами, садик на улицу, часто тянется сад и за домом, порой и большой, с беседкой, густыми зарослями сирени, где весной громко поют соловьи, с серебристыми тополями (их особенно много в Москве). Их опавшими почками благоухают в весенние вечера усыпанные ими двор и сад, особенно после короткого, теплого и благодатного дождя. О прелести этих особняков и жизни в них, замечательно написал в своих воспоминаниях большой любитель и знаток старой России и особенно старой Москвы, человек рыцарского благородства, борец за национальное дело против большевизма и при этом художник в душе — Николай Николаевич Львов.

«Как хороши были старые московские особняки внутри большого тенистого сада, с их флигелями и сараями в глубине двора. Сколько прелести в старой мебели из красного дерева, обитой бархатным штофом, и в глубоких креслах, покрытых зеленой кожей, и в этих старых портретах в золоченых рамках, которые казались детям такими страшными, точно ночью дедушка может выйти из рамы и в своем синем халате прийти наверх, шлепая туфлями по лестнице

— в детскую комнату. А сколько таинственности было на чердаке, где пахло пылью и старой кожей и где скрывались такие диковинные вещи. Дети украдкой бегали на чердак и разглядывали, нагнувшись около полукруглого окошка, свои находки, притянутые поближе к свету. Как хорошо было в няниной комнате, как пела у нее желтая канарейка, в клетке, и ее веселый треск разливался по всему коридору. В тенистом саду, где росла бузина и сирень, и была целая березовая рощица, казалось, живешь не в городе, а в деревне. Не было слышно ни стука колес о мостовую, ни крика разносчиков, ни городского шума. Старый дворецкий сидит у окошка своего флигелька и поглядывает за клеткой, поставленной на ветке, и дети с замиранием сердца, стоя за стволом белой березы, ждут, поймает-ли Герасим птичку с красным носом и с пестрыми крылышками. И какая жизнь, полная деревенской простоты и прелести, слагалась в этих старых комнатах старого дома. О, эти особняки и старые усадьбы, создавшие русскую женщину с такой теплотой материнского чувства, с такой кротостью и покорностью, что , казалось, ей предназначено пройти свой жизненный путь, не касаясь земли ногой . . .

. . . Дети росли, учились дома у приходящих учителей и учительниц, катались с гор и на коньках на Патриарших прудах и на Пресне, с детской радостью играли простыми игрушками кустарного изготовления, резной деревянной лампадкой, раскрашенными забавно куколками от Троицы, или разрумяненной Матрешкой в сарафане, лакомились изюмом, халвой, стручками, подсолнухами, и не было ничего лучше винной ягоды в няниной комнате. На Масляной их водили на гулянье в балаганах на Подновинском, Великим Постом все постились, на Страстной все говели, и исповедовались у своего приходского батюшки или в монастыре, где так страшно было входить в маленькую келью к старому духовнику в черной рясе, встречали Светлое Христово Воскресение в своем приходе и переживали всю таинственную радость весенней ночи, когда раздается первый гул колокола Ивана Великого, и к нему со всех концов понесутся в ночном воздухе встречные призывные голоса московских колоколов и сольются в один радостный переливный звон, уходящий далеко, далеко в небо над погруженным в темноту городом.

Родители не были оторваны от детей своими ежедневными занятиями или службой, они жили с ними общей жизнью, летом в деревне, зимой в Москве в своих особняках, и воспитывание детей было согрето таким теплым чувством любви, которого ничто заменить не может .Слова молитвы повторяемые детским шёпотом и выученные за матерью и няней, и детский страх перед первой исповедью, и радостное чувство, и детское горе, и слезы — все связывалось в воспо-

минании с дорогими лицами, с добротой старой няни, с нежностью матери, с ее тихим голосом и мягким, ласковым прикосновением ее руки к горячему лобику больного ребенка, а после, в этих общих чтениях и музыке по вечерам в большой гостиной все впечатления от чтения и игры на фортепиано сливаются в памяти со звуком голоса матери, читающей вслух, с запахом сирени и черемухи, вливающимся в комнату через открытое окно, со смехом и детской слезой при чтении печальной повести или веселого рассказа, и звуки Бетховенской сонаты глубоко проникают в детскую душу, и так же как чтение вслух и слова молитвы, все остается на всю жизнь — как одно светлое радостное воспоминание детства [8]).»

Н. Н. Львов относит эти картины старой московской семейной жизни ко времени своего детства — к 70-м годам прошлого века. Но они могли бы быть отнесены и к более раннему времени и даже, с некоторым изменением, и к более позднему — более или менее вплоть до революции 1917 года (хотя в начале 20-го века во внешнем, и отчасти во внутреннем облике наступили уже большие перемены).

Особенно на этом семейном мире хотелось бы остановиться. Как много в нем душевного света и мягкости и теплоты. Он запечатлен, например, Львом Толстым незабываемым образом и в «Детстве» и в «Войне и Мире». Вспомним, например, неподражаемую, благоухающую сцену возвращения Николая Ростова в родительский дом с театра войны

... «Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле, но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери, еще объятья, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их — это он помнил.

«Я, я-то, не знал ... Николушка ... друг мой!»
«Вот он ... наш то ... Друг мой Коля ... Переменился.»
«Нет свечей; чаю!» «Да меня-то поцелуй!»
«Душенька ... а меня-то.»

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф, обнимали его, и люди, и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.

Петя повис на его ногах. «А меня-то» — кричал он. Наташа, отскочив от него, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, держась за полу его венгерки, прыгала как коза все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.

Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала ... Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.

Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом без него платье. Все оставили его и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижималась к холодным шнуркам его венгерки ...»

Или там же эта неподражаемая сцена, как подросток Наташа каждый вечер изливает душу матери, залезая под перину ее кровати. А эти материнские заботы о воспитании детей, этот дневник детского поведения, который ведет Мари Болконская, в замужестве Ростова.

«... Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характер детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи, но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.

5-го декабря было записано: «Митя шалил за столом. Папа не велел ему давать пирожного. Ему не дали, но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели. Я думаю, что наказывать, не давая сласти — только развивает жадность. Сказать»...

Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник?) смотрели на него. Не могло быть сомнения не только в одобрении, но и в восхищении Николая перед своей женой.

«Может быть это не нужно было делать так педантически, может быть и вовсе не нужно», думал Николай, но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное доб-

ро детей, — восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главным основанием его твердой, нежной и гордой любви к жене было всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным Николаю возвышенным нравственным миром, в котором всегда жила его жена ...»

Толстой верно понял. Центр всей этой жизни, ее вдохновляющий источник — мать. Значение матери, женщины в русской патриархальной, культурной семье решающе и основоположно. В русской культурной семье женщина — мать и жена — играет духовно более важную роль, чем мужчина, и не только в воспитании детей. Она — внутренний очаг семейной жизни, источающий теплоту и ласку, изливающий эту материнско-женскую ласку и на членов семьи, и на всех домочадцев, на родных, друзей и знакомых, и на посторонних даже, особенно одиноких, попавших под ее гостеприимный кров, приходящих погреться у ее теплого задушевного пламени. Она — центр этого общежития, веселое и ласковое солнце на небосклоне этого маленького мира, источник ласки, сострадания и уюта, и вместе с тем через нее, через ее молитвы, через ее участие в молитве детей, через ее пример, через ее наставление, поток религиозной энергии, струи иного — облагодатственного бытия, в котором коренится все лучшее, чем обладает эта семья, вливаются в ежедневные, самые будничные и обычные, жизненные ее проявления. Здесь мы касаемся самого глубокого, самого святого из творческих корней русской семейной культуры и русской культуры вообще. И этот образ русской матери и жены, центра семьи и семейного очарования и носителя религиозного принципа, не умер, не отжил. Он живет и поныне во многих русских матерях. Из недавно умерших назову лишь очаровательный и незабвенный в своей тихости, кротости и в своем тонком, сердечном такте образ княгини Марины Николаевны Гагариной, рожденной кн. Трубецкой (1878—1924). Кто прикасался к жизни ее дома и ее семьи в Баден-Бадене, знает, каким теплом, лаской, очарованием, какой душевной грацией и вместе с тем высокой, сосредоточенной духовной жизнью веяло от нее и как она умела обогреть и пригреть у своего домашнего очага не только своих, но и посторонних. В этой доброте, не знающей узких расчетов и границ, изливающейся и на своих и на чужих, — характерная черта русской женщины, особенно русской матери из патриархального, религиозно укорененного семейства.

Безграничную доброту, безмерную широту, безмерную жалость ко всем требующим помощи, себя забывающую, спешащую на помощь страждущему и учащую и близких своих служить страждущему, я видел и испытал в лице моей матери. А вот свидетельство одного крупного и благородного русского человека, знаменитого ученого, К. Д. Кавелина (1818—1884), о доброте и ласке одной из таких русских матерей: матери замечательной Московской семьи Киреевских и Елагиных, Авдотьи Петровны Елагиной (рожденной Юшковой, в первом браке Киреевской, 1789—1877), ласку и доброту которой он испытал на себе, когда молодым человеком зачастую запросто бывал в этом гостеприимном, веселом и полном молодежи доме Елагиных: «Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им хорошо было и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречали и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком рано умерший для науки, А. Н. Попов, М. А. Стахович, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта, художник Мамонов и другие. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге, — Валуев даже жил в их доме — и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспоминаниями из этого времени неразрывно связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к нему и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием». Авдотья Петровна была вместе с тем человек большой культуры и образованности. «Основательно знакомая со всеми важнейшими европейскими литературами, не исключая

новейших, за которыми следила до самой смерти, Авдотья Петровна особенно любила однако старинную французскую литературу. Любимыми ее писателями остались Расин, Жан-Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьерр, Массильон, Фенелон... Чтобы оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей — толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной . . . Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Живость, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память — все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе не знакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные примеры этой черты характера ее рассказываются родными и близкими». Свою характеристику А. П. Елагиной Кавелин заключает словами: «Не только нашим детям, но даже нам самим трудно теперь вдуматься в своеобразную жизнь наших ближайших предков. Лучшие из них представляли собой такую полноту и цельность личной, умственной и нравственной жизни, о какой мы едва имеем теперь понятие»[9]).

Ту, которая заменила ему мать с самого раннего возраста, свою тетушку Татьяну Александровну Ергольскую, Лев Толстой поминает в своих старческих воспоминаниях следующими словами, исполненными благодарного умиления: «Главное свойство ее жизни, которое невольно заражало меня, была ее удивительная, всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить, и не могу, ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы — не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни . . . Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений. Вся нравственная работа была переработка в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — и не дела, . . а вся жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, не-

заметной любовью. Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незаметно влекли в общество к ней и давали особенную прелесть этой близости... Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была эта атмосфера любви ко всем присутствующим и отсутствующим, живым и умершим, людям и даже животным». Образ матери, которая, судя по всем данным, была изумительная женщина, по благостному, кроткому сиянию своего духа, но которую он знал лишь по рассказам близких (ему было 2 года, когда она умерла), был одним из самых заветных и святых достояний его внутреннего мира. В своих воспоминаниях так пишет Толстой про свою мать: «Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эти молитвы всегда помогали мне». Н. Г. Молоствов рассказывает, что, когда летом 1908 года в Ясной Поляне зашел разговор о том, какой удивительный человек была Мария Николаевна, Лев Николаевич мягко и тихо, видимо сдерживая слезы, сказал: «Ну, уж этого я не знаю; я только знаю, что у меня есть culte к ней». К этому же времени относится запись в дневнике Толстого: «Не могу без слез говорить о моей матери» (13 июня 1908 г.). А за несколько дней перед этим он пишет: «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о «маменьке», которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом» . . . (10 июня 1908 г.). И днем позже: «. . . самое дорогое . . . существо для меня — моя мать». Недаром Н. Н. Гусев посвящает «ее светлой памяти» свою «Жизнь Льва Николаевича Толстого»[10]).

Князь Евгений Николаевич Трубецкой в своих воспоминаниях детства так изображает ту духовную атмосферу, которая окружала его детские годы: «Может быть, это самообман, может быть, это только мое личное ощущение, но мне и теперь, через 40 лет после нашего последнего отъезда из Ахтырки[11]) кажется, что мы там дышали благодатью, словно благодатью там был полон каждый глоток воздуха. Помню четыре кроватки в детской, в очень раннем моем детстве, когда мы, мальчики, еще не были отделены от сестер; на кроватках — кисейные занавески от комаров и образочки. В открытое окно врываются всякие вечерние деревенские звуки — однообразный и как бы скрипичный унисон комаров, протяжная верхняя нота песни вдали, редкий и тем более

таинственный удар церковного колокола; а надо всем этим — громкое утверждение радости жизни, — целая симфония, исполняемая оркестром многочисленных стрижей, вылетавших на закате из гнезд над окнами господского дома»[12]). Решающим фактором в этой атмосфере мира и благодати была его мать. «Чем сознательнее, чем больше я становился, тем больше этих золотых крупинок в моих воспоминаниях о ней Помню, как умышленно непонятное чтение по вечерам сменилось чтением Евангелия, когда мы стали подрастать. Помню ,как у нас завелся обычай ей исповедоваться каждый день в наших детских преступлениях· Помню, как она умела прохватить до слез и вызвать глубокое сознание виновности. Для тяжко провинившегося у нее всегда находились слова глубокого и пламенного негодования»[13]).

Такая же атмосфера мира и нежной семейной любви и тепла, обдававшая и чужих, собиравшихся под их гостеприимным кровом, царила и в семье Аксаковых. Здесь центром семейного тепла и очарования был отец — знаменитый писатель Сергей Тимофеевич. Так его характеризует его сын Иван Аксаков: «Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслаждение, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях, — и в поле с собакой и ружьем, и за карточным столом. Он был подвержен всем слабостям страстного человека, забывал нередко весь мир в припадке своего увлечения; уже женатый, проводил он целые дни за охотой, целые ночи за картами; но зная за собой эти слабости, он был смиренного о себе мнения, был чужд гордости к ближнему, напротив, отличался постоянною снисходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить в себе ту теплую объективность, которая составляет такую прелесть «Семейной Хроники», которая чуждается всякой экзажерации (преувеличения), резкости, полна любви и благоволения к людям и отводит место каждому явлению, доброму и дурному в человеческой жизни. Радушный и добрый от природы, он обладал умом чрезвычайно ясным и трезвым. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью. Но когда годы и болезни умерили пыл и обуздали страсти, — ум его, освободясь из-под гнета, достиг той степени спокойного, объективного отношения к жизни, которое так поражает читателей в его сочинениях. Ум переходит в мудрость . . .» «Итак, совершенное отсутствие претензий, простота, радушие вме-

сте с пылким и нежным сердцем, трезвость и ясность ума при возможности страстных порывов, честность и бескорыстие, беспечность относительно материальных выгод, тонкое художественное чувство, верность суда, — вот отличительные свойства Сергея Тимофеевича, которые привлекали к нему почти всех, кто его знал. Не будучи не только ученым, но и не обладая достаточной образованностью, чуждый науки, — он тем не менее был каким-то нравственным авторитетом для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые. Если надобно было кого рассудить в ссоре, обращались к Сергею Тимофеевичу (он разбирал Погодина с Венелиным, Погодина с Киреевским, и проч.). Он вполне понимал жизнь и все движения человеческой души, все человеческие слабости». Этот человек умел создать вокруг себя — для домашних и чужих — атмосферу безграничного радушия и уюта. Твердым моральным стержнем семьи была зато мать, восполнявшая мужа, хотя весьма и непохожая на него; но это не мешало им жить в счастливом супружестве. Мать Константина и Ивана Сергеевичей «была, напротив того, исполнена самых героических и патриотических стремлений, которые она и внушала своим сыновьям с детства. Она предпочитала сыновей дочерям . . . Неумолимость долга, целомудренность, поразительная в женщине, имевшей столько детей, отвращение от всего грязного, сального, нечистого, суровое пренебрежение ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она не могла позволить сказать, что ее нет дома, когда она дома, презрение к удовольствиям и забавам, чистосердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, негодование, резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии, стремление ко всему возвышенному, отсутствие всякой пошлости, всякой претензии, — вот отличительные свойства этой замечательной женщины. Но все эти свойства составляли ее стихию, а не были чем-то надуманным . . . Мать Гракхов, Муций Сцевола и были ее героями. При этом она вся принадлежала русскому быту. Русские обычаи, особенно церковные, русская кухня, русская природа — все это было ее родное. Гостеприимная и общительная, она не только не отдаляла гостей от мужа, но придавала еще более привлекательности его собраниям»[14])

Вот, например, как пишет она сыну Ивану, который один вдали от родины — в Астрахани (на службе), справлял в 1844 году свое совершеннолетие: «Итак, мой совершеннолетний сын, начинай твое совершеннолетие с благословени-

ем Божиим. Молитва и вера да будут всегда с тобою. Не высокомудрствуй, не надейся много на себя: есть, есть, есть, Высший, Который всем управляет. О как хотелось бы мне перелить в твою душу это теплое чувство веры»[15]).

Один из современников (Панаев) рисует следующим образом патриархальный уют и радушное гостеприимство Аксаковской семьи: «Дом Аксаковых с утра до вечера был полон гостями. В столовой ежедневно накрывался длинный и широкий семейный стол, по крайней мере на 20 кувертов. Хозяева были так просты в обращении со всеми, посещавшими их, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться. Я, по крайней мере, полюбил их всей душой. Между отцом и сыном существовала самая нежнейшая привязанность, обратившаяся впоследствии в несокрушимую дружбу, когда отец под влиянием сына постепенно принимал его убеждения, со всеми их крайностями»[16]).

Интересен и показателен дневник старшей дочери, Веры Сергеевны Аксаковой, от 1853 до 1855 г.[17]). Из него веет сосредоточенной, полной умственных и духовных интересов и трезвенности семейной жизнью. Совместные чтения вслух в домашнем кругу, посещение и беседа интересных лиц, друзей отца, часто бывавших у них в доме, и в Москве и в подмосковной, — как все это переносит в эту атмосферу усиленного духовного общения, духовной «соборности», столь характерной для русской культурной традиции. Этой духовной «соборности», особенно развивавшейся на фоне патриархальных и благостно радушных семейных гнезд, посвящу особую главу. Даже и в самое последнее время этот неоценимый дар русской культурной жизни, несмотря на все трудности обстоятельств, не был отнят у нее. Культурное и духовное общение на фоне гостеприимного, радушного семейного гнезда — как это осуществилось и в годы трудного беженства в патриархальном доме князя Григория Николаевича Трубецкого (умер в 1930 г.) в Кламаре под Парижем, — согреваемое лучами его благостной, глубоко национальной и глубоко христианской, горящей духовной личности. И здесь очарование и уют русского культурного семейного очага охватывали тех, кто находился в сфере его непосредственного воздействия...

Закончу опять воспоминанием, относящимся к моей семье. Какой тишиной и миром дышали вечера в доме моего дедушки, Василия Сергеевича Арсеньева, в Москве на Садовой. Старик дедушка читает вслух своим двум незамужним дочерям, моим тетям — Надежде и Марии Васильевнам (этим

«Марфе и Марии» нашей семьи, личностям необычайно высокого духовного уровня, большой доброты и духовного сияния) в уютной гостинной под старинными Долгоруковскими портретами кисти Боровиковского и Левицкого. Обе тети работают — вяжут или вышивают; нужно мне идти наверх к себе заниматься, но хочется посидеть еще лишние 5-10 минут. Дедушка читает или повести и статьи из «Исторического Вестника», или мемуары, русские или французские, или какой-нибудь удивительный французский роман с приключениями (например, „Consuello“ и „La Comtesse de Rudolstadt“ Georges Sand) или какую-нибудь забавную комедию из драматического журнала «Артист». Дедушка — превосходный чтец, особенно в драматических ролях, которые он читает на разные голоса, с большим чувством комизма.

А вот в заключение отрывки из писем дедушки, рисующих тот мир духовной сосредоточенности, которая царила в нем и в его доме:

1) Июль 1907 г. Красное (из письма к старшему сыну).

«Поздравляю Вас, друзья милые, с днем Ангела, днем святого покровителя, коего часть мощей с родительским нашим благословением носишь ты всегда на себе, милый друг, и я молю, чтобы его мощным покровительством даровалось тебе счастье во всем и здоровье. Обнимаю тебя и Катю и милых моих внуков и внучек . . . Надинька говела, сегодня приобщалась. В лице детей, чувствую, причащалась возлюбленная покойная мама. Il existe une mystérieuse et profonde solidarité entre la mère et ses enfants. Мы здесь среди великой тишины; а еще тишина в тишине в ограде церковной, где на могиле мамы поставлен теперь памятник — мраморный крест, внутри которого образ Воскресения и лампада, постоянно горящая; надписи повторены, какие были на временном кресте, — ты ведь помнишь: «Аще живем, Господеви живем; аще умираем, Господеви умираем. Аще ли живем, аще ли умираем, всегда Господни есьмы». А другая — псаломская и «Помяни мя, Господи» . . . „J'ai des lectures historiques (в новом «Историческом Вестнике») et philosophiques (dans mon sens, c'est-à-dire, de philosophie religieuse, convaincu que je suis de l'existence d'une Lumière supérieure à celle du seul „Verstand“: la „Vernunft“ qui voit Dieu comme source de vérité) . . .

Je vous embrasse tendrement. Je signe: Ermite de Krasnoé.

2) Из письма к нему же (1912 года). «Божие благословение буди на служении твоем на новом посту . . . Passons à quelques nouvelles intimes: j'étudie avec bonheur la

philosophie de Baader qui est, comme on a dit de lui, „die Philosophie der Zukunft“, et celà dans le vrai sens. Voilà, cher ami, la philosophie chrétienne, comprise par un génie, comme l'était Baader . . .“

3) Июль 1913 г. Красное.

. . . Работы теперь я не имею, а отмечаю с отметками для вырезок удивительное философское произведение IX века — писание Эригены: „Über die Einteilung der Natur“ (id est: des „Gewordenen“). Папы обвинили его в пантеизме и жгли его писания. Если в них и не все правильно, однако находятся превосходные мысли с каким-то орлиным полетом; вообще он опередил свой век и уровень понятий . . .» (Автору письма было тогда 84 года).

4) Письмо к старшему сыну (об отношениях между ним и его женой).

«. . . Нежность и любовь наша нас соединяет так, что это подобно вашей идеальной любви друг ко другу, с разницей лишь в том, что мы — старцы, и что чудо Христово о возвышении брака, символизированное претворением воды в вино на браке в Кане Галилейской, мы теперь сильнее и сильнее ощущаем . . .»

Здесь мы невольно опять прикоснулись ко внутреннему «Святая Святых» этой жизни семьи.

5.

Истинная культура и, в первую очередь, истинная семейная культура, имеет склонность особенно ярко выявлять себя в радости, в общении радости, в стремлении и умении и другим, вокруг себя, доставить радость. Это естественно сплетается с молодым, жизнерадостным подъемом сил. Атмосфера чистого, детского и юношеского веселья неразрывна от нормальной и здоровой жизни семьи, в которой много молодежи. Как восхитительно эта атмосфера юношеского веселья и радостного «цветения» описана тем же Евгением Николаевичем Трубецким в характеристике жизни родового гнезда семьи его матери — Лопухинской подмосковной Меньшова! «. . . Странное дело, я помню уже четыре поколения в Меньшове; за это время два раза все там перестраивалось, так что из остатков двух домов составился один, менялись и фамилии владельцев, потому что Меньшово переходило по женской линии. И тем не менее — меньшовские традиции и

меньшовский уклад жизни — все тот же. Все так же Меньшово полно милой, веселой, жизнерадостной, преимущественно женской молодежью. Все та же атмосфера открытого дома, куда приезжают запросто, без соблюдения строгих и тяжеловесных форм. Все так же все комнаты всегда неизменно полны гостей, переполняющих дом до последних пределов вместимости. Все так же среди гостей преобладают молодые люди, привлекаемые женской молодежью. Сколько там влюблялись и женились! Говоря словами одной московской старушки, бог Амор гостил там часто, если не непрерывно. Нужно ли говорить, что в Меньшове, среди невообразимого гама и всегдашней суматохи непрерывных приездов и отъездов, было трудно чем-либо серьезно заниматься. Там преобладала атмосфера какого-то непрерывного весеннего праздника цветения молодости; поколение очаровательных детей, которые затем вырастали, чтобы снова возобновлять все ту же традицию весело влюбленного шума. Я был в Меньшове в первый раз пяти лет от роду и сохранил на всю жизнь впечатление весенней грезы, которая потом возобновилась, когда я приехал туда юношей, возобновляется и теперь, когда я там бываю. А мне уже давно пошел шестой десяток»[18]).

Как это веселье семьи, этот влюбленный шум живет в картинах жизни Ростовых в «Войне и мире» Толстого! Толстой прежде всего — изобразитель радости семейной, уюта семейного, атмосферы искрящегося, кипящего молодого веселья на лоне семьи. Как молодо жизнеощущение главных частей его «Войны и мира», особенно поскольку это касается жизни домашнего круга и связанной с ней юношеской жизни сердца. Мир воспринимается тогда сквозь волшебную призму молодости, как бы глазами Наташи и Николая Ростовых. Зима, зимнее веселье. Сани по снежной дороге, по ухабам, лунной ночью мчатся взапуски, перегоняя друг друга. И дух захватывает, и жутко, и смешно, и весело. Таинственный, незнакомый мир: и «свой» и такой чужой. В розвальнях ряженые. И тут все тоже свое и вместе с тем какое-то новое, чужое.

«Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с синим отблеском, снежная равнина,

вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз, толканул ухаб в передних санях; точно также толкнуло следующие сани и следующие и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.

— След заячий, много следов! — прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.

— Как видно! — сказал голос Сони.

Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей...

...«Где это мы едем?» — подумал Николай. — «По Косому лугу, должно быть. Но нет, это что-то новое, чего я никогда не видал. Это не Косой луг и не Демкина гора, а это Бог знает что такое! Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» — И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.

Захар сдержал лошадей и обернул свое уже обиндевевшее до бровей лицо.

Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.

— Ну, держись, барин! — проговорил он.

Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.

— Врешь, барин! — прокричал он Николаю.

Николай вскок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.

Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же, пропитанная насквозь лунным светом, волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами...»

А заразительное веселье ряженых! Грешно все выписывать из «Войны и мира». Но нет равной по силе, по обаянию кисти, и как можно говорить о русском домашнем святочном веселье, не обращаясь к этой кисти. В этом-то и особенность «Войны и мира», что она не стареет, не приедается, что она живет какой-то совершенной, не поблекающей юностью. Ростовские ряженые приезжают к Мелюковым.

«...Гусары, барышни, ведьмы, паяцы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где

поспешно зажигали свечи. Паяц-Диммлер с барыней-Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.

— Ах, узнать нельзя! А Наташа-то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого-то. Эдуард-то Карлович как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой-то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы-то примите, Никита, Ваня! А мы так тихо сидели!

— Ха-ха-ха!.. Гусар-то! Гусар-то! Точно мальчик, и ноги!.. Я видеть не могу... — слышались голоса.

Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.

Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, со сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростова и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.

— А это чья такая? — говорила она обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. — Кажется, из Ростовых кто-то. Ну и Вы, господин гусар, в каком полку служите? — спрашивала она Наташу. — Турке-то, турке пастилы подай, — говорила она обносившему буфетчику: — это их законом не запрещено...»

Интересно с этим изображением ряженых в «Войне и мире» сравнить письмо графини Софии Андреевны Толстой к ее сестре в январе 1865 г. о маскараде, который был у них в Ясной Поляне на святках. Это письмо живо переносит нас в атмосферу тогдашнего Толстовского дома с гостящей у них родственной молодежью, и наглядно видишь, как в этих эпизодах домашней жизни брал Толстой краски для картин своего великого произведения.

«...Решили, что будет великолепный бал и маскарад в Крещенье с пирогом с бобом, с ряжеными, и Сережа взялся сам одеть своих и привести. Такая пошла суета, весь дом пошел вверх дном. Лева и я устраивали трон... Варю одели пажем, в буклях, черная бархатная шапочка с малиновым пером и золотым окольшком, белая куртка,

малиновый жилет, белые панталоны и сапожки с малиновыми отворотами. Она была чудно как хороша. Лиза была одета, как одеваются в Алжире: на ней было столько напутано, что я уже не припомню всего. Душку Лева одел старым отставным майором. Чудо как хорошо. Сережу — его женой. Работника — кормилицей; Ваську Белку, сына повара, спеленали и дали ему на руки. Потом устроили лошадь из двух людей, а на лошади Душка. Уже наши все были одеты. 7-ой час, а Сережи нет. Мы уже стали отчаиваться, как вдруг колокольчики — и ввалился Сережа с огромной компанией, сундуком и разными штуками. Их повели в мою спальню, они там одевались... Музыканты заиграли, двери отворились, вышли наши пары — впереди карлик, одетый чортом, потом пары Сережины. Гриша с медными тарелками, одетый арлекином, весь в бубенчиках, потом два мальчика Пьеро, два брата Бабуринские, потом его горничная и кучерова жена — барин с барыней, потом мальчик пастушкой. Все это с бубнами, шумом, хлопушками и тарелками, и сзади ех огромный, почти до потолка великан, отлично сделанный. Под великаном был Келлер, который и заставлял его плясать. Эффект был такой, что и сказать тебе не могу. Пришло пропасть дворовых, Арина, одетая немцем; начали есть пирог. Боб попался Брандту, и он выбрал Вареньку, и их посадили на трон, а потом уж пошел такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощения и, наконец, бенгальский огонь, от которого у всех была головная боль и рвота... Только ужасно я радовалась за девочек, которые были на верху блаженства. Пропировали до третьего часа. На другой день все остались у нас, мы ездили на двух тройках кататься и все перегоняли друг друга, тоже с большим азартом»[19]).

И я помню, как ездили, когда я был мальчиком и молодым человеком, на святках ряжеными по Москве из дома в дом. Собирались ряженые сначала в одном каком-нибудь знакомом доме, который брал на себя инициативу. Отсюда уже заранее был извещен ряд других знакомых домов, что к ним приедут ряженые оттуда-то, — но, конечно, без указания, кто именно. А там в свою очередь собирались уже и другие гости — тоже иногда в костюмах или домино — и начинались танцы. Вдруг резкий звонок у парадного подъезда: поезд ряженых прибыл! Смех, шум в передней. Ряженые появляются в зале и начинается всеобщее веселое плясанье. В разгаре танцев раздается команда начальника поезда, хлопанье в ладоши, и ряженые, как вспугнутая стая воробьев, неожиданно срываются с мест и исчезают в передней. Надеваются шубки, ботинки, мужские шубы (момент особенно

благоприятный, чтобы угадать, кто из них кто) и под командой старшего ряженые опять распределяются по саням с медвежьими полостями, которые ожидали их перед подъездом. Обыкновенно при женской молодежи бывали в числе масок поезда и «шапроны» — родственник старшего возраста: или мать или дядюшка. Так в одном поезде ряженых шапроном своих молодых племянниц был тогдашний московский губернский предводитель дворянства Александр Дмитриевич Самарин, загримированный под Андреевского Анатэму. Объехав два-три дружественных дома, где везде их встречали танцы и где были собраны уже другие гости, ряженые возвращались все в свой исходный пункт — дом, откуда все они выехали, где вечер и заканчивался балом.

А вот яркая сценка из воспоминаний Е. М. Лопатиной. Лев Толстой в период уже опрощения и резкого отрицания того самого семейного уютного уклада жизни и семейного веселия, которые он прежде так любил, т. е. в период своей проповеди социального покаяния, этот самый суровый, часто фанатичный Лев Толстой — почти в роли «шапрона» при своей дочери Тане во время масленичного веселья. У Олсуфьевых организуется масленичное катанье на тройке, среди приглашенной молодежи и Таня Толстая. «Мы вместе», рассказывает Лопатина, «отъезжали на масленичной тройке от Олсуфьевского особняка в Мертвом переулке, откуда в Покровское-Глебово, где в оранжерее был приготовлен чай и музыка для танцев. Неожиданно в бекеше, с палкой появился Лев Николаевич, со своими пронзительно-жесткими глазами под нависшими бровями, — проводить ехавших, посмотреть, с кем села Таня и как она ведет себя. И это всех очень тронуло, — «точно совсем обыкновенный человек [20]». Стало быть, все же глубоко в душе Толстого, наряду с обличением его и отрицанием, уживалась и тогда еще трогательная любовь к красоте и теплу и молодому веселью этого старого русского семейного быта.

Большую прелесть, большое очарование этой традиции старо-московской культурной семьи («Москва» в данном случае является символом культурного типа, простиравшегося далеко за пределы Москвы) составляют соединение большой непринужденности в общении, открытой, радушной, общительности с большой воспитанностью. Воспитанность и свободная непринужденность — какая получается жизнерадостная, здоровая, веселая и вместе с тем часто и нравственно крепкая и нравственно утонченная атмосфера.

Еще Герцен в своем «Былое и Думы» охарактеризовал эту особенность душевной атмосферы Московского культурного общества 40-х годов, как сочетание «привитой нам воспитанием традиции западной вежливости, которая на Западе исчезает, с славянским laisser aller». Формулировка, по-моему, недостаточная, ибо в лучших своих проявлениях эта непринужденная общительность, это свободное радушие было нечто гораздо высшее, чем только славянское «laisser aller». Недостатков у русского человека всегда было много, и это он сам отлично сознавал, но здесь, в этих культурных кругах старо-московской семьи русскому человеку действительно удавалось осуществить высокий, весьма ценный тип культурного общения. Захватывающая веселость этого общения молодежи во времена моей собственной юности, захватывающая веселость юношеских лет поколения родителей, как оно вставало передо мной, например, из рассказов моей матери, или как оно запечатлено в очаровательной книжке юношеских воспоминаний князя Евгения Николаевича Трубецкого! И как при этом непринужденном общении между молодыми людьми и девушками, никогда и в мысли никому не приходило нарушить, хотя бы в малом, грань величайшей сдержанности и приличия. Поэтому получалось такое здоровое юношеское и вместе с тем детски-чистое веселье. Совместно занимались спортом: бегали на коньках — когда я был мальчиком, например, на Патриарших прудах, а во время, когда Толстой писал «Анну Каренину», особенно на большом пруду Зоологического сада. В деревне катались с гор, бегали на лыжах. Летом устраивались в деревне совместные кавалькады, играли в «бары» на большом лугу перед усадьбой или в «казаки-разбойники» по парку и соседним рощам. Веселье московских балов не буду описывать, ибо всегда, во всякой обстановке молодежь любит танцевать. Но вот, что пользовалось особенным успехом во время моей юности и уже раньше — например в юношеские годы князя Е. Н. Трубецкого: драматические импровизованные игры, так называмые «шарады». Они давали возможность драматическим талантам присутствующих проявить себя. Это было одним из любимых времяпрепровождений на вечеринках молодежи, когда я был мальчиком и юношей. Играли с увлечением, особенно «патетические» сцены буйного помешательства (которые, например, я особенно любил играть) дуэлей, вызывания духов, ритуальных плясок диких народов, или драматические сцены исторического и литературного характера (в

особого типа шарадах, которые мы почему-то прозвали «испанскими»), например, низвержение Робеспьера в историческом заседании Конвента, Эдип и сфинкс (конечно, все это в пародическом духе) и т. д. Е. Н. Трубецкой в своих «Воспоминаниях» подробно описывает, например, мастерски разыгранную ими шараду, но уже не импровизированную, а тщательно подготовленную, с костюмами, стихами, а главное, со специально сочиненной музыкой, так что выходила маленькая комическая опера. Тема шарады была дана словом «Баян». Изображалось драматически и музыкально призвание варягов. Сначала яркая картина хаоса и «дикие сцены беспорядка под аккомпанимент хроматических рулад: один «умыкает девицу», другой мажет по губам и бьет Перуна; тут же группа у костра, которая «жарит сапоги всмятку» — «любимое славянское кушанье». Певец Баян поет о привольном житии на Руси ... Вдруг среди хаоса предостерегающая речь вещего старца Гостомысла, предсказывающая печальный конец беспорядка:

«Уже бо див вержеся с неба на земли,
И говор птичий убуди ...»
(Голоса в народе: «Убуди, убуди. Это он так точно») ...

Затем изображается прибытие варягов. Варяги немедленно наводят порядок. Наивный славянин Ян Усмошвец спрашивает Аскольда, где его могила: «Скажите, ради Бога, где же я видел Аскольдову могилу?» Яна хватают и моментально приносят в жертву Перуну. Кий, Щек и Хорив в негодовании призывают к восстанию в воинственных куплетах:

«Льготы древние попрали
Наши лютые враги,
Запретили, отобрали
Всмятку, всмятку сапоги».

Они бегут на Киев, где еще можно «жарить сапоги всмятку» ...[21])

На фоне этого веселого общения со сверстниками зарождалась юношеская дружба, общение умственное и идейное, о котором буду говорить в следующей главе. Как приятно было запросто приходить наудачу вечером к близкому товарищу и приятелю в знакомый дом и проводить вечер в домашнем уюте симпатичной и близкой по духу семьи.

В этом было большое очарование и отдых умственный и душевный после занятий, это было часто еще гораздо уютнее и привлекательнее даже веселых и более многолюдных званых вечеров.

Одна черта, участвовавшая в создании уюта этой семейной жизни и вместе с тем специфическая для московского и вообще русского радушного хлебосольного гостеприимства, это — элемент гастрономии, вкусной, уютной совместной еды в тесном домашнем кругу или с друзьями и приятелями, черта, конечно, нередко во многих кругах русского народа переходившая в излишество. Но сама по себе как много придавала она всей жизни типических, характерных черт, особенно в деревне, на чистом воздухе! Деревенские лепешки, коржики, деревенское масло, домашний белый хлеб, кофе со сливками утром, особенно после купанья в реке или верховой езды. Именинный чай или шоколад с домашними тортами, печеньем, вареньем, свежими ягодами, что пользовалось усиленным вниманием со стороны молодежи своей и приехавшей в гости, — за длинным столом, накрытым в аллее в день именин, рождения или другого какого-нибудь семейного праздника. Не буду пускаться в гастрономические темы, это — область необъятная, необъятная даже по литературному своему выражению, которая часто так тесно связана с одним из русских национальных пороков, проявлявшееся порой в гигантских, устрашающих размерах — обжорством. Вспомним хотя бы Гоголевского Петра Петровича Петуха, Чеховский рассказ «Сирена», описание рыбных закусок и вкусных обедов с кулебяками и растегаями волжского купечества в «На горах» Мельникова-Печерского. Хотелось бы здесь лишь кратко остановиться на одном, так сказать, аспекте кулинарной жизни, тесно связанном с календарем, с обрядами церковного года, с старозаветными традициями прадедовского домашнего уклада. Эта связь кулинарии с церковным годом талантливо, крайне аппетитно (так что слюнки текут), ярко и даже трогательно изображена Шмелевым в его замечательной книжке «Лето Господне», рисующей быт богатой семьи подрядчика и быт занятых у него рабочих в Москве конца XIX века.

Русская Масленица! Описание обедов с блинами, например, у того же Шмелева носит характер прямо чего-то титанического, внушающего даже невольный ужас.

Хорошо известно, хотя бы по наслышке, даже многим из молодого поколения, как вся обстановка жизни, включая

и еду, приноровлялась к событиям церковного года в старом русском семейном укладе, особенно же в дни Великого Поста, Страстной седмицы и Пасхи. Победа над животною частью своего «я», ее обуздание и очищение духа — таков смысл церковного поста. И вот после некоторого изнурения и утомления своего физического «я» продолжительными, душу умиляющими церковными службами и длительным постом, как радостно, как сердечно и духовно тепло, каким не гастрономическим, а прежде всего духовным, праздником было разгавливание в интимном семейном кругу с теми, кого любишь, с близкими и родными сердцу, вокруг украшенного пасхального стола в ночь Светлого Воскресения! И тут были радость и веселье и общение в этой радости, но озаренные и согретые лучами Воскресения, лучами Воскресшего, вестью об иной высшей жизни.

6.

Семья не есть последнее. Атмосфера семейного тепла и уюта и взаимной, себя забывающей, любви есть одна из высших человеческих ценностей, но сама предполагает питающее начало. Есть еще большие глубины, которые раскрываются в лоне той же верующей семьи, глубины благодатной жизни, о которых я уже неоднократно говорил. Здесь не только были ее питающие корни, но здесь она прикасалась к чему-то Безмерно-Превосходящему, к Последней и Высшей Реальности, где семейное начало находило свой высший предел, но также и свое преодоление или восполнение. Идеал домашнего тепла, драгоценная реальность семейного счастья разбивались жизнью, вернее смертью, вырывавшей самых дорогих членов семьи из семейного круга, и вырастал перед взором тогда образ иного, непреходящего Дома, дома Отца, в котором «обители многи суть». Но в том-то и великое значение верующей семьи, что первая весть об этом Доме Отца — первое, еще неясное ощущение его и первая внутренняя встреча с этим Отцом происходила в ее недрах. «Всякое отечество на небеси и на земли именуется от Него», говорит апостол Павел (Ефес., 3, 15). В верующих семьях носители этого принципа «Отечества» — отец и мать, искали последней, решающей точки опоры для себя и детей в этом «Отечестве» небесном, к нему направляли взоры своих детей. Поэтому, как мы уже видели, совместная молитва, сов-

местное склонение колен перед Отцом Небесным, предание себя и друг друга в Его руки — вот один из основных стержней жизни этой семьи.

С религиозного мы начали, религиозным и заканчиваем это изображение русской старозаветной семейной культуры. Но если в начале нашего изложения мы особенно обратили внимание на обрядовую, более внешнюю, хотя и глубоко пропитанную молитвенными струями сторону этой жизни, то есть на быт, на уклад, огромная важность которого в качестве заднего фона, в качестве рамки и нравственной опоры семейной и вообще всей народной культуры несомненна, то сейчас хотелось бы несколько больше коснуться того, что является еще более важным, существенным и глубинным — именно живой, питающей динамики, молитвенной стихии и связанной с ней жизни внутреннего подвига, как они проявлялись в семье.

Не буду однако останавливаться на описании, например, совместного говения Великим Постом детей и родителей, на картинах совместного хождения к службам Страстной седмицы, на огромном вообще значении стихии молитвы и таинств церковных в жизни патриархальных русских, в том числе и старых культурных, семей, утвержденных в этом мире религиозной Реальности: — это все известно и без книг. Как отразилась, например, религиозная атмосфера Аксаковского дома в известном стихотворном изображении у Ивана Аксакова вечерней церковной службы в деревенском приходском храме — картины, хорошо знакомой и близкой ему с детских лет.

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный.
Звонят ко всенощной
К молитве благостной.

И звон смиряющий
Всем в душу просится;
Окрест сзывающий,
В полях разносится...

И стройно клирное
Несется пение,
И дьякон мирное
Творит глашение.

О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,

О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висит
Густой от ладана...

В самые глубины этой интимной области слияния церковного с домашним уводит нас замечательное письмо, написанное одной из жертв большевизма, — заключенным в Бутырскую тюрьму в Москве и вскоре потом расстрелянным М. О-м, дяде своему, Г. Н. Т-му. Это — один из потрясающих документов той силы религиозного начала, силы веры, что просветляет и тюрьму и дает нравственную опору и перед лицом нависающий смерти, дошедших до нас из большевистского заключения. И вместе с тем, как чувствуется в этом письме крепость патриархальной семьи, устоявшей внутренне и в бурях революции, хотя они тяжелыми ударами разразились над ней, и тесная сращенность ее с Церковью, ее жизнь в недрах Церкви. И чувствуется, что это могло подготовить к мужественному подвигу предания себя в руки Божии...

«Христос воскресе... Наступает четвертая Пасха, которую я провожу в этих стенах, в разлуке с семьей, но чувства, с самого раннего детства проникавшие меня насквозь в эти дни, мне и на этот раз не изменили. С началом Страстной я сразу ощутил приближение Праздника: слежу за церковной жизнью по звону, мысленный слух мой полон слов и напевов из страстных служб, а в душе все растет чувство того внутреннего благоговейного умиления, которое бывало ребенком испытываешь, идя к исповеди и причастию. И в 40 лет это чувство так же сильно, так же глубоко захватывает, как тогда, в детские годы.

Перебирая в своей памяти Пасхи прошлых лет, я вспомнил нашу последнюю Пасху в Васильевском, проведенную вместе с тобой и тетей Машей, и вот тут я почувствовал необходимость сейчас же тебе написать... Помнится, вся ранняя весна того года, оставившая впечатление особенно стремительного напора оживающих сил, но весь этот веселый, вешний гам, несмотря на красоту и радостность пробуждающейся природы, не мог заглушить в каждом из нас то чувство

тревоги, которое щемило сердце; то чья-нибудь бессмысленно озлобленная рука вновь и вновь кощунствовала над нашим Васильевским, то угнетало сознание, что наша дружная, спаянная семья начала разлетаться... Впереди смутно рисовалось какое-то враждебное, совершенно неизвестное будущее.

Между тем наступила Страстная... С наступлением Страстной начались службы в церкви и на дому и пришлось регентовать спевками и на клиросе. В Великую Среду я кончил посев овса и, убрав свои плуги и бороны, всецело взялся за камертон. И вот тут началось для меня то, что я никогда в жизни не забуду. Помнишь ли ты службу 12 Евангелий у нас в нашей церкви? Помнишь ли ты замечательную, неподражаемую манеру служить нашего маленького «батейки»? Этой весной будет 9 лет, как он во время Пасхальной заутрени скончался, но до сих пор еще, когда я слышу некоторые возгласы, целый ряд мест из Евангелия, мне чудится взволнованный голос нашего милого «батейки», с такими, в душу льющимися проникновенными интонациями. Я помню, что тебя захватила тогда служба, что она на тебя очень сильно подействовала. Как сейчас вижу возвышающееся среди церкви огромное распятие с фигурами Божьей Матери и Апостола Иоанна по бокам, окаймленное дугой разноцветных лампадок, — колеблющееся пламя множества свечей и среди знакомой до последних подробностей толпы крестьян — твою фигуру у правой стены, впереди церковного ящика. А если бы ты знал, что происходило тогда в моей душе. Это был целый переворот, какое-то огромное, подавляющее откровение. Не удивляйся, что я так пишу, — я, кажется, ничего не преувеличиваю, только мне сейчас очень волнительно вспоминать обо всем этом, потому что я все время отрываюсь, чтобы подойти к окну послушать. Над Москвой стоит ясная, тихая звездная ночь и слышно, как то одна, то другая церковь медленными, размеренными ударами благовестит очередное Евангелие. И думаю я о всех вас, тоскующих в эти дни на чужбине и таких дорогих, близких, и как ни тяжело, особенно сейчас сознание разлуки, я все же твердо, непоколебимо верю, что настанет час, когда мы все соберемся так же, как собраны сейчас вы все в моих мыслях...

Мне не дали кончить письма и я нарочно сел его дописать сегодня вечером. Вот, вот начнется Пасхальная заутреня... В камере необычайно тихо; чтобы не возбуждать начальства, все прилегли на опущенных койках (нас 24 человека) в ожидании звона, а я сел снова тебе писать.

...Помню, что я вышел тогда в Васильевском из церкви, ошеломленный той массой чувств и ощущений, которые на меня нахлынули, и вся моя прежняя смутность душевная показалась таким не стоящим внимания пустяком. В великих образах страстных служб,

через ужас человеческого греха и страданий Спасителя ведущих к великому торжеству Воскресения, я вдруг открыл то же самое вечное, нерушимое начало, которое было и в этой временно примолкшей весне, таящей в себе зародыши полного обновления всего живого. А службы все шли, в своей строгой, глубоко проникновенной последовательности, образы сменялись образами, и, когда в Великую Субботу, после пения «Воскресни, Боже», дьякон, переоблаченный в светлую ризу, вышел на середину церкви к плащанице с чтением Евангелия о Воскресении, — мне казалось, что все мы одинаково потрясены, одинаково чувствуем и молимся. А весна тем временем снова перешла в наступление. Когда мы шли к Пасхальной заутрене, стояла душная, сырая ночь, небо заволокло тучами, тяжелыми облаками, и, идя по темным аллеям сада, чудилось какое-то волнение в почве, точно от земли тянулись невидимые бесчисленные ростки, пробивавшие себе путь к воздуху и свету. Не знаю, произвела ли на тебя тогда какое-нибудь особенное впечатление наша заутреня. Для меня не было и не будет ничего лучше Пасхи у нас в Васильевском. Мы все органически слишком связаны с Васильевским, чтобы что-нибудь могло превзойти его, вызвать столько хорошего. Это не слепой патриотизм, потому что для всех нас оно послужило той духовной колыбелью, в которой родилось и выросло все, чем каждый из нас живет и дышет.

...Пока я тебе писал, рассеянный звон, все время несшийся над Москвой, перешел в мощный, торжественный трезвон; начались крестные ходы; слышно как одна за другой присоединяются церкви к общему сливающемуся гулу колоколов. Волна звука все растет; вот совсем близко какая-то маленькая церковка звонко прорезает общий аккорд таким радостным, ликующим подголоском. Иногда кажется, что звук начал стихать и вдруг новая волна налетает с неожиданной силой и торжествующий гимн колоколов снова растет и ширится, словно заполняя все пространство между землей и небом ... Я не могу больше писать. То, что я слышу сейчас, слишком волнительно, слишком хорошо, чтобы можно было передать это какими бы то ни было словами; неотразимая проповедь Воскресения чудится в этом могучем, хвалебном звоне. И мне так, так хорошо на душе, что единственное, чем я могу еще выразить свое настроение, — сказать тебе еще раз: Христос Воскресе»[22]).

Были руководители этих семей в религиозной жизни. Тесная связь между патриархальными верующими семьями — особенно матерями этих семейств, и русским старчеством есть явление огромного значения в истории русской культуры и духовной жизни, еще недостаточно исследованное. Характерен следующий эпизод из жизни Ивана Киреев-

ского — этого основателя русской религиозной философии, первого русского философа, оплодотворившего свою мысль обращением к внутреннему опыту великих аскетов и мистиков Восточной Церкви. Он, как известно, увлекался сначала религиозной философией Шеллинга. С восторгом он читал вслух некоторые отрывки из сочинений Шеллинга своей молодой жене Наталии Петровне. Она ему ответила, что ей все это не ново, все это она уже встречала в творениях св. отцов. Киреевский стал тогда сам читать творения отцов и мистиков Православной Церкви, а жена познакомила его с замечательным старцем Филаретом московского Новоспасского монастыря. После кончины старца Филарета в 1842 г. оба супруга Киреевских перешли под духовное руководство замечательного старца Макария Оптинского. Интересны сохранившиеся письма супругов Киреевских, особенно Наталии Петровны, к старцу Макарию. Она поверяет ему свои трудности душевные и просит утешения и подбодрения: «. . . Я никуда не гожусь, у меня сердце беспрестанно страдает: страх возникает и производит печаль. Иногда молитва облегчает, а иногда и молиться сил нет. Иногда в настоящем вижу прошедшее и происшедшее неизвестное или скрытое, сбиваюсь от этого мыслью: страдания душевные прибавляются, силы же душевные и физические умаляются . . . Вот, батюшка, моя негодная грешность, исповедую Вам, как милостивому отцу моему, и надеюсь получить от Вас исцеление моей немощи душевной . . .»[23])

Многие, многие русские семьи, особенно матери семейств, получали от старцев духовную поддержку и руководство. Одним из таких руководителей духовных был знаменитый Вышинский затворник, епископ Феофан. Вот, например, как он пишет одной матери, обремененной многими испытаниями семейными:

«Милость Божия буди с вами. Все, что от Господа, помимо нашего произвола, самое лучшее для нас. Это не по вере только, отвлеченно так, но какое ни рассмотри обстоятельство из жизни, осязательно увидишь, что так всегда есть. Вот и ваше теперь стеснение отовсюду — и своя болезнь и сыновняя, и дела те тяжелые, о коих намекаете, — все это есть самое лучшее и для вас и для всех ваших. Только молиться и, молясь, Бога благодарить. И за скорбное еще более надо благодарить, — лобзать наказующую и учащую десницу Божию. Слепота наша, ничего не видящая, и самолюбие слишком притязательное одни — причины суть скорбей ваших и того, что слишком

болеем сердцем при неблагополучных обстоятельствах. Вы, конечно, все это так понимаете и умеете свои чувства вставить в рамку, которую делает Небесный Промысл с неподражаемым искусством. Желаю вам благодушия. Сердце, преданное Господу, всегда умеет найти покой. Матерь Божия да согреет вас материнским в душе утешением. Каково-то у вас теперь? Мое желание, чтобы Господь облегчил вас и прояснил немного горизонт ваш». *(15 ноября 1872 г.).*

Той же особе он дает и наставления духовные более общего характера:

«Не судите, — и Бога будете иметь всегда своим защитником... Дела нужно так распределить, чтобы внешнее не мешало внутреннему...» *(18 декабря 1871 г.).*

«Господь везде есть, и везде Един и тот же. Никакое место Его не приближает и никакое не отдаляет. Если Он там приближается к вам, и вы это сознаете, то зачем мыкаться туда и сюда? Это будет похоже на беганье от Господа... Ищете Господа? Ищите, но только в себе. Он недалече ни от кого. Близ Господь призывающим Его искренне. Найдите место в сердце и там беседуйте с Господом. Это приемная зала Господня. Кто ни встречает Господа — там встречает Его. И иного места Он не назначил для свидания с душами»...

«Благослови вас Господи стоять в избранном порядке жизни. Внимание к тому, что бывает в сердце и исходит из него — есть главное дело в христианской исправной жизни...»

(6 июля 1872 г.)

«Извольте вы в жизни различать: *дела,* видимо совершаемые, *чувство и расположения,* невидимо в сердце лежащие и составляющие его строй, и, наконец, *дух жизни.* Последнее есть самое главное. Тут самое существенное — предание себя в руки Господа Спасителя с воплем сокрушенным: Имиже веси судьбами спаси. Ибо иного спасения нет как в Нем. Под этой преданностью да будет сильное самоотверженное ревнование об исполнении Его Святой Воли, отличительная черта которого сознательно не допускать ни одного дела, слова, помышления и чувства, противного Господу. Это требует непрестанного внимания к сердцу и хождения пред лицом Господа. А при этом делай все во славу Божию, все, что предлагается течением жизни нашей. Се вам кратко программа жизни...» *(19 декабря 1872 г.).*

«...Надо так себя чувствовать, как чувствует утопающий на море, который ухватился и лег на доску, сильную его поднимать и носить над бездной. Он постоянно чувствует под собой спасительную доску. Это есть настоящее изображение всякой души, истинно спасаю-

щейся в Господе. Она чувствует, что сама по себе гибнет; но вместе чувствует, что есть спасение Господом, — веры ради в Него. Извольте восстановить в себе это чувство, если оно слабо. Ибо в этом сущность христианства личного, т. е. во всякой душе живущего» ...

(13 февраля 1873 г.)

«... От мирян и нельзя требовать такой чистоты в мыслях и чувствах, какая требуется от отшельников и монахов. Однако и они должны поспешать туда же ... Ибо всем написано: Вышних ищите ... Живот сокровенен со Христом в Боге. Средства же? Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. Кузнец знает, что, если он будет бить молотом, то выйдет гвоздь ... Ревнующий же о духовном никак не может сказать: то и то сделаю и получу вот что. Бейся как рыбка о лед, ища; а получишь что Господу угодно будет дать и когда будет угодно: эту грамотку напишите на сердце. Искать, вопиять с сокрушением сердца, с крайним самоуничижением и с несомненною верою, что Господь все нужное даст; когда же что получится, это не наше. Если и ничего не даст Господь, — и то слава Богу. Все свое спасение отдать надо в руки Господу, — самый верный, надежный, благий и мудрый путь ...» *(2 мая 1873 г.)*

«... Взыщите Господа. Ищите лица Его выну. Как человек человека видит лицом к лицу, так постарайтесь поставить душу вашу пред Господом, чтобы были они с глазу на глаз. Быть сему так естественно, что и поминать бы о том не следовало. Ибо душа по природе к Господу должна стремиться. А Господь всегда близ есть. И рекомендовать их друг другу нечего, ибо они старые знакомые».

(9 февраля 1875 г.)[24])

А вот опять целая серия писем к другой матери — княгине Н. И. К-вой (Кудашевой?) с советами, между прочим, относительно воспитания детей:

«... Детей вразумлять есть долг родителей, — стало и ваш. И бояться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день и ночь. Бог милостив, Он имеет много средств предотвратить, — какие нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он мудрый, всеблагий и всемогущий Правитель. И мы принадлежим к Царству Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо заботиться — как бы не оскорбить Его, — и Он не вычеркнул вас из числа Своих ...

(21 сентября 1875).

Он дает матери советы относительно совместного говения с детьми:

«Милость Божия буди с Вами. Благослови Господи — Вам всем поговеть и причаститься Св. Христовых Таин. Больше сокрушения о грешности надо, чем перечисления грехов, хоть и это необходимо. Больше молитвенных воздыханий из сердца, чем прочитывания молитв, хоть и это нужно. Суетливость изгнать надо из души и водворить там благоговеинство пред Богом. Водворивши это благоговеинство, — так потом с ним и оставаться. Пусть почитают красавицы: «Восстани, спяй». Будет это хорошим введением в говение покаянное . . . О муже молитесь, но воздерживайтесь от осуждения. Господу не мудрено в одну минуту повернуть его сердце. И гимназисту дай Господи преуспевать . . .»

О том же сыне гимназисте Илье пишет он в другом месте:

«. . . Молодец Илья Муромец, что хорошо сдержал экзамены: очень жалею, что в его дороге открылись такие препоны, и вышел . . . бег с препятствиями. Тем более похвалы, если добре перескочит их. Очень благотворно для него, что он будет с вами. Занимайте его чтением добрым . . . Занялся б он рукоделием . . . Столярство, точение, резьба, пиление . . . самые здоровые . . .»[25]).

Или вот через госпожу Н., мать семейства, слово, обращенное в начале поста к иному семейству:

«Се пост. Предлагаю Вам почаще держать в руках, а то и не выпускать из рук — слова о покаянии и причащении, и сборник о молитве. Как говеть, — в первой книге не худо прописано. Да все собором читайте. Яков Егорович настоятелем пусть будет; матушка Анна Васильевна — настоятельница; Вы — чтица; прочие — слушатели . . . Выйдет святое семейство или ищущее святости. Спасайтесь».

(27 января 1882 г.)[26]).

К отцу семейства, обратившемуся к вере, пишет Феофан, возбуждая его к делам милосердия:

«. . . За то, что Господь призвал Вас к вере, ничего особенного не требуется, кроме того, чтобы быть искренно верным вере. И благодарны бывайте, что из тьмы во свет призвал Вас Господь. Больше всего помогайте нуждающимся. Кто бы ни приходил к Вам со слезами, не отпускайте его, не осушивши сей слезы. Блаженни милостивые, яко

тии помилованы будут... Из-за руки нуждающегося всегда узревайте протянутую к Вам руку самого Господа, Вас обратившего. Сам Он сказал: «Что сделаете им — бедным, Мне сделаете...»

(14 сентября 1874 г.)[27])

Мы видели, как струи благодатных наставлений, благодатной внутренней жизни вливались через родителей, особенно через мать семейства, в среду семьи и не оставались без воздействия. На это я мог бы привести ряд примеров из личного опыта и личных встреч.

И скорбь матери, потерявшей детей, находит живой отклик в любвеобильном духовном руководителе и советнике, умеющем поддержать потрясенную печалью душу. В этом отношении характерна переписка между Екатериной Владимировной Новосильцовой, рожденной графиней Орловой, потерявшей на дуэли единственного сына, с ее духовным наставником, митрополитом Филаретом московским, переписка, длившаяся 27 лет (от июня 1822 г. до сентября 1849 г.). Горе матери было безмерно, тем более, что она винила себя в смерти сына (его вызвал и смертельно ранил на дуэли 14 сентября 1825 г. брат той барышни Черновой, за которой он ухаживал, желая на ней жениться, но браку с которой, как недостаточно блестящему, воспротивились родители). 21 сентября 1825 года Филарет пишет Новосильцевой из Лавры:

«Бог терпения и утешения да дарует рабе Своей не изнемочь в подвиге терпения и да пошлет Свое утешение в скорби, в которой человеческие утешения изнемогают. — Матерь Распятого за нас, испытавшая величайшую из скорбей Матери, да приимет молитву скорбящей матери, дабы принести оную к престолу Своего Сына и Бога».

(21 сентября 1825 г.)[28])

Но утешительно то, что сын успел перед смертью покаяться и причаститься Святых Таинств Христовых.

«Желаю Вам после скорбного пути» — пишет ей Филарет от 1 декабря 1825 г. — «почить при стопах возлюбленного нашего Спасителя и от Него принять паки сына, которого, знаю, что стараетесь Ему предать»[29]).

И он старается направить ее скорбящую душу по пути внутреннего очищения и восхождения:

«Истинный и единственный Врач и Целитель душ да покроет милосердием всякую язву души Вашей и да исцелит всякую болезнь ее, всецельною силою Своего Духа и Своея плоти и крови...»

(2 апреля 1827 г.)

«Если испытываем некоторое благоприятное действие внутренней молитвы, то из опыта должно взять наставление, чтобы ее действие было более благотворно. Дух Господень да ходатайствует за Вас воздыханьями внутренними, неизглаголанными».

(17 апреля 1829 г.)

«Внутренняя молитва есть сокровище, сокровенное на селе, для приобретения которого можно и надобно продать все не внутреннее, т. е. оставить все, что развлекает и препятствует углублению души и вступлению в благодатное общение с Богом».

(22 апреля 1837 г.)[30])

Переоценка ценностей происходит в этой внутренней борьбе, в этом горе и потере самых дорогих и близких. И взор направляется на *иную*, высшую плоскость бытия, на Дом Небесного Отца, когда самое дорогое, что было в этой жизни, что давало уют и ценность домашнему очагу, ушло туда из этой жизни. Душа потрясена, ранена, прорублена кора земного благополучия и земного некоего, хотя бы и самого невинного, самодовления, сосредоточения преимущественно на своем земном счастье и уюте, и раскрывается прорыв — самым реальным, хотя и болезненным образом — в превосходящие глубины высшей и решающей Реальности. И душа слышит призыв служить Ей, этой Реальности, не так, как прежде, а всей силой своей, всей волей своей, всем разумением своим. И любовь земная преображается и вырастает и помогает душе в этой новой жизни служения, и сама навещает душу в минуты ее томления, — неумирающая, уже очищенная и углубленная любовь. Такая переоценка ценностей, такое преодоление привязанностей к земному теплу и уюту произошли в душе Хомякова после смерти его безгранично любимой им жены. Запись, сделанная Юрием Самариным, своего разговора с Хомяковым, происшедшего вскоре после этого события, и напечатанная много лет спустя в Татевском сборнике С. А. Рачинского, это — может быть, один из самых значительных документов русской интимной и семейной и вместе с тем мистической жизни. Привожу полностью рассказ Самарина[31]).

«...Хомяков понимал христианское откровение как живую, непрерывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному сознанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вниманием. Наши разговоры нередко касались этой темы по поводу общего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа или отдельного лица, но он никогда не вводил меня в область собственных внутренних ощущений. Один только раз дано было мне проникнуть в тайное этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его почти от слова до слова.

Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошёл в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро однако он овладел собою и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств. Он сам понимал ясно корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности, усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и превратными лечениями произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. Он все это видел и уступил им. Выслушав его, я заметил, что все это кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам вероятно в последние минуты основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, воспроизводя теперь по-своему и в обратном порядке последствий к причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному терзанию. Тут он остановил меня, взяв за руку: «Вы меня не поняли; я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я то забывался в полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрег; второй — такой, что его забыть нельзя». Голос его задрожал и он опустил голову. Через несколько минут он продолжал: «Я хочу Вам рассказать, что со мною было. Тому назад несколько лет я пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками после Тайной Вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мной. Дойдя до

слов: «Вы друзи Мои есте», я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не могу передать Вам, что со мной сделалось. Это было не привидение, а какая-то темная, непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась передо мной и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслось в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дрязгам. Чего тут не было. Знакомые лица, с которыми, Бог знает, почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты, биллиардная игра, множество таких вещей, о которых по-видимому, никогда я не думаю и которыми, казалось, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле. Я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал себя я с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется, Иоанна Лествичника эти слова: »Блажен, кто видел ангела; стократ блаженнее, кто видел самого себя». Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы же можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком молоды, чтобы оценить ее». Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: «Накануне ее кончины, когда уже доктора повесили головы и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии, близком к исступлению и стал — не то, что молиться, а испрашивать ее у Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но мы сами не знаем ее силы, потому что редко случается молиться всей душой. Я почувствовал такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что кажется твердым и непроходимым препятствием; я почувствовал, что Божие всемогущество, как будто вызванное мною, идет навстречу моей молитве, и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня опустилась; повторилось то, что уже было со мною в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю. Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Радость мне была доступна только через нее, как то, что утешало меня, отражалось на ее лице. Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мной неразлучно до конца».

«Я написал этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в

моей памяти; но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно-сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью — это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее направить на дело. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказывал, что в эти минуты его жизни самосознание его озарилось откровением свыше, — в этом я также уверен, как в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой, говорил со мной.

Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Екатерины Михайловны произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. По-видимому, он сохранил свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидали его. Сколько раз я замечал, по выражению его лица, как мысль эта перебивала веселую струю его добродушного смеха. Жизнь его раздваивалась. Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут подымались воспоминания о прежних светлых и счастливых годах его жизни, воскресал пред ним образ его покойной жены, и только в эти минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске.

Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехались несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спя-

щим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным, добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь . . .»

Здесь перед нами мелькнули на миг сокровенные, интимные глубины, где высший подъем человеческого чувства прикасается к высшей и конечной Реальности, той Реальности, из которой оплодотворяется и получает смысл и жизнь отдельного человека и вся духовная и творческая традиция семьи и народа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭЛЕМЕНТ «СОБОРНОСТИ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И УМСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ФИЛОСОФСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ И СОБРАНИЯ

1.

Одним из основных свойств, основных даров русской культурной и творческой традиции является дар усиленного духовного общения, зажигания друг друга духовным огнем. Тайна подлинного духовного общения состоит в том, что в итоге получается больше, чем одна только первоначальная сумма слагаемых: ибо слагаемые сами растут в этом процессе «духовной встречи». Поэтому подлинное духовное общение имеет и динамический и воспитательный характер — именно воспитание и самого себя и друг друга, характер не только зажигания духовного, но и все большего разгорания. Через такое общение «разгораются» и культурная творческая традиция и духовная жизнь. Оно является естественной средой для духовного роста, а там, где отсутствует духовное, динамическое общение, там нет подлинной культуры. Поэтому эта расположенность и способность к общению явилась таким ценным даром для русской души и для русской культурной жизни, — конечно, не ей одной принадлежащим, ибо этот дар общечеловеческий, но ей свойственным в особенно, может быть, сильной степени.

Этот великий дар, впрочем, заключал в себе и великую опасность, и эта опасность многократно проявлялась в русской жизни и нередко могла становиться характерным для нее недостатком; когда общение вырождалось в пустое празднословие, в легковесное краснобайство, в бесплодное чесание языком и ослабляюще и губительно действовало на трезвенную сосредоточенность и работоспособность и на творческую энергию души. Такие бесплодные краснобаи вроде несчастного, хотя и не лишенного благородства, Рудина

или — еще хуже — Репетиловское «шумим, братец, шумим», — были, к сожалению, нередким явлением русской культурной среды.

Только там усиленное духовное и умственное общение развивается плодотворно и нормально, где соблюдается правильный ритм, правильное чередование между усиленной, одинокой, сосредоточенной работой и общением с другими, во время которого выносится на свет то, что выработано в одиночестве, и сообщается и воспринимается импульс для новой творческой работы. Тогда — на основе собственного усиленно сосредоточенного умственного и духовного труда — общение это становится действительно плодотворным, становится и мышлением вслух, и умственным движением вперед, и мышлением сообща, т. е. актом творческой соборности. Недаром первые русские славянофилы так увлекались творческим началом соборности, которое они пережили в Церкви, в этом великом организме — носителе соборной жизни, но отзвуки которого они усиленно переживали и в живом духовном общении и кипении московской культурной жизни 20—50-ых годов.

Еще один фактор является решающим для плодотворного духовного и умственного общения: присутствие *центральной личности,* духовно оплодотворенной, исполненной внутренней духовной динамики и зажигающей ею — именно ею, этой динамикой, этим огневым потоком, которым она сама охвачена, а не своим собственным «я», — и других. Жизненная захваченность неким высшим духовным содержанием — вот, что характерно для таких нравственно зажигающих и будящих людей. Такие личности были в истории русского духовного общения, русской умственной культуры, целый ряд их. Иногда это были юноши в среде юношей, иногда люди уже более зрелые, сильно действовавшие как раз и на молодежь, но в обоих случаях это были люди с большой педагогической одаренностью, не только охваченные духовным горением, но и чуткие, внимательные к чужой душе, любвеобильно и бережно (но вместе с тем и будяще и заражающе) к ней обращенные, что и давало им их педагогическую силу и нравственное обаяние.

Одной из хронологически первых в ряду таких центральных, будящих личностей, полных нравственного обаяния, в истории московских кружков был в 20-ых годах 19-го века молодой Дмитрий Веневитинов (жил с 14 сентября 1805 г.

по 15 марта 1827 г.; умер $21^1/_2$ года от роду). Вот как о нем отзывались его друзья: «Димитрий Веневитинов был любимцем, сокровищем всего нашего кружка. Все мы любили его горячо, один другого больше [32])». — «Мы любили его всей душой. Это был юноша дивный [33])». Историк Петковский так характеризует молодого Веневитинова: «Открытая душа Веневитинова была ... ценима его друзьями. Его блестящее остроумие ... всегда удачно разыгрывавшееся в близком приятельском кружке, много оживляло систематические заседания молодых людей. Замечательная физическая красота, выразительные карие глаза и звучный голос довершали очаровательность Веневитинова во всяком обществе»[34]). Друзья его были потрясены его безвременной кончиной. «Душа разрывается. Я плачу как ребенок», пишет князь В. Ф. Одоевский Титову. «Comment donc l'avez vous laissé mourir?» — с горечью восклицал Пушкин. «Приходит Рожалин и подает письмо. Неужели так? Ревел без памяти» — заносит в своем дневнике Погодин [35]). В течение 40 лет друзья потом регулярно собирались 15-го марта — в день его кончины, чтобы освятить этот день его памятью.

В Веневитинове нас поражает, рядом с юношеской, естественной веселой и чарующей непринужденностью, высокий внутренний подъем души, огромное благородство всего строя и мыслей и чувств, как он вылился, например, в некоторых глубоко прочувствованных его стихотворениях. Юношеская, светло-жизнерадостная открытость на всю красоту, на весь восторг жизни, на все тайны мироздания звучит, например, из следующих строк:

«Открой глаза на всю природу, —
Мне тайный голос отвечал, —
Но дай им выбор и свободу,
Твой час еще не наступал.
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песнью отвечай [36]» ...

И вместе с тем какая гордая независимость духа по отношению к чарам и обольщениям жизни:

«О жизнь, коварная сирена,
Как сильно ты к себе влечешь.

Ты из цветов блестящих вьешь
Оковы гибельного плена.
. . . .
Но не отымешь ты, поверь,
Любви, надежды, вдохновенья.
Нет. Их спасет мой добрый гений,
И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек поэзии святой,
И с страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенник богини».

(«Жертвоприношение», 1827. № 34).

Заряженность служением Высшему Началу жизни, внутреннее горение духа — вот что характерно, как для личности, так и для поэзии юноши Веневитинова. Это встает перед нами из целого ряда духовно насыщенных стихов, которые все написаны за несколько месяцев или даже несколько недель до его скоропостижной смерти (наступившей, как следствие жестокой простуды) во время высшего духовного расцвета его личности. Вот — исповедь «Поэта» (из эллегии «Поэт и другие», 1827 г. № 41):

«Природа не для всех очей
Покров свой тайный подымает:
Мы все равно читаем в ней,
Но кто, читая, понимает?
Лишь тот, кто с юношеских дней
Был пламенным жрецом искусства,
Кто жизни не щадил для чувства,
Венец мученьями купил,
Над суетой вознесся духом,
И сердца трепет жадным слухом,
Как вещий голос изловил».

Казалось бы, обычная романтически-идеалистическая фразеология, но какой силой внезапно прорывающегося чувства согреты эти три последние строки. А вот его поэтическое «кредо» в его последнем, предсмертном кратком стихотворении, поражающем нас пушкинской отточенностью и полновесностью стиха:

«Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй,
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Немного истинных пророков
С печатью власти на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле».

(«Последние стихи», 1827. № 42.).

Я позволил себе так обильно процитировать стихи Веневитинова, ибо в них — повторяю — выразилось отчасти то, чем была так богата его личность: *огромная духовная заряженность*. Он ее передавал и другим. Эту силу своего духовного воздействия на других сознавал и сам Веневитинов и относился к ней с чувством величайшей духовной ответственности, как к доверенному ему высокому дару. Утешением в трудностях жизни, говорит он, явилось сознание, что не бесплодным останется то слово, которое вырвется из его груди:

«Уронишь ты его недаром;
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет,
А в ней пробудится пожаром»,

(«Утешение». 1827. № 40).

Здесь выражена вся суть интересующего нас феномена — духовного общения или оплодотворяющей и творческой соборности духа.

В мир этого духовного общения московских юношей вводят нас некоторые письма этих «любомудров». Особенно характерно одно письмо еще не совсем 20-летнего Веневитинова к знаменитому впоследствии деятелю освобождения крестьян, на полгода младшему Александру Кошелеву (1806—1883). Юная игривость и товарищеская веселость тона сочетаются в этом письме с проявлением усиленного философского интереса. Он получил на короткое время журнал знаменитого натурфилософа (и соратника Шеллинга) Окена «Изис» за 1820 год и не может не поделиться с Кошелевым этим «сокровищем»: «Теперь обратимся к нашему спору, и он имеет для нас (по крайней мере, для меня) свою приятность. Я прочел письмо Ваше с большим удовольствием и вижу, что древо истинного познания пустило в рассудке

Вашем глубокие корни, — это не мешает, что я еще хочу поспорить; я не выдаю слов своих за истину, но только за искреннее выражение своего убеждения и рад принимать истину из уст другого. Ваша диалектика очень верна; все Ваши доказательства выливаются из одного начала; но мне кажется, что Вы потеряли из виду основной закон всякой философии — главную мысль, на которой она должна зиждиться. Если цель всякого познания, цель философская есть гармония между миром и человеком (между идеальным и реальным), то эта же самая гармония должна быть *началом* всего. Всякая наука, чтобы быть истинной наукой, должна возвратиться к своему *началу;* другой цели нет [37])...»

Для московских юных философов 20-30-х годов вообще характерна эта захваченность идеей *единства,* духовного закона или вернее творческого, духовного начала и средоточия мира, питающего собой все, только из общения, из связи с которым и все частное — и все отдельные науки и прелесть знания и внутреннее развитие мира, и деятельность каждого из нас, и деятельность и призвание отдельных народов получают свое значение, свой стимул, свое оправдание, свое духовное место: в гармонической соподчиненности Целому. А вот несколько черт этого живого, горящего умственно и пытливостью и идеализмом душевным, и вместе с тем исполненного жизнерадостности юношеского общения, встающего перед нами из записей современников.

«Другое общество», — так пишет в своих воспоминаниях Кошелев — «было особенно замечательно. Оно собиралось *тайно,* и об его существовании *никому* не говорили. Членами его были: князь Одоевский, Иван Киреевский, Димитрий Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочитанных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед. Мы собирались у князя Одоевского в доме Ланской... Он председательствовал, а Дмитрий Веневитинов всего более говорил и своими речами приводил нас в восторг [38]».

Когда молодой Пушкин, освобожденный Николаем I из ссылки в селе Михайловском, приехал в сентябре 1826 года в Москву, то сразу образовался у него духовный «стык» с этой веселой, остроумной, жившей усиленными культурны-

ми и в частности литературными интересами молодежью. Какой массой радостной беззаботности, смеха, юного товарищеского веселья и умственного, и творческого движения веет от ее жизни и этих дружеских встреч. В 1826 году под эгидой Пушкина и при ближайшем участии его основывается «Любомудрами» журнал «Московский Вестник». Рождение «Московского Вестника» праздновалось товарищеским обедом сотрудников 24-го октября 1826 года в бывшем доме Хомякова на Кузнецком мосту. Собрались: Пушкин, Мицкевич, Баратынский, два брата Хомяковых, два брата Веневитиновых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Раич, Оболенский, Соболевский, Погодин. Пушкин по годам один из старших — ему 27 лет; Дмитрию Веневитинову 20 лет, Алексею — 19 лет, Алексею Хомякову и Соболевскому — по 22 г., Ивану Киреевскому — 20, Петру — 18 лет. «Нечего описывать», рассказывает Погодин [39]), «как весел был этот обед. Сколько тут было шума, смеха, сколько рассказано анкдотов, планов, предположений . . .»

Настроения дружеских бесед между любомудрами, сильно увлекавшимися шеллингианским поэтически-одухотворенным восприятием мира, встают перед нами из другого еще отрывка из воспоминаний А. И. Кошелева. Между 1827 и 1831 годами Кошелев был уже в Петербурге, где он часто виделся с приезжавшим из Москвы А. Хомяковым. «Хомяков», пишет Кошелев [40], всегда был строгим и глубоко верующим православным христианином, а я — заклятым нигилистом, и у нас были споры бесконечные. Никогда не забуду одного спора, закончившегося самым комическим образом. Проводили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до 3 часов ночи. Тогда хозяин дома вспомнил, что уже поздно и что лучше продолжать спор у него же на следующий день. Мы встали, начали сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завез Хомякова на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг, какая-то немка, жившая над воротами, у которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно громко говорит: «Mein Gott und Herr, was ist denn das?» Мы расхохотались, и тем окончился наш спор.»

В «Русских ночах» В. Ф. Одоевского этот забавный эпизод, рассказанный Кошелевым, и все эти страстные беседы любомудров — о духе, о мироздании, о природе, о назначе-

нии и призвании русского народа нашли свое литературное отражение: «На другой день около полуночи толпа молодых людей снова вбежала в комнату Фауста: Ты напрасно прогнал нас — сказал Ростислав; у нас поднялся такой спор, какого еще никогда не было. Представь себе, я завозил Вячеслава домой; на подножке кареты он остановился, а мы все еще продолжали спорить, да так, что всполошили всю улицу. — Что же вас такое встревожило, спросил Фауст, лениво потягиваясь на креслах. — Безделица: Каждый день мы толкуем о немецкой философии, об английской промышленности, о европейском просвещении, об успехах ума, о движении человечества, и прочее, и прочее; но до сих пор мы не спохватились одного: *что мы за колесо в этой чудной машине?* Что нам оставили на долю наши предшественники? Словом: *что такое мы?*»[41])

Это — характерный, основной вопрос, глубоко волновавший русскую мыслящую молодежь того времени. Из ответов на этот вопрос родилось вскоре затем все умственное движение славянофилов и западников.

Как сердцем кружка любомудров был молодой Дмитрий Веневитинов, так лет 10 спустя объединяющим центром для идейно заинтересованной московской молодежи явилась такая же благородная и привлекательная личность Николая Станкевича (1813-40). На примере Станкевича, может быть, особено ясно видно, какую решающую роль в этой атмосфере духовного общения играет духовно-сильная и высоко настренная личность. В свою орбиту она вовлекает других и источает лучи и греет духовно и подбадривает других на совместном пути самовоспитания· «Еще в университетской аудитории», вспоминает о нем Анненков, «он стал центром кружка товарищей, равных ему по сведениям, но подчинявшихся охотно (как способны только подчиняться люди в молодые годы свои) влиянию светлого ума, благородного сердца и строгих нравственных требований. Станкевич действовал обаятельно всем своим существом на сверстников: это был живой идеал правды и чести, который в раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующей свое призвание [42])». Белинский писал о нем в 1837 году: «Если ему суждено встать, то нам надо будет смотреть на него, высоко подняв голову: иначе мы не рассмотрим и не узнаем его [43])». Очарование его личности живо встает перед нами из этой яркой зарисовки его образа Тургеневым, который много виделся с ним в 1840 году в Риме незадолго до его

скоропостижной смерти [44]): «Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе он не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того на замечая, увлекал его вслед за собой в область идеала. Никто так гумано, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем ни следа не было; даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем... Станкевич был более нежели среднего роста, очень хорошо сложен; по его сложению нельзя было предполагать в нем склонности к чахотке. У него были прекрасные черные волосы, покатый лоб, небольшие карие глаза; взор его был очень ласков и весел; нос тонкий, с горбинкой, красивый, с подвижными ноздрями; губы тоже довольно тонкие, с резко означенными углами; когда он улыбался, они слегка кривились, но очень мило; и вообще улыбка его была чрезвычайно приветлива и добродушна, хотя и насмешлива. Во всем его существе, в движениях была какая-то грация и бессознательная distinction, точно он был царский сын, не знавший о своем происхождении. Одевался он просто, носил обыкновенную палку. Ни разу не слыхал я от него жалоб на свое здоровье, — о болезни он говорил не иначе, как в шутливом тоне; никогда он не хандрил. Когда я изобразил Покорского («в Рудине»), образ Станкевича носился предо мною, но все это только бледный очерк. В нем была наивность почти детская, еще более трогательная и удивительная при его уме. Он был очень религиозен, но редко говорил о религии».

Сходное впечатление получается из сохранившейся переписки Станкевича. Естественность, непринужденность тона, юношеская веселость бросаются в глаза. Он любит подурачиться, он остроумный и добродушный шутник, он с удовольствием отдается святочному веселью с ряжеными и танцами; иногда в деревне он дни проводит на охоте. «Я, Ваш мирный, халатный собеседник, еду вооруженный ножем, ружьем, порохом, дробью, в разорванном картузе и крытом нанкою полушубке. 28 гончих участвуют в торжественном шествии и будут петь хором погребальные песни зайцам и лисицам [45])...»Но и по переписке он не только веселый и добродушно-сердечный друг и товарищ, не только образованный юноша с большими литературными и философскими познаниями и чувством красоты — у него есть духовная закваска, внутренняя «соль» души, и ею он и действует на окружающих. В нем есть внутреннее горение, идея духовного служения и стремление подготовиться к этому служению. Оно тесно связано с его жаждой религиозно-

идейного, религиозно-философского осмысления, или вернее уразумения смысла — ибо смысл исконный не нами дан, не нами вложен — мироздания, истории, окружающей нас действительности, исторического момента, в котором мы живем. Понять план Божий о мире и сделаться участниками в осуществлении этого плана — вот в чем, согласно Станкевичу, смысл нашего существования, вот к чему мы призваны. «Как не хотеть этого?» пишет 23-летний Станкевич своему другу Неверову, — «не хотеть нам, которые толкуем о жизни, о благе, о человечестве, о средствах быть ему полезным? — Но быть полезным — неужели значит указать средства к пропитанию, к спокойному житью, к удобствам жизни, к эгоистическому образованию, которое бы умножало удовольствия жизни? Не лучше ли внушить ему высокие убеждениния, сознание своего достоинства, христианские истины?.. Нет, мой друг! Истина должна быть жива и плодотворна [46].» «Кроме того, — пишет он тому же месяцем позднее, — признаюсь Тебе, друг мой, ход человеческого ума, его стройное развитие и приращение, вечная истина, облекающаяся в разные одежды соответственно веку и народу, и все более являющая свою сущность — какое явление может быть занимательнее? Одно отвлеченное знание может иссушить душу, но оно должно быть фокусом, который собирает лучи, рассеянные по обширной стране знания, и в свою очередь озаряет ее [47])». «Кто безкорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготовляет ее к принятию Божества. Царство истины — Царство Божие; оно в мире, но не от мира [48])»...

Характерно и для Станкевича, как это было и для «Любомудров» и Веневитинова, это искание духовной связи в явлениях мира, великого, основного единства, основной духовной, творческой сути, духовного ядра в жизни мира и человечества. Это стоит в тесной связи с увлечением их германской идеалистическо-романтической философией — шеллингианством (позднее, в кружке Станкевича, и философией Гегеля). Станкевич умеет и другим передавать этот свой внутренний импульс, зажечь их своим горением. Отсюда — огромное педагогически-очищающее и будящее воздействие его личности, о которой единогласно говорят современники. Недаром он пишет в одном из своих писем: «Я еще более хочу убедиться в достоинстве человека и, признаюсь, хотел бы потом убедить других и пробудить в них высшие интересы [49])». Особенно ярко сказывается эта будящая, дружески-педагогическая, соединенная вместе с тем с тонкой де-

ликатностью, струя в его письмах к молодому Грановскому. Он убеждает его не отдаваться только нанизыванию фактов, не робеть перед *мыслью*, старающейся осветить нам смысл исторического процесса.

«Когда же нибудь надо отбросить эту рабскую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицом к лицу с этими обольстителями души, которые тайной, странной надеждой поддерживают жизнь ее, и потребовать от них вразумительного ответа ... Нет. Человек может знать, что хочет, по крайней мере, может устроить хаос своих познаний и быть в единстве с самим собой, одушевить науку одной светлой идеей — и этого мы вправе ждать и требовать от тебя, милый Грановский, которым не овладел демон мира сего и который безкорыстно готовит себя на служение мысли ... Прочь интересы бедных голов — что за нужда, в котором году ни умер Александр Македонский: довольно, что он жил и переродил вселенную — а, если это знать, так знать для того, чтобы понять, что такое вселенная ... Мужество, твердость, Грановский. Не бойся этих формул, этих костей, которые облекутся плотью и возродятся духом по глаголу Божию, по глаголу души твоей. Твой предмет — жизнь человечества, ищи же в этом человечестве образа Божия, но прежде приготовься трудными испытаниями — займись философией. Занимайся тем и другим — эти переходы из отвлеченностей к конкретной жизни и снова углубление в себя — наслаждение. Тысячу раз бросишь ты книги, тысячу раз отчаешься, и снова исполнишься надежды, но верь, — и иди путем своим [50]) ... »

Он сам прошел через период духовной спячки, внутренней неудовлетворенности, покуда не натолкнулся на мир идей.

«Грановский. Веришь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания; что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мной: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать [51])».

Другу своему, Январию Неверову, переехавшему из Москвы в Петербург, 20-летний Станкевич пишет: «Храни только то, что в Петербурге называют мечтами, а в Москве сокровищем души, святыней сердца [52])».

В записках и письмах к нему особенно много беспечно-шутливого, непринужденного тона. Мы видим в них, как растет и крепнет это умственное и душевное сближение в атмосфере юношеской веселости.

«Любезный Генварь. Приезжай, прошу тебя, ко мне побеседовать о бессмертии души и о прочем. Сегодня пятница: мы всегда видимся в этот день; меня так и тянет побеседовать с тобой. Брось диссертацию — поболтаем — мысли посвежеют [53])»,

пишет 18-летний Станкевич. В другой записке он подписывается: «Весь твой *Ноябрь Станкевич* [54])».

Духовный и умственный жар соединяется у Станкевича не только с веселостью характера, но и с большой мягкостью, терпимостью и любвеобильностью в отношении к людям и с сильно развитым религиозным чувством. Мы подходим здесь к одной из главных причин его воздействия на людей. Была какая-то скрытая питающая струя его личности, сокровенный жизненный нерв, прикосновение к чему-то Высшему, что рано стало сказываться в этом жизнерадостном юноше и мало-по-малу приподнимало его на более высокую, более зрелую плоскость развития. Этот внутренний рост стоит, повидимому, в связи с его болезнью, которая углубила его личность и которая уже рано стала сказываться характерными головокружениями, тошнотой, головными болями, слабостью, большим упадком сил. Двадцати семи лет он умер от чахотки. Он рано стал нести свою болезнь (хотя боролся с ней и лечился до конца, все надеясь вылечиться), как посланный ему от Бога крест, и рано приучился смиряться перед волей Божьей. Нелегко ему это сначала давалось, ему хотелось жить, он любил жизнь, его увлекала идея творчески-одухотворенного подхода к жизни. Особенно интимно звучит одно место из письма 22-летнего мальчика к другу его Неверову:

«Друг мой. Я верю еще в особенный Промысел, бдящий над жизнью каждого; кто хочет быть человеком, он подает ему на это средства: иному счастье, иному бедствие. Да, кажется, нужно что-то от мира для полноты этого счастья, но — да будет воля Его . . . Я говорю: «Господи, буди в сердце моем и дай мне совершить подвиг на земле»; и, если слезящийся взор обратится к Нему с другой, невольной молитвой, я говорю: «. . . но да будет, не якоже аз хощу, но якоже Ты хощеши». Когда вся тяжесть пожертвований без вознаграждений

представляется мне, я прибавляю: «Господи, если возможно, да мимо идет чаша сия [55]).»

Имя Христа постоянно встречается в письмах его к Неверову: «Да будет с тобою Христос». — «Да будет над тобою милость Распятого». — «Христос да благословит тебя» и т. д. Молодому Белинскому он пишет:

«Между безконечностью и человеком, как он ни умен, всегда остается бездна, и одна вера, одна религия в состоянии перешагнуть ее, одна она в состоянии наполнить пустоту, вечно остающуюся в человеческом знании [56])».

Сам научившись страдать, он старается в друзьях победить мрачное уныние, указать им на то, что и в страдании, если его внутренно приемлешь, может быть отрада [57]). Особенно привлекала к нему его широкая терпимость к чужим мнениям — лишь бы у человека чувствовалось истинное желание добра.

«Что нам за дело, что я убежден в важности философии, а ты нет, что в понятиях об искусстве есть у нас разница? Мы будем спорить и постараемся привести спорные пункты в ясность: один из нас, может быть, уступит. Но если бы мы и никогда не сошлись в этом, разве у нас не одни понятия о сущности жизни? Разве кому-нибудь из нас чужды добро, любовь, поэзия, дружба? Вот истинная связь людей, мой Януарий. Без нее сходные понятия также мало упрочат дружбу, как одна привычка ,которая имеет силу только при других важнейших условиях [58])».

К его кружку принадлежали весьма различные, несходные между собой юноши: и религиозно настроенный, любящий литературу, но чуждающийся философии Неверов и завзятые поклонники Шеллинга и Гегеля. В числе друзей Станкевича были и Белинский и крайне увлекающийся Михаил Бакунин (в свой ранний период пламенного философского идеализма) и мягкий, гуманный и сдержанный Грановский, и Константин Аксаков, и В. П. Боткин, и М. Н. Катков. Станкевич примирял их своей личностью. С его уходом контрасты заострились, кружок распался. Константин Аксаков так потом с благодарностью вспоминает об этом кружке, признавая за ним духовную значительность и самостоятельность мнения . . . «Что всего замечательнее, кружок этот, бу-

дучи свободомыслен, не любил ни фрондерства, ни либеральничания, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало... Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само по себе справедливо и есть явление вполне русское... Такой кружок не мог быть увлечен никакими авторитетами [59])».

Литературный отзвук собраний молодежи вокруг Станкевича, хотя и сознательно стилизованный под общую (более бедную материально) студенческую среду, находим мы в этом известном месте Тургеневского «Рудина», где флегматический Лежнев вспоминает о своих молодых годах и, при рассказе о них, вдруг согревается душой.

«Попав в кружок Покорского, я совсем переродился: смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел — одним словом, точно в храм какой вступил. Да и в самом деле, как вспомню я наши сходки, ну ей-Богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте: сошлись пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши. В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии, — говорим иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда... Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой; а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, ни дать ни взять — молодой Демосфен перед шумящим морем; взъерошенный поэт Субботин издает, по временам, и как бы во сне, отрывистые восклицания; два-три новичка слушают с торжественным наслаждением... А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уже и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у нас и в помине тогда не было), с какой-то приятной усталостью на душе... и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали и понятнее... Эх, славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром. Да оно и не пропало, — не пропало даже и для тех, которых жизнь опошлила потом...»

В образе Покорского Тургенев, по его собственным словам (как мы уже видели), хотел изобразить Станкевича.

Тридцатые, сороковые и пятидесятые годы. Время уси-

ленного умственного кипения, не только в тесных кружках юношей-однолеток, но и на несколько более широком фоне некоторых избранных, живущих повышенной умственной жизнью (несмотря на весь цензурный гнет николаевской эпохи) московских салонов. Известна их блестящая характеристика у Герцена в его «Былое и Думы», где он не без тоски и умиленности оглядывается на этот умственный блеск эпохи своей юности: «Говоря о московских гостиных и салонах, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до 4 часов утра, начавши в 10; где К. Аксаков, с мурмолкой в руке, свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтобы не сотворить тайно моления и тост, который все знали; где Р. выводил логически личного Бога, ad maiorem gloriam Hegelii, где Грановский являлся со своей тихой но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воска, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткины и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало . . . Споры возобновлялись на всех литературных и не литературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной . . . »

И здесь опять мы имеем дело с рядом руководящих личностей, особенно с одной центральной личностью. В 30-ых, 40-ых и 50-ых годах такая центральная роль — духовного бужения, встряхивания, углубления и зажигания — принадлежала Хомякову (1804-1860). Не пылкий юноша, а зрелый муж, искусный диалектик, пламенный спорщик. Но его споры часто носили некий сократический характер «повивания духовного»: они разбивали предрассудки, наивную самоуверенность, душевную скорлупу, звали к самоуглублению. А нередко носили они и обличительно-пророческий и

миссионерско-апостольский характер. Это было истинное «служение Слову». В своих замечательных воспоминаниях о Хомякове его друг А. И. Кошелев, знавший его в течение 37 лет, так характеризует эту сторону деятельности Хомякова: «Не могу не упомянуть о редкой особенности Хомякова привлекать к себе и привязывать и стариков, и сверстников своих, и молодежь. Он становился средоточием везде, где находился, и в Москве, и в каждой гостиной, куда приезжал. Этим он обязан, конечно, своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и завлекательной речи, но еще более кротости и безобидности своей беседы. Молодежь, особенно «свирепая», как он ее называл, расположенная к тому, что впоследствии названо было нигилизмом, была предметом его особенной заботливости. Он любил беседовать с этими юношами, которые были к нему чрезвычайно хорошо расположены, и он на них действовал благодатнее всяких проповедей и других внушений».

«Да», — заключает Кошелев: «Жизнь этого человека была постоянным подвигом, который достойно оценится разве потомством». Хомяков сам высоко ценил силу непосредственного, устного слова. «Когда случалось его упрекать», — говорит Кошелев — в том, что он слишком много говорит, то он отвечал: Изустное слово плодотворнее писанного; оно живит слушающего и, еще более, говорящего; чувствую, что в разговоре с людьми я умнее и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова, произнесенные и слышанные, коренистее слов писанных и читанных [60])».

Но мы не в состоянии восстановить огромного очарования его живых слов, непосредственно из уст его воспринимаемых слушателями. Лишь отголосок его находим в сочинениях Хомякова и особенно в его переписке — этих замечательных документах русской духовной жизни. Из его писем встают перед нами и личность и проповедь этого изумитеьлного человека, его проповедь жизнью. Ибо он глубоко убежден в необходимости *жизненного подхода к Истине. «Истинно мы знаем только то, в чем мы живем и чем мы живем* [61]*)»* (из письма к Ю. Ф. Самарину). Кто знает Истину только устами и головой, не знает ее совсем и говорит о ней, как чужой о чужом. Отсюда требование подвига, преображения жизни. Ибо мы призваны *всей жизнью своей служить Истине.* «Всякий стоит на высшей службе [62])».

Замечателен тон мужественой убежденности, мужественой трезвенности, который звучит в его сочинениях и его

письмах. «Более же всего я хвалю (извините за гордое Я, но ведь оно всегда скрывается во всяком мнении)», пишет он А. Н. Попову, — *«воздержанность тона при мужестве поступка* [63]); он свидетельствует о мужестве, не страстном и порывном, но тихом и упорном, т. е. о том, которое всегда нужно, а теперь более, чем когда-нибудь — и нам более, чем комунибудь [64])». Недаром в одном из своих стихотворений он обращается к России:

«О Русь моя, как муж разумный,
Сурово совесть допросив, . . . » *(1854 г.)*

Духовное мужество Хомякова проистекает еще от того, что он верит Правде, *верит в духовную силу Правды.* Он не закрывает на нее глаз. Он не боится науки. Молодому Юрию Самарину, раздираемому сомнениями между философией Гегеля и требованиями науки (которые он с нею отождествлял) с одной стороны и своей православно-христианской верой с другой, он пишет мужественные слова: «Человек не имеет права отступиться от требований науки. Он может с утомления закрыть глаза, насильно на себя наложить забвение; но последующий за этим мир есть гроб повапленный, из которого не выйдет никогда ни жизни, ни живого. Если он раз сознал раздвоение между наукой (анализом) и жизнью (синтезом), ему остается один только исход: проверить повторным анализом положение науки . . . Верны ли положения науки, вот вопрос: т. е., строго ли верен сам анализ. От этой проверки зависит возможность примирения [65])». Но наука наша остается только у порога, в глубины жизни она не может проникнуть. *«Тайна жизни и ее внутренние источники не доступны для науки и принадлежат только любви* [66])».То есть, здесь нужен уже другой, *высший* способ познания — религиозное врастание в Истину, врастание в нее жизнью. Но вместе с тем он подбадривает Самарина в его научной работе. В постскриптуме к письму он опять вдыхает мужество в молодого мыслителя, подбодряет его и указывает ему на объективную ценность этих исканий и борений мысли в искренних поисках за Истиной: «Каков бы ни был Ваш теперешний или будущий вывод . . . не жалейте о подвиге мыслителей, как будто пропавшем даром . . . Семена, посеянные давным давно, должны дать плод, и *не даром пропадает труд того, кто приближает время зрелости* [67])». Это письмо к Самарину (первое по хронологии из до-

шедших до нас писем Хомякова к нему) особенно характерно: оно есть как бы жизненное руководство, исходящее от близкого и мудрого друга и наставника — я сказал бы почти: духовного отца — которому дана власть умственно «повивать» души в их исканиях Истины.

Стоит здесь, может быть, несколько подробнее остановиться на духовной личности Хомякова и на его миросозерцании, его вере. Одно, как мы знаем, было в нем неотделимо от другого. Он жизненно осуществлял свою веру, он жил ею. Она не была у него только головным убеждением, а жизненной силой. Мы знаем «святая святых» убеждений и проповеди Хомякова: веру в Истину Божию, призыв к служению Истине Божьей. Он при этом проникнут «тем *жаром и любовью к Истине* [68])», которые — по его словам — «одни только могут оплодотворить жизнь» (так пишет он в первом своем, дошедшем до нас, письме к Ивану Аксакову [69]). Ибо она, Истина — повторяю — воспринимается им не абстрактно, не теоретически, а конкретно и жизненно. Более того, он — этот сильный и страстный мыслитель, ценящий все огромное достоинство и значение в жизни человечества искренних исканий, напряженных мук мысли, он — убежденный христианин, знающий — как мы уже видели, — что последние глубины жизни и истины недоступны науке и философии и открываются *любви*, т. е. внутреннему жизненному единению с Богом. Глубины любви Божьей и правды Божьей, раскрывшиеся в Сыне Его, и динамика Духа Божия, творчески созидающая новую тварь, новое человечество — в Теле Его, которое есть Церковь и которое призвано обнять все человечество, — вот сущность и основание его веры, вот тот масштаб, который он клал в основу всех своих оценок, и религиозных, и философских, и политических, вот то, что он, прикровенно или неприкровенно, проповедовал в гостиных и наедине, в общении с друзьями или с представителями «свирепой» молодежи, и в дружески воспитывающих и подбодряющих письмах своих, и в речах и в разговорах, и в трактатах и стихотворениях, и в жизни. Это была исповедь жизнью, поэтому и терпима, и любвеобильна, и смела и мужественна. Поэтому она так щадила, — нет, более того — так ценила чужую свободу убеждений и мысли, — черта, особено привлекательная для молодых. Он *веровал Истине*, поэтому не боялся споров, не боялся чужой свободы, чужих отрицаний. Поэтому так характерно — и так привлекательно (особенно опять-таки для молодежи) — это соединение у

него искреннего *свободолюбия* с убежедностью религиозной. Ибо вера его была укоренена в убеждении, что «Истина сделает вас свободными»(Иоан., 8, 32). И Церковь, этот центр его проповеди («Верую в Церковь» — так пишет он, например, в письме к Ивану Аксакову [70]), — была для него потоком *свободной* жизни благодати: ибо, «где Дух Господень, там свобода» (II Кор., 3, 17). Свободный и вместе с тем совместный, соборный рост в благодати Духа Божия — вот истинная жизнь Церкви, т. е. соединение свободы с теснейшей, горячей *солидарностью любви.* Это он проповедовал в речах и письмах, и стихах, и разговорах.

Не отдельные личности только, но и народы призваны служить Правде Божьей. В этом и состоит истинный патриотизм, истинная любовь к своему народу: приготовлять его к этому служению, содействовать его очищению, содействовать его росту духовному. Отсюда и требование патриотической, глубоко прочувственной, из горячей и страстной любви вытекающей *правдивости* по отношению и к собственному народу, начиная, конечно, с самого себя.

Хомяков строг и к себе. Это явствует из многих его откровенных излияний перед друзьями в его письмах. Поэтому он так ясно видит общие и ему и окружающим его недостатки и вины всей России, как государственного и народного целого. Он видит духовное разложение, видит надвигающееся возмездие, и слова его загораются силой пророческого обличения, или, вернее, самообличения.

«...С душей коленопреклоненной,

— обращается он к России в своем знаменитом стихотворении, —

«С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели»,

А перед этим две потрясающие по силе строфы:

«...помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,
А на тебе, увы, как много
Грехов ужасных налегло.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

О недостойная избранья,
Ты избрана. ...»

Это — как бы основной мотив отношения Хомякова к России. Она — недостойна и вместе с тем она *избрана*. Поэтому — прочь гнусная лесть. Откройте глаза, повергнитесь в прах перед Господом с мольбой о прощении:

«За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость темного незнанья,
За плен народа; наконец,
за то, что, полные томленья,
В слепой сомнения тоске,
Пошли просить вы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед, и счастье мира,
И огнь любви, и свет умов, —
Но у бездушного кумира,
У мертвых и слепых богов.
И обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни
От сердца стороны родной.
За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен, —
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил.»

(1846 г.)

Алексею Веневитинову он пишет приблизительно в то же время:

«Важно сознание всероссийской болезни... Сознанное может быть вылечено, но для этого нужно сознание общее, или, по крайней мере, сильно распространенное. Нужна новая жизнь, новая наука, нужен новый нравственный переворот, нужна любовь, нужно смирение гордого и ничтожного знания, которое выдает себя за просвещение и само верит своему хвастовству» [70а]).

А вот что он пишет после катастрофы Крымской кампании:

«Средства не затемнили бы нам цели, той тихой, строгой, исторической, можно сказать, святой цели, которая была нам ясна в тишине посланного нам испытания... Страшно подумать, что надобно поворотить и откуда. Какой пропеть канон покаяния, какое нужно упорство воли, строгость занятий, жар любви...» [70б]).

Это была горячая, пробуждающая, нравственно трезвящая любовь к родине. Религиозная вера и горячая любовь к родному народу сливаются у Хомякова в органический синтез именно потому, что *Бог для него выше* народа. *Он* есть конечный масштаб, конечный суд, конечная цель, вдохновляющая сила, благодатный источник прощения, обновления и духовного творчества и для отдельного человека и для народа. Он нас и поставил в нашем народе, на ниве, которую мы призваны в поте лица, до последних сил наших, обрабатывать во имя Его.

«Взгляни на ниву: пашни много,
А дня не много впереди, —
Вставай же, раб ленивый Бога,
Господь велит, иди, иди!
Ты куплен дорогой ценою:
Крестом и кровью куплен ты.
Сгибайся ж, пахарь, над браздою!
Борись, борец, до поздней тьмы!
Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом,
А Ты безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!
Иду свершать, в труде и поте.
Удел, назначенный Тобой,
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.

Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего!»

Этот вдохновляющий импульс исходил от Хомякова и передавался окружающей его молодежи. При этом он сам усердно занимался смиренным самовоспитанием, строгим самоанализом, беспрестанно борется он в себе с тем, что он называет «тихим сном» души, или «душеубийственной ленью», и радуется, когда работа идет усердно, упорно и плодотворно. Вот, например, как строго анализирует он свое состояние: «Жизнью своей доволен ли я? Нет; но кажется, что я не совсем так плох и слаб, как был и боялся снова сделаться; но все еще ленив, ленив, и напряжение тяжело. Другое дело у меня хорошо ладится: это уничтожение барщины» (VIII, 271). Одна черта характерна при этом для «проповеди» Хомякова и для личного общения с ним: его подлинность, его укорененность в существенном, его мужественная скромность, — то, что я назвал уже «трезвенностью». Он не верит трескучим фразам, внешним эффектам, сенсациям. Подлинное совершается в тиши и глубине духа, там, где прикасается к нему сила благодати. Действие Истины органично, касается самых корней, самых основ жизни. Поэтому Хомяков решается даже сказать: «Только медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идет к болезням» (VIII, 286). Конечно, с такой формулировкой (опять в одном из писем Хомякова к Самарину) можно спорить, но тенденция ясна: органичное, коренное, глубинное важнее шумихи внешних явлений. Борьба, к которой мы призваны, «не только вековая, но и вечная», за Правду Божью (VIII, 286). Истинная борьба есть духовная борьба (VIII, 205). Все наши выводы должны слиться «в один общий вывод *освобожденной жизни*», духовно освобожденной (VIII, 234).

Но это не значит, чтобы Хомяков пренебрегал историей — напротив того, он только хочет углубить ее понимание, раскрыть ее внутренний смысл. Внешние исторические факты суть невольное свидетельство, они наводят нас на то, из чего история живет, из чего народы живут, — на законы духовной и нравственной жизни. Хомяков не только страстно отзывается на события современности, на духовные и материальные нужды своего народа, на борьбу за правду в мире, но он со страстным интересом — мы уже видели — следит

за общим ходом исторических судеб своего народа и вместе с тем за общим историческим развитием всего человечества, следит за развитием определенных нитей исторического процесса и доискивается смысла их. Он ощущает движущия историческим процессом силы, творческие и разрушительные, и усиленно призывает своих молодых друзей учиться истории [71]).

Для Хомякова история согревается и просветляется как время и место творческого воздействия Вечной Истины, т. е. Воплощенного Слова, на свободу человека. Недаром чуткое ухо слышит Его приближающиеся шаги в событиях мира:

«И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца . . . »

В истории совершается рост Тела Христова, бросаются семена свидетельства. Есть моменты особенно плодотворные для бросания семян, для обращения, для покаяния, для отрезвления, для самоуглубления духовного. Ему кажется, что такой момент наступил, что на его поколение наложена огромная ответственность — перед родным народом и всем миром. «Православие на мировом череду [72])». С этим соединялось острое ощущение близости Высшего и Вечного за тканью временного, ощущение духовно плодотворное и пробуждающее.

Вот — лишь краткий и несовершенный очерк того огромного духовного, творческого богатства, которое вносилось в московскую умственную атмосферу 40-ых и 50-ых годов проповедью и личностью Хомякова. Много можно найти откликов, много свидетельства этого умственного движения. Самое важное и существенное шло в глубину и незаметно, в творческой тиши, оплодотворяло души [73]).

Вот как Иван Аксаков описывает воздействие личности Хомякова на своего брата Константина и на молодого Юрия Самарина:

«В обществе, в котором они появились вместе в 1840 году, встретили они Хомякова, и эта встреча была решающим событием в их жизни. Он превосходил их не только зрелостью лет, опытом жизни и универсальностью знания, но и удивительно гармоническим сочетанием противоположностей их обоих натур. В нем поэт не мешал

философу и философ не смущал поэта; синтез веры и анализ науки уживались вместе, не нарушая прав друг друга; напротив, *в безусловной, живой полноте своих прав,* без борьбы и противоречия, но свободно и вполне примиренные. Он не только не боялся, но признавал обязанностью *мужественного разума и мужественной веры* спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса, и выносил оттуда свою веру во всей ее цельности и ясной, свободной, какой-то детской простоте [74]».

Уже в 30-ых годах вокруг Хомякова и его ближайших друзей зарождается это новое умственное движение. «С начала 1833 года», пишет Кошелев, — «мы (т. е. Хомяков и Кошелев) зимою постоянно живали в Москве, очень часто видались у него, и у меня, и особенно у И. В. Киреевского. Последний жил у Красных ворот со своей матерью, А. П. Елагиной, которую мы все горячо и глубоко уважали. Тут бывали нескончаемые разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 и в 6-ом часу ночи или утра. Тут вырабатывалось и развивалось то направление православно-русское, которого душой и главным двигателем был Хомяков [75])«. Одним из центров умственного движения был, как мы уже слышали, Елагинский дом. «Три младших сына Авдотьи Петровны», пишет Бартенев, «в это время (около 1842 года) были студентами и дом ее снова оживился. Это был второй период ее общественно-литературной жизни. Русское умственное развитие уже раскололось тогда на два противоположных направления; но представители того и другого любили сходиться в Елагинской гостиной. В хозяйке дома было что-то примиряющее, безотносительно-высокое и общее людям обоих направлений. У нее бывали и менялись мыслями: А. И. Тургенев, Гоголь, Хомяков, Погодин, Шевырев, Вигель, Иноземцев, Редкин, Н. Павлов, Мельгунов, М. Димитриев, Крюков, Огарев, Сатин . . . Поколение, явившееся на смену спутников ее молодости, сверстники и товарищи младших сыновей ее, Валуев, Кавелин, А. Н. Попов, А. П. Ефремов, В. А. Панов, Стахович, отец и братья Аксаковы, братья Бакунины, Ф. Чижов, Ю. Самарин, князь Черкасский любили пользоваться ее беседой [76])». Какой молодой задор царил на этих собраниях в московских гостиных, явствует, например, из следующей записки Юрия Самарина Константину Аксакову (относящейся к тому периоду — начало 40ых годов, — когда они оба еще были увлечены философией Гегеля и лишь начинали входить в круг духов-

ного воздействия Хомякова): «Вчера было много споров. Главные схватки: 1) Шевырев с Крюковым, можно ли молиться Богу Гегеля; Шевырев подрезан с ног славно; 2) Шевырев с Редкиным о первобытном состоянии человека; Редкин спорил прекрасно; Шевырев прикрыл постыдное отступление криками и общими местами, но он должен был погибнуть совершенно, если бы не вмешался Дмитриев и не отвлек Редкина; 3) спор Редкина с Дмитриевым о том же; Дмитриев, мистик несносный, вздумал в споре философском приводить тексты и спор дошел бы до личностей; 4) наконец, мой спор с Орловым, вздумавшем излагать мне какую-то свою систему. И удалось мне, смиренному Давиду, повалить грозного Голиафа [77]) . . .»

Но все сильнее и сильнее росли под влиянием Хомякова среди некоторых из молодежи стремления преодолеть гегелианские отвлеченно-логические формулы и искания живого личного Бога. Тот же Юрий Самарин писал накануне нового 1849 года своему ближайшему другу: «Послушай, Аксаков. Ты давно на меня сердишься за то, что с недавнего времени я чаще стал не соглашаться с тобой и спорить . . . Я спорю с тобой потому, что давно веду тяжелый, мучительный спор с самим собой. Кажется, никогда так сильно не было во мне раздвоение. Мне невыносимо тяжело и грустно . . . Много ночей я провел в деревне без сна, в горьких слезах и без молитвы. *Безделицу мы вычеркнули из нашей жизни: Провидение,* и после этого может ли быть легко и спокойно на сердце? . . . Передай от меня дружеское приветствие с новым годом твоему батюшке, И. С. Аксакову, Павлову, Хомякову, Языковым, Свербееву, Киреевскому, Грановскому, Герцену и всем нашим [78])».

Другой такой центральной, «учительной» личностью московских кружков 30-ых и 40-ых годов был *Чаадаев* (1794-1856). И он умел зажигать души — учением о потоке духовной традиции, духовной религиозной динамике, которая составляет внутреннейшую сущность истории, и требованием, чтобы народы приготовляли в себе и во всем мире место для грядущего Царствия Божьего . . . — «Да приидет Царствие Твое» — так заканчивается целый ряд его писем. Отсюда и критика Чаадаева, направленная против русского прошлого. То есть мы видим: из сходных с первыми славянофилами предпосылок делались различные с ними выводы. Впрочем, не всегда уже такие диаметрально противоположные, если сравним позднейшую, более зрелую фазу мысли Чаадаева

(конца 30-ых и 40-ых годов), например, со стихотворением Хомякова: «Не говорите: то былое...» Какое впечатление мог Чаадаев со своей заостренной, страстно-односторонней, но согретой религиозным огнем проповедью производить на избранные души, видим, например, из следующего письма, обращенного к нему:

«... Я вижу Ваше назначение... мне кажется, что Вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться, и приучать их к истине... Я твердо убеждена, что именно таково Ваше призвание на земле. Иначе зачем Ваша наружность производила бы такое необыкновенное впечатление даже на детей? Зачем бы Вам были даны такая сила внушения, такое красноречие, такая страстная убежденность, такой возвышенный и глубокий ум? Зачем так пылала бы в Вас любовь к человечеству? Зачем Ваша жизнь была бы полна стольких треволнений? Зачем столько тайных страданий, столько разочарований?...»

А вот другое письмо, другого лица (тоже образованной женщины), тоже обращенное к Чаадаеву:

«Покажется ли Вам странным и необычным, что я хочу просить Вашего благословения? У меня часто бывает это желание и, кажется, решись я на это, мне было бы отрадно принять его от Вас коленопреклоненной, со всем благоговением, которое я питаю к Вам [79])»...

О чем только не рассуждали и не спорили на этих московских дружеских собраниях. Смысл и сущность исторического процесса, или религиозный смысл истории; Гегель и христианство; характер религиозного познания; сущность Церкви и проблема ее развития; православие, католичество и протестантизм; прошлое России и ее призвание; Россия, мир славянства и Запад; реформа Петра Великого; основные моменты истории Запада; церковные соборы; личность и общество; современная литература, своя и иностранная; современное состояние Западной Европы; духовное лицо России; и так далее — вот некоторые из тем этих горячих разговоров. Но было не только умственное движение, была и толчея вокруг движения, была и опасность от этих бесконечных разговоров, когда они велись уже больше по инерции, переходили в страсть к говорению, часто расслабляющую душу, отучавшую ее от напряженного, сосредоточенного умственного труда. Хомяков ясно ощущал эту опасность и боролся с ней в себе и других. С добродушной иронией отме-

чает он в своих письмах к друзьям эту черту московской умственной атмосферы:

«Наше московское житье-бытье идет по-старому, в сладкой и ненарушимой праздности, в отвлеченностях, в беседах довольно живых, вертящихся все около одних каких-нибудь предметов, которые идут на месяцы и года... Ежедневный отчет может быть легко заключен в следующей форме: Те же о том же. Ежедневное повторение одних и тех же бесед очень похоже на оперу в Италии: одна идет на целый год, и слушателям совсем не скучно... Мы называем такие беседы «движением мысли», но Языков уверяет, что это не движение, а просто моцион [80])». — «Москва... Точь в точь прежняя, с теми же речами, с теми же ухватками и только что несколько усиленными сплетнями [81])».

Суета и толчея, возникавшия иногда вокруг московского умственного движения, ясно выступает перед нами из чрезвычайно любопытных и характерных записей дневника Елизаветы Ивановны Поповой, давнего друга семьи Свербеевых, потом и Аксаковых и ряда представителей славянофильской молодежи, очень почтенной особы с добрейшим сердцем, полной горячей преданности своим друзьям, трогательного самозабвения и горячего патриотизма, при том искренно увлекающейся славянофильскими идеями, но несколько восторженно-суетливой. Ее дневник отражает московское умственное движение 40-ых годов в призме наивной хлопотливости пламенного и искреннего адепта. То она скачет к Степану Петровичу (Шевыреву), чтобы «благодарить его за изъявленное им гражданское мужество», то она едет выразить сочувствие Константину Аксакову (по поводу его патриотической диссертации):

«Оттуда поспешила я к Аксаковым в первый раз в дом, вечером, но сердце, полное любви к Отечеству, влекло меня, и все общественные приличия были забыты. Я не знала ни дома, ни улицы, однако нашла. Вошед в сени, на левой стороне увидела дверь и услышала в бывшей за ней комнате голос Константина Великого. Я взошла к матери его, которая обняла меня от всего сердца, потому что почувствовав, что меня привело сюда участие к ее сыну».

То пишет она письмо к «Петру Алексеевичу» (Киреевскому), начинающееся такими словами: «Почтенный и любезный брат мой, по святому чувству любви к Отечеству [82])». Все это немного комично, однако Елизавета Ивановна Попо-

ва была далеко не комическое лицо. Она была, как пишет о ней А. Д. Свербеев, человеком безмерной доброты, «деятельно помогавшей где только могла, совершенно о себе забывавшей, человеком не слов, а дела», И то, что ее так восхищало в этом московском умственном движении, крупнейшими представителями которого были московские славянофилы, было — как не преувеличены в способе своего выражения были ее наивные восторги — не словами, а истинным большим духовным делом.

Наряду с этим умственным общением. происходившем в духовно и умственно руководящих московских кругах, шла — как мы отчасти уже видели — оживленная жизнь и бесчисленных кружков студенческой молодежи. Счастьем было для этих студенческих кружков, если в центре их стояли такие личности, как молодой Станкевич, имевший в себе подлинную духовную жизнь, умевший жить сосредоточенной умственной жизнью и благотворно-педагогически своим собственным духовным закалом воздействовать на окружающих. Но далеко не всегда это так было. Наряду с юношеским восторженным увлечением общими идеями блага и справедливости, часто даже в тесной связи с этим увлечением, развивалось поверхностное, легко воспламеняющееся краснобайство, отвлекающее от сосредоточенной умственной работы, бесплодное в жизни, развивалась вредная, засасывающая, пустозвонная кружковщина. На этой почве рождался тот отвлеченный, иногда больше словесный идеализм, та горячечно-разговорная, словесно-восторженная атмосфера, что приучала к громким (иногда вполне искренним) фразам, но делала людей иногда на всю жизнь неспособными к к настоящему, плодотворному труду. Таким человеком разговоров, испорченным для настоящего дела, неспособным к творческой сосредоточенности, к упорному духовному и умственному усилию, является, например, Тургеневский Рудин (при всех искупающих чертах его личности). Но в то же время тот же самый скептически-трезвый Лежнев, который так безжалостно и отчасти справедливо развенчивает Рудина, с горячей любовью — как мы видели — вспоминает о молодом идеализме своих студенческих лет и о воспитательном значении кружка Покорского. За то так жестока (и, повидимому, тоже не лишена основания) критика кружков молодежи 40-х годов в устах «Гамлета Щигровского уезда»: «Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела;

кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души».

Мы знаем, какую потом роковую роль в истории русской и духовной и государственной жизни сыграли кружки русской радикально-революционной молодежи, тоже не лишенные идеализма, юношеского горения и искренней и своеобразной, хотя часто и уродливо воспринятой, любви к своему народу, но вместе с тем исполненные болезненной возбужденности и изуверства и самонадеянного духовного авантюризма, приводивших зачастую к полной моральной безответственности. Ибо здесь отвлеченность и схематичность мышления соединялась с проповедью таких идей и чувств, которые могли вдохновлять к борьбе, но на которых невозможно строить жизнь, ибо они отрицали глубочайшие духовные основы жизни.

2.

Не охватишь сразу взором всего огромного умственного и духовного кипения и цветения, вытекавшего из этих встреч, из этого живого, зажигающего и заряжающего обмена мыслей. Остановимся здесь на характеристике еще нескольких литературных салонов или дружеских собраний у писателей в период главным образом с 20-ых по 50-ые годы, характеристиках, сделанных устами современников, участников этих собраний. И для этих собраний и салонов центром являются личности, сами умственно и художественно одаренные или же горячо заинтересованные вопросами умственной и художественной жизни и, прежде всего, одаренные талантом к радушному и сердечному культурному общению.

«В Москве», пишет князь П. А. Вяземский, «дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли. Бывали в нем чтения, концерты диллетантами и любительницами, представления итальянских

опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавши ее, нельзя было забыть впечатления, которое производила она своим полным и звучным контр-альто и одушевленной игрой в роли Танкреда в опере Россини. Помнится и слышится еще, как она, в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела элегию его, положенную на музыку Геништою:

«Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман ...»

Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице его ... Нечего и говорить, что Мицкевич, с самого приезда в Москву, был усердным посетителем и в числе любимейших и почетных гостей в доме княгини Волконской. Он посвятил ей стихотворение, известное под именем «Греческая комната [83])» ... На ее вечерах бывали, кроме Пушкина и Мицкевича: Вяземский, поэт-партизан Денис Давыдов, известный путешественник по Востоку и религиозный писатель А. Н. Муравьев. и вообще тогдашняя московская даровитая молодежь, и, особенно часто, Дмитрий Веневитинов. Двадцатилетний Веневитинов был в нее влюблен и воспевал ее. Пушкин посылет ей своих «Цыган» с посвящением. Ярко изобразил Некрасов в «Русских женщинах» прощальный музыкальный вечер, данный горячо чувствующей и порывистой княгиней Зинаидой Волконской в честь уезжающей навсегда к мужу belle-soeur своей — жены декабриста Волконского.

В Петербурге одним из центров умственного оживления и местом интереснейших встреч и бесед был в течение долгих лет радушный и высоко-культурный салон Е. А. Карамзиной, вдовы историка. «Серьезный и радушный прием Екатерины Андреевны», пишет в своих записках А. Ф. Тютчева, дочь поэта, — «неизменно разливавшийся чай за большим самоваром, создавал атмосферу доброжелательства и гостеприимства, которой мы все дышали в большой красной гостиной. Но умной и вдохновенной руководительницей и душой этого гостеприимного салона была несомненно София Николаевна, дочь Карамзина от его первого брака с Елизаветой Ивановной Протасовой! .. Гости собирались каждый вечер. В будни бывало человек 8, 10, 15. По воскресеньям собрания бывали гораздо более многолюдные: собиралось

человек до 60. Обстановка приема была очень скромная и неизменно одна и та же. Гостиная освещалась яркой лампой, стоявшей на столе, и двумя стенными кэнкэтами на противоположных концах комнаты; угощение состояло из очень крепкого чая, с очень густыми сливками, и хлеба с очень свежим маслом, из которых София Николаевна умела делать необычайно тонкие тартинки и все гости находили, что ничего не могло быть вкуснее чая, сливок и тартинок Карамзинского салона [84]». «Находясь в этой милой и гостеприимной семье», пишет другой современник, — «я сразу очутился в самой интеллигентной среде Петербургского общества, в которой так свежа была память незабвенного Николая Михайловича и где по преданию собирались как прежние друзья покойного историографа, так и молодые поэты, литераторы и ученые нового поколения . . . Карамзины ежедневно принимали по вечерам, попросту, семейно, за чайным столом. Обычного посетителя Карамзиных я уже не застал в живых, а именно Пушкина, а также и Лермонтова, который покинул Петербург и перешел на службу на Кавказ; но я встречал у них в гостиной Жуковского, князя Вяземского, Дмитриева, Плетнева, графа Блудова, Тютчева, Соболевского, Хомякова, А. И. Тургенева, Валуева, графа Владимира Соллогуба, Ю. Самарина, а также интеллигентных лиц из иностранцев и дипломатов. Собственно говоря, Карамзинский дом был единственный в Петербурге, в гостиной которого собиралось общество не для светских пересудов и сплетен, а исключительно для беседы и обмена мыслей [85])». «В Карамзинской гостиной предметом разговоров были не философские предметы, но и не петербургские пустые сплетни и россказни. Литературы, русская и иностранные, важные события у нас и в Европе, особенно действия тогдашних великих людей Англии — Каннинга и Гускисона, составляли все чаще содержание наших оживленных бесед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, освежали и питали наши души и умы, что в тогдашней петербургской душной атмосфере было для нас особенно полезно. Хозяйка дома умела всегда направлять разговоры на предметы интересные [86])».

Еще более, может быть, оживленными богатым разнообразием гостей были вечера у благородного писателя-мыслителя и филантропа, князя В. Ф. Одоевского. «Я сблизился с ним», вспоминает о нем писатель граф В. А. Соллогуб, автор «Тарантаса», — «в 30-ых годах, когда он жил в Мош-

ковом переулке, где занимал флигель в доме его тестя С. С. Ланского. Квартира его была скромна, но уже украшалась замечательной библиотекой. В этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия сходился по субботам весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления, и всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко; все смотрели друг на друга приветливо, все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук; я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы — я всех их тут видел, наших незабвенных, братствующих поэтов и мыслителей... Все понимали, что хозяин не притворялся, что он их любит, что он их действительно любит во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы образованию, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался и в каком платье бы ни ходил. Это прямое обращение к человечности, а не к обстановке каждого, образовало ту притягательную силу к дому Одоевских, которая не обуславливается ни роскошными угощениями, ни красноречием лицемерного сочувствия [87])». Эти вечера у Одоевских в более ранний — еще молодой их период — и беседы на них, а также и прежние беседы московских любомудров нашли, как мы видели, свое отражение в «Русских ночах», этом интереснейшем памятнике русского духовного развития. В 1863 году Одоевский переехал в качестве директора Румянцевского музея в Москву. И здесь его гостеприимный дом вскоре сделался очагом умственного общения. «Кого не бывало у него. И молодые девицы, которым он читал «пятничные» лекции музыки, и его седовласые товарищи — сенаторы, и Тургенев с Фетом и Григоровичем, и славянофилы, и западники [88]».

Особую — своеобразную и вместе с тем благодарную роль сыграл в истории русской литературы салон живой и искренней, то блестящей и светской, то тоскующей в светской жизни, глубоко и тонко чувствующей А. О. Россет-Смирновой (1809-1882), этого верного друга Пушкина, Жуковского, Вяземского, Гоголя, с 1820 по 1833 годы фрейлины Высочайшего двора, но сохранившей и потом большое влияние при дворе. О ней Пушкин писал еще в 1832 году:

«В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Ты сохранила взор холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный,
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной, —
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело».

Одновременно Хомяков посвящает ей восторженное стихотворение, начинающееся словами:

«О дева-роза. Для чего
Мне грудь волнуешь ты? . . .»

«Милая из милых, умная из умных и прелестная из прелестных Александра Осиповна» — так называет ее Жуковский [89]). «В ней так много человечно-прекрасного, так много предупреждающего и столько душевной деликатности, что, право, о ней нельзя говорить так просто, как, например, о других», пишет Плетнев Пушкину. Уже гораздо позднее писал про нее С. Т. Аксаков: «С ней так легко, так свободно говорить, так уверен, что она все поймет, все оценит, что никакое слово, никакое истинное название предмета или чувства ее не остановят, не смутят, что говорить с ней можно как с самим собой, а это в высшей степени приятно».

Дружба с Плетневым и Жуковским свела ее (Россет-Смирнову) с Пушкиным», — читаем в некрологе, посвященном ей Иваном Аксаковым — «и скромная, фрейлинская келья на 4-ом этаже Зимнего дворца сделалась местом постоянного сборища всех знаменитостей тогдашнего литературного мира . . . Зная ее дружеские отношения с Пушкиным, Николай Павлович нередко через нее получал от Пушкина и передавал ему обратно рукописи его произведений . . . И, выйдя замуж, Александра Осиповна не прекратила сношений со своими друзьями; напротив, ее гостиная, или лучше сказать, она сама была долго и долго притягательным центром для всех выдающихся художников, писателей, мыслящих деятелей. Со многими из них она вела обширную переписку».

Особенно интересны и живы рассказы ее «Записок», ко-

торые печатались в 1893-1894 годах в журнале «Северный Вестник». (Есть и другие «Записки» Смирновой, не возбуждающие сомнений, дающие очень ценный материал, но менее яркие, напечатанные в 1895 году в «Русском Архиве» Бартенева и переизданные в 1929 году под редакцией Цявловского). Хотя подлинность этих «Записок» заподозрена, то есть был обнаружен ряд неточностей и литературную обработку или даже фиксацию их приходится, пожалуй, приписать дочери А. О. Смирновой, Ольге Николаевне, но материалом для этих записок, повидимому, послужили действительные рассказы и воспоминания Александры Осиповны. Живо встают перед нами интереснейшие интимные собрания, с участием величайших светил русского литературного мира, которые имели у нее место. Она — мы уже видели — умеет дружить с поэтами, ибо она привлекала их к себе не только своей ленивой грацией южанки, соединенной с живостью темперамента, но не в меньшей мере подкупающей свежестью, прямотой и честностью своего суждения и своих чувств, большим умом, исполненным очарования, художественным чутьем и отзывчивой добротой своего сердца. Великие русские писатели читают ей свои произведения, часто еще до появления их в печати. Она — и это особенно важно — посредница между русской литературой, русскими поэтами и императором, ходатайница за них, смягчающая для них свирепую цензуру. Так она непосредственно передает на прочтение императору, в обход цензуры, восьмую песнь «Евгения Онегина», содействует прохождению через цензуру первой части «Мертвых Душ», устраивает денежное пособие Гоголю. Все это засвидетельствовано и помимо этих «Записок», но вот несколько отрывков из них, так ярко передающих атмосферу этих вечеров у Смирновой:

«Я представила «хохла» (Гоголя) великому князю Михаилу; он был очень любезен и доволен вечером. Гоголь читал «Майскую ночь» . . . Говорили о Малороссии, о гетманах. У Пушкина были целые взрывы остроумия».

«Императрица спросила меня: будут ли у меня сегодня вечером поэты? Я ответила, что у меня назначено чтение на понедельник и что они придут после вечера у Ея Величества. Государь высказал желание придти . . . Он действительно пришел. Все мои гости были в сборе . . . «Сверчок» (Пушкин) был очень в духе; «Асмодей» (Вяземский) — весел, добрый Жуковский — счастлив, Вьельгорский болтал for a wonder. Великий князь был забавен. Государь говорил о ста-

рых слугах и о стихах, где Пушкин упоминает о своей бабушке и старой няне. Государь попросил Пушкина прочесть их. Он прочел и, разумеется, очень плохо, по своей привычке в галоп».

«Гоголь приходил читать «Миргород». Над Пульхерией Ивановной плакали. Потом Сверчок смеялся... Он рассказывал нам о Кишиневе, о цыганском таборе, об Одессе и о своих милых восторженных соседках-псковитянках. Жуковский спросил его, за сколькими провинциальными барышнями он там ухаживал. Сверчок прочел нам очаровательные стихи, написанные для м-м Керн; он хочет, чтобы Глинка, положил их на музыку. Гоголь сказал Плетневу, что думал о своей матери, когда описывал Пульхерию Ивановну. Жуковский рассказывал нам о детстве и о своих путешествиях».

«...У меня был вечер: весь мой кружок и Великий Князь. Гоголь прочел нам оригинальную малороссийскую повесть «Сорочинская ярмарка». Пушкин читал стихи, но так дурно, что я попросила дать их прочесть Плетневу. Стихи к Филарету очень хороши, а «Поэт» очаровал меня. Мы были совсем растроганы, когда Плетнев перечел их. Жуковский принес поэму Языкова, посвященную Т. Д. Кажется, молодой человек очень часто бывает в Москве в обществе цыган. Пушкин рассказывает нам про свои поездки в табор с Нащокиным и Языковым [90])».

Здесь же Гоголь читал «Тараса Бульбу» и «Ревизора» в рукописи. «Ревизор», повидимому, обязан Смирновой спасением от запрещения его цензурой: она заставила императора Николая расхохотаться, прочтя ему знаменитый монолог Хлестакова («30 000 курьеров!»), и «Ревизор» был спасен [91]).

Конечно ,литературные салоны и собрания были во всех странах, но они особенно, может быть, соответствовали — независимо еще от того ,что в Николаевскую эпоху, за неимением гласности, они были почти единственной средой более свободного движения и выражения мысли, — духу русской умственной общительности, русскому таланту к общению [92]).

3.

Перейдем к уже более близкому нам по времени периоду. В 80-ых годах одним из средоточий духовной жизни Москвы, одним из центров живейшего культурного общения, где — как в свое время в доме Волконской, Елагиных, Веневитиновых, Хомяковых, Киреевских, Баратынских и Свер-

беевых и ряде других домов 20-ых, 30-ых, 40-ых, и 50-ых годов — усиленная умственная жизнь протекала на фоне радушного гостеприимства, — одним из таких умственных центров и вместе с тем радушно-уютных, семейных гнезд был дом Лопатиных в Гагаринском переулке. Тепло и восторженно пишет о нем князь Е. Н. Трубецкой в своих «Воспоминаниях [93]».

«В Москве в то время не было дома, который бы столь ярко олицетворял духовную атмосферу московского культурного общества, как дом Лопатиных. Старик Лопатин — Михаил Николаевич — отец философа, устраивал с осени до весны по средам еженедельные вечера с ужином, где собирались и засиживались до 2-3 часов утра наиболее интересные из представителей умственной жизни Москвы. Сам Михаил Николаевич — видный судебный деятель эпохи великих реформ, — товарищ председателя Судебной Палаты, собирал в своем доме прежде всего товарищей по службе. Все, что было выдающегося в московском судебном мире, бывало по средам у него. У него можно было встретить далее выдающихся профессоров Московского университета — В. И. Герье, Василия Осиповича Ключевского, М. С. Карелина, литераторов, в особенности из «Русской Мысли», — В. А. Гольцева и старика Юрьева. Благодаря Льву Михайловичу по тем же средам собирались все московские философы различных метафизических направлений: В. С. Соловьев, Н. Я. Грот, по переселении последнего в Москву, Н. А. Иванцов, мой брат Сергей. Из звезд педагогического мира бывал известный Л. И. Поливанов, в гимназии коего все Лопатины кончили курс, а Лев Михайлович, будучи уже профессором, преподавал историю. Кроме того, благодаря незаурядным драматическим талантам Льва и в особенности Владимира Михайловича Лопатина, по средам у Лопатиных можно было иногда встретить и представителей московского драматического мира.

В течение всей моей жизни я не помню в Москве кружка, столь богатого умственными силами. А при этом благодаря удивительной простоте, радушию и истинно московскому хлебосольству хозяев, дом Лопатиных был одним из самых приятных в Москве. Центром «умных разговоров» был крошечный, облицованный белым мрамором кабинет «ампир» Михаила Николаевича, всегда переполненный до последних пределов вместимости и покрытый густыми облаками табачного дыма. Там иногда, при общем хохоте, Соловьев декламировал какое-нибудь свое юмористическое стихотворение, ораторствовал Ключевский или Поливанов смаковал последнюю новинку, только что вышедшую из под пера Льва Толстого; помню, как он яростно защищал против меня «Власть Тьмы» последнего, не признавал в ней

даже мелких недостатков. Когда в кабинете раздавался хохот, крикливые верхние ноты и взвизгиванья Соловьева покрывали все голоса. А иногда в отсутствии Соловьева, читалось только что присланная из Петербурга рукопись какой-нибудь его новой статьи для журнала «Вопросы философии и психологии». Иногда, когда собрание было особенно многолюдно, оно делилось на две, а то и на три части. Дамы и барышни, подруги Екатерины Михайловны Лопатиной, собирались в гостиной с серыми мраморными колоннами, где председательствовала старушка Екатерина Львовна Лопатина. Наконец, философы устраивали еще третье отдельное заседание наверху в мезонине, в крошечной комнате Льва Михайловича, где я свободно мог коснуться пальцем потолка. Это случалось редко, когда нужно было устроить какое-нибудь философское «а парте». Так например, в этой комнате мы уединились втроем с Соловьевым и Лопатиным при первом моем знакомстве с Соловьевым, когда нужно было выговориться до дна по основным философским и религиозным вопросам. Потом, по окончании всех «а парте», все общество соединялось за ужином в столовой, где за стаканом красного вина разговор затягивался до утра. Эта последняя часть вечера бывала обыкновенно менее серьезна. Ужин становился особенно оживлен и весел, когда бывал в ударе В. О. Ключевский или Соловьев. Иногда вечер кончался страшными рассказами Льва Михайловича Лопатина, на которые он был великий мастер».

Одной из центральных личностей в духовной жизни тогдашней Москвы 90-ых и начала 900-ых годов, личностью, вдохновлявшей умственное общение и имевшей огромное влияние на молодежь, был философ князь Сергей Николаевич Трубецкой, брат князя Евгения Николаевича. Вместе с Н. Я. Гротом он был душой основанного Гротом, знаменитого в летописях московской умственной жизни, «Психилогического общества», одного из главных средоточий (особенно пока он и Грот были живы) философских и вообще научно-«миросозерцательных» интересов тогдашней Москвы. Им самим было основано для студентов-философов и филологов «Филологическое общество», где происходило оживленное умственное общение между ним и молодежью. Но более того: Сергей Николаевич Трубецкой действовал — можно сказать — *духовно-зажигательно,* будя в своих слушателях и собеседниках *духовное начало.* Приведу отрывок из воспоминаний его сестры, княжны Ольги Николаевны: «Помнится, как однажды В. О. Ключевский, обедавший у нас, полушутя-полусерьезно обратился к супруге Сергея Николаевича, княгине Прасковье Владимировне: «Я хочу

пожаловаться на Вашего мужа... Он не рассказывает Вам, что он делает на женских курсах?» — «Нет! А что?» — «Да *так* нельзя обращаться с молодыми барышнями... И Вы, Сергей Николаевич, пожалуйста, примите *серьезно* это к сведению. У меня есть курсистка, родственница, она у меня живет, — я за нее отвечаю... Так вот намедни она вернулась домой, — я думал — разбаливается... Надела платок, — а сама вся дрожит, как в лихоралке. — *Поймите!* От внутреннего озноба дрожит! — Вы ее потрясли совсем, *до основания* потрясли... В ней целый переворот какой-то совершается. Не знаю, что мне с ней делать. — Вы серьезно не знаете, что Вы творите, — *так* нельзя...» Брат, смущенный и красный, молча улыбался, вертя свою тарелку... [93а]).

И здесь ярко вспыхивают воспоминания моей собственной юности — картины усиленного умственного обмена в Москве, в период между японской войной и Великой войной 1914 года. Какое это было время усиленного культурного цветения, усиленного обмена мыслей, духовной борьбы за основы миросозерцания, плодотворного умственного напряжения и горения. Как передавались эти искры умственного интереса, умственного искания от одного к другому и будили отклик. Это было время все большей эмансипации широких русских образованных кругов и русской молодежи от деспотически-безрадостного гнета революционного материализма, убивающего жизнь, и начинающееся возвращение к идеалистически-религиозному пониманию мира, к признанию высшего смысла жизни. Происходило это под знаком духовной борьбы, молодого жизнерадостного задора, ибо твердыни революционного материализма еще упорно держались в многочисленных кругах русской интеллигенции, но они производили впечатление уже внутренно отживших, скучных и дряблых. Духовно-наступательная сила принадлежала новому молодому движению. Оно имело своих руководителей. В университете борьба за право духа была связана с именем трагически скончавшегося в 1905 году князя С. Н. Трубецкого: студенческое «Общество памяти кн. С. Н. Трубецкого», основанное в 1907 году, было одним из духовных центров этой борьбы.

За пределами университета в Москве сосредоточием сил, участвовавших в этом сдвиге, было «Общество памяти Владимира Соловьева». Помню, с каким замирающим волнением шел я 19-ти и 20-тилетним мальчиком на его публичные собрания, происходившие сначала в здании польской библиоте-

ки на Мясницкой. Председательствовал С. Н. Булгаков, один из первых бойцов тогда за права религиозного начала в жизни, человек большой широты взгляда и убежденный христианин, бывший марксист, поэтому с особым, остро-повышенным интересом к социальным проблемам и к их освящению, осмыслению и к попыткам их практического разрешения, исходя от религиозного вдохновляющего начала. Помню чувство ширины кругозора — Запад и Восток, литература, философия и религия — которое охватывало на этих собраниях «Общества в память Владимира Соловьева». Чувствовалась арена, на которой произойдет духовная битва, схватка между сторонниками духа и религиозного смысла жизни и отрицателями его, а ничего так не волнует и не захватывает молодежь, как это чувство «арены», особенно же когда вдруг почувствуешь внутреннее принуждение — в душе робея и смущаясь — самому выступить, если видишь, что то, что считаешь истиной и перед чем преклоняешься, подвергается несправедливым нападкам или искажается и уродуется и не находит защиты. Конечно, приятнее молодому, затаив дыхание, слушать, как другой, более компетентный и зрелый, такой, у которого можно учиться, выступает на защиту Истины. Но председатель С. Н. Булгаков мудро давал простор прениям и мнениям самых различных и противоположных направлений и оттенков и лишь к концу высказывал свою собственную точку зрения. И помню, как я, еще 19-тилетний, решился в первый раз выступить с прениями на таком публичном собрании Соловьевского общества против того, что я считал неестественной, сектантской по духу, преувеличенной и истерической духовной «закидкой». Дело шло о реферате молодого философа и литератора, члена Общества, Свенцицкого, посвященном «Бранду» Ибсена. Впервые в этом реферате Свенцицкого встретился я лицом к лицу с той нездоровой истерией, которая нередко тогда примешивалась к борьбе за права духа и религиозного начала и, к сожалению, довольно сильно проявлялась как раз в «Обществе памяти Соловьева». Но все же как развивающе действовало это умственное горение и движение, окружавшее со всех сторон. Еще более развивающе, когда это происходило в более тесном, замкнутом кругу, где молодые присутствовали при научных поединках старших, так например, в знаменитом «Психологическом обществе» при Московском университете, где председательствовал Лев Михайлович Лопатин. Тут были представлены самые различные направления и от-

тенки философских мнений, начиная от позитивистических (например, в лице знаменитого этнографа, профессора Анучина) и кончая христианским спиритуализмом. Но особенно запомнились мне собрания «Кружка ищущих духовного просвещения» в особняке доктора Корнилова на Нижней Кисловке. В небольшой зале вечером приблизительно раз в две недели собиралось человек 60-70, из них 15-20 члены кружка, а остальные слушатели, публика: дамы, молодежь. Членами кружка был ряд замечательных лиц и по своему образованию и по своему моральному диапазону. В первую очередь Владимир Александрович Кожевников, — пожалуй, главный умственный и духовный центр кружка — мыслитель и крупнейший ученый, особенно в области истории религий, истории культуры, эстетических, социальных и мистико-аскетических учений. Он был знаток древней Индии, в частности буддизма, эпохи Эллинизма и религиозных течений в греко-римском мире, культуры и религиозности Средних Веков, культурной и эстетической истории итальянского Возрождения, философии 18-го века, главным образом пробуждающегося протеста против сухого рационализма — в лице Якоби, Гаманна и Гердера, знаток раннего христианства, отцов Церкви и православных аскетов и мистиков и вместе с тем французской, немецкой и итальянской литературы (т. е. преимущественно лирической поэзии), знаток пессимистической философии Запада и социальных течений 19-го века, в частности истории марксизма, но также и основных проблем биологии и физики, при чем все эти вопросы и проблемы группировались для него вокруг основной темы: Бога и творения, трагедии красоты и смерти в творении, ужаса перед смертью и искупления и *восстановления твари*, всей природы, всего мира, и победы над смертью воплощенного Слова Божия, Которое стало плотью и восстало из мертвых.

Наряду с Кожевниковым, участвовали в кружке опять С. Н. Булгаков, Ф. Д. Самарин (старший из братьев Самариных, с окладистой черной бородой, большой знаток раннего христианства и вообще вопросов устройства и жизни Церкви), философ князь Евгений Николаевич Трубецкой, бывший толстовец М. А. Новоселов, два доктора-бессеребренника, люди огромной доброты и благотворения: доктор Корнилов (хозяин особняка) и старичок доктор гомеопат Трифановский с веерообразной седой бородой и ясными и чистыми детскими глазами; граф Константин Аполлинариевич Хрептович-

Бутенев, человек высокой культуры, гуманности и терпимости в своих взглядах, большой доброты сердечной и рыцарского благородства духа; архимандрит Феодор (позднее епископ и ректор Московской Духовной Академии), священник о. Фудель, граф Дмитрий Адамович Олсуфьев (член Государственного Совета по выборам), Павел Борисович Мансуров (директор Архива Министерства Иностранных Дел, знаток истории Восточных Церквей и вообще вопросов Ближнего Востока, человек умилительно чистой и прекрасной души), профессор Московской Духовной Академии Кузнецов, известный в Москве доктор медицины Мамонов, и другие. Здесь было глубокое основное единство взглядов: это были все верующие и вместе с тем мыслящие христиане, люди, раскрытые для всего благородного и духовно-значительного, люди с повышенной умственной жизнью. Как поучительно и интересно было для молодых слушать оживленный обмен мнений, возникавший после докладов. Особенно значительны были доклады Кожевникова о «Буддизме и христианстве» (целая серия), его же доклад «Исповедь атеиста», посвященный глубоко-интересной книге известного физика Ле-Дантека, его доклады об Игнатии Богоносце, о «социализме и христианстве». Царила атмосфера собранности и умственного напряжения, душа освежалась и как-бы пришпоривалась, набиралась сил и желания служить истине. Среди молодежи, бывавшей на этих собраниях, помню Сергея Павловича (Сережу) Мансурова, тогда кончающего гимназиста и студента-первокурсника, человека изумительной, горящей души (умершего потом в большевистской тюрьме в сане священника, как мученик за веру).

А в эмиграции, например, интереснейшие собрания — на примитивных беженских началах и все же в атмосфере радушия — у Н. А. Бердяева еще в Берлине в 1922-23 гг. Тут были, кроме хозяина, и философ С. Л. Франк, и ревностный пропагандист католичества, Кузьмин-Караваев, и Иван Александрович Ильин, и молодежь различных оттенков и мнений, и прения шли на темы и церковные, и интерконфессиональные, и философские, и культурно-исторические, и общественно-политические. Особенно же уютна и привлекательна была атмосфера собраний — на темы церковно-философские и общественно-исторические — в радушном и патриархальном доме князя Григория Николаевича Трубецкого в Кламаре под Парижем в 1924-25 и последующие годы. Здесь бывали и парижские русские «религиозные филосо-

фы» и богословы: Булгаков, Бердяев, А. В. Карташов, В. В. Зеньковский, Вышеславцев и знаток иконы В. П. Рябушинский и Н. Н. Львов, и П, Б. Струве, и ряд других национально-мыслящих политических деятелей разных оттенков, но объединенных любовью к России, к ее духовному лицу, к ее народным традициям, равно как и сознанием ответственности перед ней и борьбой против большевизма, от бывших видных дипломатов Императорской России до членов редакции «Современых Записок». И здесь объединяющим центром была — как мы уже раз указывали — личность самого хозяина, кристально-благородная и открытая для всего доброго, горящая благостным радушием и вместе с тем глубоко укорененная в подлинных духовных глубинах, в мире религиозных и нравственных ценностей.

Традиция усиленного умственного и духовного общения, по существу столь плодотворная, (при всех крайностях и искаженных уродливых формах, в которые она нередко выливалась), была и, повидимому, останется неотъемлемой чертой русской духовной культуры и русской духовной традиции.

4.

Всей русской эмиграции в Праге были хорошо известны уютные четверговые собрания за чашкой чая у отечески доброго епископа Сергия. В сравнительно небольшой комнате, в которой епископ спит, внедрены два больших, под углом стоящих стола. Вокруг этих столов сидит одновременно человек 20-25 гостей; одни приходят, другие уходят; за день перебывает человек 200. Всякий с радостью идет к епископу, для каждого у него есть привет. В бедной беженской обстановке такое радушие: на всех хватает чаю и варенья и еще чего-нибудь к чаю (так например, всех угощал он в изобилии чудным куличом в разгар войны, на Пасхе 1943 года), а прежде всего всякий чувствует себя здесь как дома, и самый одинокий, заброшенный беженец здесь не одинок. Здесь встречались и старые и малые, профессора и студенты, инженеры и писатели, матери семейств и гимназисты, русские эмигранты, постоянно жившие в Праге, и проезжие. Но самое ценное и важное здесь, дающее закваску всему и создающее эту атмосферу непринужденного радушия, это — центральная личность епископа, которая около 25-лет объединяла вокруг себя духовно русскую Прагу. У епископа был

не только высокий дар любвеобильного и радостно-подбадривающего, сострадательного и заботливого и отечески-уютного общения с людьми. У него была своя — религиозно-укорененная — *философия общения*. Исходя из свободно излучающейся, вдохновенной стихии любви — евангельской любви к людям, он пишет о «подвиге общения» и сам осуществлял этот свободный и радостный подвиг. Его мысли для нас интересны во-первых потому, что они *вытекают из жизни*, будучи лишь формулировкой того, что является духовным содержанием богатого подлинного опыта духовного, и во-вторых, они глубоко характерны. Это не только личные мысли епископа Сергия, это — мысли Церкви: так Церковь — истинно понятая Церковь, которая есть место молитвенного и братского общения и служения друг другу больших и малых, слабых и сильных, — думает о себе, и о каждом из членов своих. Этот «подвиг общения» вытекает из того вдохновенного *зрения любви*, которое видит духовную ценность, внутреннее, сокрытое духовное лицо, духовное богатство каждого члена, каждого человека, каждого из «малых сих». «В одиночестве» — пишет епископ Сергий — «человек становится почти всегда беден. Чем больше он будет отдаляться от людей, тем более он будет сам беднеть. Живя в одиночку, мы как бы отрезаем себя от общей жизни, от жизни целого организма и в этой самости засыхаем, так как не питаемся тогда соками общей жизни. Через общение же с людьми происходит извлечение нераскрытых сил человека; через соприкосновение сродных начал силы эти приходят в движение. Общение с людьми обогащает таким образом нашу душу, она расцветает через полноту нашего сближения с другими людьми. Каждый человек ведь индивидуален, но каждый человек может восполнить в себе недостающее через общение с целым организмом человечества. Люди — цветы Божии; надо, как пчела, уметь собирать мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и свою индивидуальность раскрывать для других . . . Если быть внимательным к окружающим нас людям, то непременно унесешь богатство, отыщешь ценности — свет и добро. В каждом человеке есть прекрасное, и только наша греховность не позволяет нам видеть это . . . Общительность есть дарование Божие, а из необщительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудости — есть подвиг. *Единение между людьми есть нить, переброшенная от земли к небу, к Богу, к Единящему Центру*. Единство, исходящее

от сердца одного к сердцу другого, имеет в себе направление к единому центру — к Богу, ибо единение между людьми и есть жизнь, разделение же есть смерть... Это есть *закон жизни,* отступая от которого люди должны страдать неминуемо. Мы все созданы по образу Божьему, — и это значит, что *образ Божий и есть то, что нас объединит* ... В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут часто, но не душевные, а надо искать душевный клад. Могут спросить: «Зачем?» — Ответим: чтобы обогатиться ...»

Заключает свои мысли (изданные в 1938 году маленькой брошюрой под заглавием: «О подвиге общения». Мысли из бесед епископа Сергия. Прага) епископ Сергий следующими словами: «Надо уметь освещать наши взаимоотношения светом Христовой истины, чтобы они приносили нам благо. Отыскивая общее нам Божеское, мы становимся соработниками Божьими на земле. Работая Господу, мы как бы преображаемся, входим в область бытия света, и в нашей преображенности отображается свет и слава Божья, и сам Господь утверждается в нас: «Идеже бо есте два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их» (Мат., 18, 20). [93б]).

Я оттого так подробно привел эти слова епископа Сергия, что в них естественный дар общения, который такую большую роль сыграл, например, в истории русской умственной культуры, получает свое религиозное обоснование и просветление. Это то, что составляло вдохновляющий импульс и всего религиозного мышления и всей жизни Хомякова с его учением о «соборности». И здесь, на этой просветленной, высшей плоскости — этот высший дар становится вместе с тем и подлинно, в глубоком смысле, народным, ибо общение в Церкви, объединяя всех: великого и малого, ученого и неученого, старого и молодого в одном организме, в одной великой жизни — было вместе с тем и истинно народным общением. Недаром самым, «народным» в жизни русского народа был праздник Пасхи, Светлое Воскресенье, с этим всеохватывающим и радостным порывом торжествующей и победной любви: «Радостью друг друга обымем. Рцем: братия, и ненавидящим нас простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых ... »

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ТВОРЧЕСКОЙ ТИШИ

«Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродячей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновенью.»

— эти слова 20-летнего Пушкина, обращенные им к своему «доброму домовому» чрезвычайно типичны: они указывают на основной питающий фон русской душевной и художественной культуры — тишину и простор деревни. Ибо эта «бродячая лень» поэта была плодотворна, была насыщена творчеством. Можно смело решиться сказать: почти все лучшее в русском культурном и духовном достоянии так или иначе связано с молчаливо-сосредоточенной жизнью русских полей, лесов и рек. Повторяю, это — *один из самых основоположных* элементов нашей духовной и творческой традиции; игнорируя его, не поймешь его основного потока. Отшельников поселявшихся в лесах, или над просторами северных озер и северных рек и основанных ими лесных скитов или монастырей до творчества Л. Н. Толстого и стихов Пушкина и деревенского уединения Хомякова, Петра и Ивана Киреевских — какой это существенный, неотъемлемый элемент, какая это отличительная черта в нашем духовном облике, эта связанность с уходящими вглубь просторами, с их молчаливой и вместе с тем повышенно-интенсивной жизнью. Здесь мы находим и необходимый противовес русскому влечению, русской одаренности к умственному общению, к тому, что мы назвали элементом «соборности», со всеми его достоинствами и опасностями, противовес к этой общительности, которая так часто могла превращаться в пустую болтовню и толчение воды — когда не находила восполняющего необходимого полюса в творческом, активном сосредоточении духовном, *в творческой тишине.*

Естественным хранилищем и источником этой творческой тишины и была как раз, наряду с лесными отшельниче-

ствами, скитами и монастырями, русская деревенская жизнь и в частности русская усадьба, последняя часто как «культурный скит», живущий напряженно-творчески на фоне природы. Только из этих фонов можно понять, например, ряд величайших русских писателей: Льва Толстого (но и Алексея Толстого), Тургенева, Тютчева, Фета, — в значительной степени и Пушкина (из новейших писателей Бунина). У каждого из них есть свой характер «захваченности» этими просторами, этой тишиной, каждый из них по своему пустил корни в эту жизнь русской деревни.

Лев Толстой — как он сросся с деревней, как он вырос в ней и из нее, как он питается ею. И какое особое чувство, я сказал-бы — юношеской, «утренней», и вместе с тем огромной и острой захваченности, переполняет его произведения. Как остро ощущаются здесь запах земли и это волнующее чувство *насыщенности жизнью*, напряженного избытка жизни. И как это вместе с тем просто и реально, потрясающе в своем жизненном и превозмогающем реализме. Характерна для него, например, эта сцена вечером, в конце мая, в усадьбе на балконе, спускающемся в сад. Каоке-то новое, глубинно-реальное и превозмогающее чувство жизни раскрывается в этих замирающих вечерних звуках, в этих неожиданно набегающих ароматных струях воздуха и в этой строго-отчетливой «резкой» и «напряженной», ночной уже трели соловьев, доносящейся к нам из глубины какой-то иной, зачарованной действительности.

«Мы оба затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, и другой снизу от оврага в первый раз нынешний вечер издалека откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушивался на минуту, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатой звонкой трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем, чуждом для нас ночном мире. Садовник прошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и все опять затихло. Чуть слышно заколебался лист, полохнулось полотно террасы и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней» . . .

И такая же яркая — и вместе с тем сказочная — отчетливость, захватывающая дух своей сказочностью, отчетливость и определенность в этой лунной августовской ночи с

резко-очерченными тенями на сияющих лунным светом мелких камнях дорожки. Как реально, как подробно до мелочей и как волшебно-невероятно! Ибо эта ночь и сказочно-невероятна и превозмогающе-реальна в своем великолепии.

Полный месяц стоял над домом за нами, так что его не видно было, и половина тени крыши, столбов и полотна террасы наискось лежала на песчаной дорожке и газонном круге. Остальное все было светло и облито серебром росы и месячного света. Широкая цветочная дорожка, по которой с одного края косо ложились тени георгин и подпорок, вся светлая и холодная, блестя неровным щебнем, уходила в туман и в даль. В аллеях тень и свет сливались так, что аллеи казались не деревьями и дорожками, а прозрачными, колыхающимися и дрожащими домами».

«Когда я смотрела вперед, по аллее, по которой мы шли, мне все казалось, что тут дальше нельзя было идти, что там кончился мир возможного, что это навсегда должно быть заковано в своей красоте. Но мы подвигались, и волшебная стена красоты раздвигалась, впускала нас, и там тоже, казалось, был наш знакомый сад, деревья дорожки, сухие листья ... Но с каждым шагом сзади нас и спереди снова замыкалась волшебная стена, и я переставала верить в то, что еще можно идти дальше, переставала верить во все, что было ...»

Эта насыщенность красотой, это опьянение красотой здесь на лоне деревни так характерны для всего творческого процесса Толстого, особенно в первую половину его жизни и творчества. Вспомним письма 30-тилетнего Толстого весной 1858 года из Ясной Поляны к его двоюродной тете и другу, графине Александре Андреевне Толстой. Еще апрель, надежда и ожидания разлиты повсюду.

«Бабушка! Весна! ... Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем — надежда, будущность и прелестная будущность ... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность и счастье, а тебя тоже, и хорошо бывает ... Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я — старая, промерзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я — растение, которое распустилось вот только теперь, вместе с другими, и станет спокойно, просто и радостно расти на свете Божьем ... Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной.»

А вот письмо уже от 1-го мая:

«Пришла весна; как не вертелась, а пришла. Воочию чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук — вдруг в листьях. Бог знает откуда-то снизу, из-под земли лезут зеленые штуки — желтые, синие. Какие-то животные, как угорелые, из куста в куст летают и зачем-то свистят изо всех сил и как отлично. Даже в эту минуту под самым окном два соловья валяют. Я делаю с ними опыты, и можете себе представить, что мне удается призывать их под окно сикстами на фортепьяно. Я нечаянно открыл это. На днях я по своему обычаю тапотировал сонаты Гайдна, и там сиксты. Вдруг слышу на дворе и в тетинькиной комнате (у нее канарейка) свист, писк, трели под мои сиксты. Я перестал, и они перестали. Я начал, и они начали (два соловья и канарейка). Я часа три провел за этим занятием, а балкон открыт, ночь теплая; лягушки свое дело делают, караульщик свое — отлично! Уж Вы меня простите, ежели письмо это будет диковато. Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю Вам того-же от души. Бывают минуты счастья сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья:

«И ринься бодрый, самовластный,
В сей животворный океан», —

Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки».

А Фету-Шеншину пишет он той же весной 1858 года, несколько позднее: «Какой Троицын день был вчера! Какая обедня с вянущей черемухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом, и горячее солнце!»

От творчества Тургенева так веет природой средне-черноземной полосы — природой Орловской губернии. Какая здесь непосредственная простота (и какое изящество в этой простоте!) и какое вместе с тем утонченное — словно тончайшая резьба — воспроизведение всех нюансов, оттенков природной жизни. Как насыщены светлостью тихого июльского дня эти сменяющие друг друга, полные богатства разнообразнейших оттенков картины восхода солнца и его пути по ясному небу в начале «Бежина Луга»:

«С самого раннего утра небо было ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце ... мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка за-

сверкает змейками; блеск их подобен блеску кованного серебра... Но вот, опять хлынули лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно-разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места...»

Как интенсивно во всех ее подробностях передана, например, эта насыщенная летним зноем, сосредоточенная жизнь лесных «ссечек» (заросли на месте недавней порубки):

«...Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороха, золотые чашечки куриной слепоты, на половину лиловые, на половину желтые цветы Ивана-да-Марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной, мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, — другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал...»

И как сумел Тургенев закрепить эту *тишину* деревни, эту со всех сторон прямо физически охватывающую *стихию* тишины, где отдельные звуки так отчетливо выделяются, как бы стоймя стоят на фоне этой всепоглощающей стихии, и все страсти и волнения отходят. Это испытал на себе Лаврецкий.

«Вот когда я попал на дно реки», сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голосоком; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит; сквозь дружное, назойливо-жалобное жужание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту; простучала телега; на деревне скрипят ворота. «Что?» задребезжал вдруг бабий голос. «Эх ты, мой сударик», говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси», повторяет тот же бабий голос, — и вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки не-

сутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного полета. «Вот когда я на дне реки», думает он. «И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь», думает он. ... И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там дальше, в полях, лоснится рожь и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле... И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, — и в тоже время как будто беспрестанно ожидая чего-то: тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному небу, и облака тихо плывут по нему; кажется они знают, куда и зачем они плывут... И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе как весенний снег, — и странное дело! — никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины.»

У Тютчева его восприятие природы, особенно русской деревенской природы, непроизвольно и естественно *мифологично:* чувствуются какие-то живые, борющиеся, творческие, часто гневные, жуткие силы, слитые с этим природным процессом, скрытые за ними. Темные пространства полей, душной июньской ночью, небо загромождено тучами, и вспыхивающие зарницы:

«Словно тяжкие ресницы
Разверзалися порой,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землей», *(1851 г.)*

«Зарницы огневые», это — «демоны глухонемые», которые «ведут беседу меж собой» (1865г.). «Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста» (1830 г.).

«О чем ты веешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный? ..
. . . .
О, страшных песен сих не пой,
Про древний хаос, про родимый ...» *(Ок. 1835 г.).*

В «светлости осенних вечеров» Тютчев видит что то схожее со страданиями разумного существа:

«Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья...» *(1830)*

Но как радостно, как животрепещуще-бурно и ликующе настроение умытой первым грозовым дождем пробудившейся жизни:

«С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам...» *и т. д.*

«Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила». (Ок. 1830 г.)

Ибо тот же Тютчев умеет изображать радостную заряженность свежим кипением жизни, сам будучи захваченным ее бодрящим потоком:

«...Ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!» *(Ок. 1840).*

И у стареющего уже поэта какая захваченность:

«Какое лето, что за лето,
Да это просто колдовство...» *(1854 г.)*

Простота и непринужденность, и вместе с тем как торжественна бывает иногда эта простота! Как прозрачно-ясен его стих, как сжато-целомудрен его способ выражения, подобный в этом пушкинскому, и какая сила и выразительность в его краткости (тоже как у Пушкина)! Вспыхивают перед нами целые картины, целые видения в прозрачном жемчуге его кратких стихов.

Одним из особенно характерных мотивов поэзии природы Тютчева, наряду с изображением страшных сил хаоса, бродящих в глубинах природы — это зачарованная тишина. Взволнованно-сдержанной и глубоко наполненной красотой

его музе, знающей волнение буйных сил, знающей хаос и страшащейся его, именно, может быть, поэтому удается закрепление *торжествующего мира* природы — в ряде лучших его стихотворений:

«Гроза прошла. Еще курясь лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.

А уж давно звучнее и полней
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася...» *(1833 г.).*

Это типично по-тютчевски воспринято и выражено. Еще сильнее, еще более зачаровывает это чувство мира, могучей и торжественной тишины в этом высшем, может быть, шедевре из стихотворений Тютчева:

«Тихой ночью, поздним летом
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющия зреют...
Усыпительно безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистыя их волны,
Убеленныя луной...» *(1849 г.).*

Какая полнота спокойствия и в этом знаменитом стихотворении: «Есть в осени первоначальной...»

«...И льется тихая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...»

Это одно из самых кристально-прозрачных и умиренно-сияющих — подобно прозрачности самой этой тихой и светлой ранней осенней поры — стихотворений русской литературы.

Пушкин. Мы знаем, что здесь, в деревне, в селе Михайловском, родились эти новые по тону для русской поэзии, как бы кованные в своей сжатой выразительности и мужественности, стихи, навеянные на поэта столь любимыми им картинами осенней природы:

«Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто по неволе,
И скроется за край окружных гор...» *(1825 г.).*

И как срослась с этих пор его поэзия с деревенской природой, с ее стихией, например, с этими «мутными» белыми просторами ее зимних степей ночью!

Для Бунина характерно изображение упадка или грусти, тоски человеческого существования на фоне ликующей природы, он — яркий изобразитель именно этой затаенной грусти, упадка и отмирания старой красоты и прежней культуры, старого быта среди обновляющейся природной жизни. И вместе с тем как бывает он всецело и стихийно захвачен преизбыточествующей красотой жизни полей и лугов или старого парка, яблочного сада в русской усадьбе. Весь подъем, все глубочайшее, решающее вдохновение его творчества вылилось в этих немногих стихах, как бы залитых полуденным зноем и воздухом полей:

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет: Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не сумею ответить,
К милосердным коленам припав.» *(1918 г.).*

Для Фета сад и парк вокруг дома, красота и мир усадебной жизни, но и поля и лес тесно связаны и переплетены с жизнью его сердца. В нем много романтики, он менее отчетливо, кристально ясен, чем Тютчев, в нем присутствует часто романтическая мечтательность, порыв настроения. У Тютчева это — крепко отстоявшееся вино поэтического творчества, текущее полновесно капля за каплей, насыщенно и вдохновенно и прозрачно-глубоко, у Фета — кипение и искры. Но как дышет, например, истома раннего летнего или горячего весеннего дня в залитом солнцем саду и на воле в этом, одном из может быть особенно «суггестивных», заражающих своей настроенностью, его стихотворений:

Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила...
Сердце ноет, слабеют колени...
В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела.

Дай, хоть выйду я в чистое поле,
Иль совсем затеряюсь в лесу.
С каждым мигом мне легче на воле,
Сердце пышет все боле и боле, —
Точно уголь в груди я несу.

Нет, довольно! С тоскою моею
Здесь расстанусь. Черемуха спит...
Ах, опять эти пчелы над нею,
И совсем я понять не умею,
Во груди ли, в кустах ли звенит...

Так и чувствуется радостный весенний гул, жужжание, трепетание, эта повышенная весенняя жизнь пригретого на солнце сада.

2.

Деревня могла быть не только источником вдохновения, но и местом деятельно-сосредоточенной и плодотворной, как самообразовательно-умственной, так и творчески-мыслительной *работы*.

Пушкин в деревне. Об этом уже очень много писалось. Пребывание в селе Михайловском имело, конечно, огромное значение для поэта: воспитательное значение для его творчества и для его личности. Здесь он все более развил в себе сосредоточенную напряженность творчества, которая всегда была ему присуща, здесь он много работал умственно, много сделал для своего самообразования и самовоспитания. Вот прежде всего картина Михайловского, вид с террасы Пушкинского дома, зарисованный нам одним посетителем Михайловского в 1880 году:

«Внизу домовой террасы по лугу извивалась река Сороть, а с правой стороны кругозора, бок-о-бок с рекой, лежало огромное озеро, за которым высился большой лес; с левой стороны террасы находилось еще одно озеро, уходившее в лес; прямо перед рекой и за рекой

распространились луга. Вид очаровательный. Госпожа Пушкина (жена сына поэта) говорила мне, что, когда солнце утром, вышедши из леса, осыплет лучами своими озеро, с правой стороны Сороти лежащее, или вечером озарит озеро, с левой стороны реки находящееся, то вид бывает еще очаровательнее, еще бесподобнее [94])».

Вот еще картинки соседнего с Михайловским Тригорского, имения Осиповых-Вульф, где часто гостил и подолгу живал Пушкин:

«Мир и даль без конца; красавица зеркальная Сороть с чистым песчаным дном; густой сад с вековыми деревьями; длинный одноэтажный господский дом, с чудным видом с балкона вдаль на расстилающиеся поля и деревушки, с мостом через Сороть... Очень красива часть сада, спускающаяся к реке Сороти. На берегу, на скате, старая баня. В этой бане жил Пушкин в веселое лето 1826 г. с Вульфами и поэтом Языковым, и отсюда прямо спускался к реке купаться»...

Уединение в деревне было подневольное, и Пушкин нередко тяготился им, тяготился невозможностью выехать отсюда далеко, отрезанностью от столичного оживления и общения. Но мало по малу он втянулся в уединенный образ жизни и зажил интенсивно и сосредоточенно. Шутливые замечания из его писем лишь намекают на эту сосредоточенность.

«Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма! [95]»

Он то ездит верхом, то ходит пешком (никогда не ездит в коляске), много бродит по окрестностям, много разговаривает по деревням с народом. За этой мнимой праздностью накапливается творчество. Это — творческая праздность, «творческие думы в душевной зреют тишине», говоря его собственными словами. Мысли, стихи, целые сцены из его трагедии «Борис Годунов» рождались у него в голове во время его прогулок. В «Материалах» Анненкова читаем:

«Во всех его прогулках поэзия неразлучно сопутствовала ему. Раз, возвращаясь из соседней деревни верхом, обдумал он всю сцену свидания Дмитрия с Мариной в «Годунове» [96]). «Я в совершенном оди-

ночестве» писал он в июле 1825 года Н. Раевскому: «у меня буквально нет другого общества кроме моей старой няни и моей трагедии. Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития и что я могу творить [97]».

В записках Н. М. Смирнова читаем о жизни Пушкина в Михайловском:

«Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книгу или перо; потом садился на коня и скакал несколько верст; слезая, уставший ложился в постель и брал снова книги и перо. В минуты грусти перекатывал шары на биллиарде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого. Так прошло несколько лет юности Пушкина, и в эти дни скуки и душевной тоски он написал столько светлых, восторженных песен [98]. . .»

Здесь были, например, написаны третья, четвертая и пятая песни «Онегина» с их картинами русской деревни, картинами русской осени и зимы. С утра он со свежими силами сразу садился за творческую работу, боясь чем-нибудь развлечься, чем-нибудь отвлечься от нее, часто не одевался, чтобы не растратить энергии. Одновременно в Михайловском он усиленно и много читает (например, историю Карамзина, Шекспира), записывает с голоса песни крестьян. Развлечением и душевным отдохновением для него являются посещения им Тригорского с его патриархальной семейной жизнью и его молодежью. Там он шалит, беснуется, веселится, проказничает. Но и в Тригорском, когда он проводил здесь целые дни, иногда и подолгу живал здесь, уходил он в одиночестве работать. Забавен и характерен следующий рассказ современника:

«Пушкин летом устроил себе кабинет в «бане» и там работал. Когда Пушкин в этой «бане» запирался, слуга не впускал туда никого, ни по какому поводу; никто не смел беспокоить поэта. В эту баню Александр Сергеевич удалялся часто совершенно неожиданно для лиц, с которыми он только что беседовал. В барском доме было однажды вечером много гостей; Пушкин с кем-то крупно поговорил, был очень раздражен и вдруг исчез из общества. Кто-то, зная привычки поэта, полюбопытствовал, что он делает, и подкрался к освещенному окну бани. И вот что он увидел: поэт находился в крайнем волнении, он быстро шагал из угла в угол, хватался руками за голо-

ву; подходил к зеркалу, висевшему на стене, и жестикулировал перед зеркалом, сжимая кулаки. Потом вдруг садился к письменному столу, писал несколько минут. Вдруг вскакивал, опять шагал из угла в угол и опять размахивал руками и хватался за голову» [99]).

Здесь в деревне расцвело мощным цветом то, что запало ему в душу еще в «садах Лицея». Как бы ярким пламенем вспыхивают эти стихи из 8-ой главы «Евгения Онегина», в которых он говорит о своих первых юношеских вдохновениях на заре жизни:

«В те дни в таинственных долинах
Весной, при криках лебединых,
Близ вод, сиявших в вышине,
Являться стала муза мне...»

И в последующие годы, после этих двух решающих лет в Михайловском, Пушкин в деревне, в одиночестве находил особенно вдохновляющую для себя обстановку, притом, как известно, глубокой осенью. «Писать стихи любил он преимущественно осенью», вспоминает его приятель Плетнев. Особенно плодотворным было его поэтическое затворничество в сельце Болдине (в юговосточной части Нижегородской губернии) осенью 1830 года. «Ах, мой милый!» пишет он из Болдина Плетневу. «Что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь! Соседей ни души. Езди верхом, сколько твоей душе угодно, пиши дома, сколько вздумается — никто не помешает. Уж я Тебе наготовлю и прозы и стихов [100])». И в самом деле — итог этой осени 1830 года почтенный. «Скажу тебе за тайну», пишет он тому же Плетневу, «что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ую, 9-ую, совсем готовые в печать; повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим «Аноним», несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир вовремя чумы и Дон Жуан. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное): написал я прозой 5 повестей [101])». В том же Болдине осенью 1833 года он пишет «Медного Всадника» и «Пиковую даму».

Девятнадцатилетний Жуковский, окончив свое образование в Москве, уезжает в 1802 году в деревню, в село Мишенское, где проводит 6 лет в усиленных занятиях. Уезжая

из Москвы, он захватил с собой все свои книги, запасся новыми и привез в деревню целую библиотеку «Ему хотелось», — говорит его друг и биограф д-р Зейдлиц — «самостоятельными упражнениями приготовить себя к литературному поприщу, и библиотека, приобретенная в Москве, оказала ему в этом отношении существенную услугу. В списке книг его мы видим, кроме большой французской энциклопедии Дидро, множество французских, немецких и английских сочинений, переводы греческих и латинских классиков, стихотворения и другие произведения изящной словесности на иностранных языках, полные издания: Шиллера, Гердера, Лессинга и прочее. Все это — замечает его биограф — давало материал для дальнейшего его самообразования». Тут созревает его талант. Вообще это обычное явление в русской культурной жизни: уехать в деревню и «обложиться» там книгами. Так работает например 21-летний Юрий Самарин с огромным духовным и умственным напряжением и сосредоточенностью, уехав из Москвы в село Измалково, известное Самаринское имение под Москвой (1840 год). Он готовит свою магистерскую диссертацию о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче, но он не только погружается в историческое изучение их эпохи — самые основные вопросы встают перед ним и требуют разрешения: сущность католицизма и протестантизма и отличие их от Православной Церкви, сущность христианства и религии вообще, отношение ее к философскому познанию и другие, связанные с этим проблемы. Он пожирает огромный материал — исторический, богословский, философский, но — главное — его мысль оплодотворена и усиленно работает, и он ощущает, какое это наслаждение — мыслить! Новый мир, мысленный, встает в нем, новое углубленное миросозерцание, в котором вера и мысль примирены и образуют творческий синтез. Он пишет летом 1840 г. к своему другу и сверстнику, Константину Аксакову:

«Вопрос о католицизме и протестанстве, о религии вообще начинает мне уясняться. Наконец, воскресает во мне давно почившая, живая, нетерпеливая деятельность мысли. Она кипит во мне и не дает места другим интересам в моем существовании. Есть такие вопросы, которые меня никогда и нигде не покидают. Они принимают в глазах моих различные формы, сначала неточные и произвольные, потом яснеют, приближаются ко мне ближе и ближе, наконец... Да можно ли передать словами отрадное сознание этой живой, органической ра-

боты ума, которая совершается в нас от времени до времени и стократно вознаграждает нас за целые периоды скуки и бесплодных занятий» [101а]).

Так и 18-19-летний Станкевич живет в деревне повышенной, радостно-насыщенной жизнью. Он полон юношеского подъема, наслаждается деревней; вместе с одним приятелем разбил он себе палатку в саду и перебрался в нее, ежедневно плавает в реке, ходит часто на охоту, и вместе с тем усиленно читает: Бальзака, «Оберона» Виланда, все снова и снова Шиллера и Гете (много из них он знает наизусть), русские и иностранные литературно-научные журналы, «Идеи по философии истории» Гердера, историю Франции Миньé, русских историков и много другого. А когда по окончании университета он в 1834 году переселяется надолго в деревню для подготовки к магистерскому экзамену, то занятия его становятся интенсивнее и углубленнее. Он занимается историей древнего мира, читает Геродота, Фукидида, исторические сочинения Шиллера, Хеерен-а «Ideen zur griechischen Geschichte», Michelet «Histoire romaine», собирается от начала до конца прочитать «Илиаду» и «Одиссею», хочет приняться за «Символику» Крейцера (посвященную античным религиям). Одновременно ярко сказываются его философские интересы.

«Прочел я «Систему Трансцедентального Идеализма», понял целое ее строение, тем более, что оно было мне наперед довольно известно; но плохо понимаю *цемент,* которым связаны различные части этого здания, и теперь разбираю его понемногу. Не смейся, — это одушевляет меня к другим трудам, ибо только целое, только имеющее цель может манить меня. Например, если бы я не читал «Практической философии» Шеллинга, я бы никогда не принялся с такой охотой за историю, как примусь за нее теперь» [101б]).

Но у него развивается и собственная критическая мысль, он полемизирует с Шеллингом, которого он теперь по вторичном чтении лучше понимает. Далее, он рвется приняться за Гегеля, читает отрывки из «Критики чистого разума» Канта, пишет об этическом идеализме Шиллера. И это идет рука об руку с увлечением охотой, со стремлением закалить себя физически, несмотря на зачатки болезни, сведшей его в 1840 году в могилу.

Хомяков, — этот духовный «повиватель«, и оплодотво-

ритель многих молодых умов — столь тесно связанный с Москвой, не менее тесно связан с деревней. В деревенской тиши он погружается в напряженную, хотя и внутренно успокоенную, размеренную деятельность: занятия по хозяйству, труды по улучшению быта крестьян (он заключает с крестьянами своих деревень ряд полюбовных договоров, на основании которых они переходят на оброчное положение), усиленный умственный труд. С этим чередуется охота, которой Хомяков страстно отдавался, и верховая езда (он был отличный и смелый наездник).

«Мысли уже иногда накипают и обещают, что осень пройдет не без плодов»,

пишет 26-летний Хомяков, только что оставивший военную службу, из деревни своему другу, Алексею Веневитинову:

«Впрочем, не думай, чтобы я скучал в деревне. Погода хороша, собаки лихи, зайцы есть; так с этим не соскучусь. Прибавь к тому, что из Турции привели коней славных, чудной езды, покойных как люльки, горячих, как кипяток, быстрых, как Добрынин Златокопыт. Книги есть, есть и биллиард и смешные соседи, — чего же больше! Вот я Тебе сказал правду, да не всю правду: приходят часы, что хотелось бы побеседовать с приятелями, послушать разумных речей, потолковать о прекрасном, о политике, о бесконечности и беспрерывные немые монологи разнообразить веселыми и спорливыми ответами [102])».

— «Любезнейший брат Николай Михайлович!» пишет он в 1837 г. своему шурину, поэту Языкову. «Пора Тебе в деревню, если только у вас погода такая же, как у нас. Здесь дождь и тепло; вешняя, хлебная погода, зовущая на вольный воздух, в поля широкие, в луга муравчатые [103])».

Это время духовного сосредоточения, напряженного умственного творчества. В тишине родятся его глубочайшие мысли.

«Я все еще продолжаю приуготовительные труды и думаю, что на днях достиг кое-каких истин довольно важных [104])».

— «Покуда живу я в деревне, купаюсь, стреляю, охочусь с собаками и прочее, готовлю еще статью, которая будет последней в порядке моих статей, и если цензура смилуется, то скажу почти все, что на душе у меня; потом прощай, публика, и брошусь в объятья Семирамиды, то есть разработки исторических наук. Ars longa, vita

brevis» [105]). — «О себе скажу Вам», пишет он А. И. Попову, «покуда только то доброе, что я давным давно не работал так много и так аккуратно. Все в истории принимает какой то новый вид и живой смысл. Так, например, пишу время Оттонов и первых Салийцев. Как ясно выступает взаимная зависимость двух властей, светской и духовной, и их истечение из одной идеи Римской державы в ее новой форме всехристианства — tota christianitas» [106]).

Н. М. Карамзин в течение 8½ лет пишет большую часть своей «Истории Государства Российского» в тиши Астафьевской усадьбы своего родственника по жене. князя П. А. Вяземского — в светлом кабинете во втором этаже с большим итальянским окном и с видом на парк и на дали за парком. Владимир Соловьев, по облику своему скорее городской житель, иногда особенно плодотворно работает в деревенском уединении. Зиму 1886 г. он проводит в имении вдовы поэта графа А. К. Толстого, Пустыньке. Здесь он между прочим пишет значительную часть своей книги «История и будущность теократии», пишет ряд стихотворений. «Прочитал, между прочим, со вниманием и с карандашом два томика о Дарвинизме покойного Данилевского», и собирается писать критику на них [107]).

Но закончим опять двумя художниками слова. Бунин рисует нам, как душа его разгоралась жаждой поэтического творчества в библиотеке старинной Писаревской усадьбы Васильевское, библиотеке, которая сыграла решающую роль не только для его литературного самообразования, но всего его духовного развития.

«...В этой библиотеке оказалось множество чудеснейших томиков в толстых переплетах из темно-золотистой кожи с золотыми звездочками на корешках — Сумароков, Анна Бунина, Державин, Батюшков, Жуковский, Веневитинов, Языков, Козлов, Баратынский... Как восхитительны были их романтические виньетки — лиры, урны, шлемы, венки, — их шрифт, их шершавая, чаще всего синеватая бумага и, больше всего, чистая, стройная красота, благородство, высокий строй всего того, что было на этой бумаге напечатано! Был тут и Пушкин в издании 37 года, совсем как будто бы не тот, что в нынешних изданиях... И не могу выразить, с какой радостью вспоминаю я свои батуринские годы и особенно эту зиму прежде всего в силу тех радостей, что мне давали эти томики! С ними я пережил все первые юношеские мечты, первые восторженные подъемы духа, первую полную жажду писать самому, первые попытки утолить ее — и, глав-

ное, сладострастие воображения. Я теперь предавался ему и всем тем чувствам, которые оно вызвало, особенно неистово, и оно было поистине чудодейственно. Если я читал: «На брань летит певец младой», или «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой», или «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду», — я так видел и чувствовал этого певца, и этот поток, и зеленые волны, и морское утро, и нагую Нереиду, что мне хотелось петь, кричать, смеяться, плакать . . . » («Жизнь Арсеньева»).

А вот как, уже в позднейшие годы, он работает в деревне в предверии весны:

«Деревенская усадьба, начало марта, первые недели Великого поста. Дни темные, однообразные. Но они точно долгий, спокойный канун праздника. Я живу затворником, за работой с утра до вечера. Но я работаю легко, споро, с той редкой остротой душевного зрения, которое дает такое непередаваемое счастье. — «Се тебе, душе моя, вверяет Владыка талант: со страхом прийми дар». Нынче я опять не заметил, как прошел мой день. Но вот бьет шесть, темнеет, синеет за окнами. Усталый, умиротворенный, я кладу перо, мысленно благодаря Бога за силы, за труд, одеваюсь и выхожу на крыльцо. Сумерки, тишина, сладкий мартовский воздух . . . Я иду по деревне, додумываю свои думы, укрепляю свои тайные вымыслы, но все вижу, все замечаю и чувствую — всему теперь открыто мое сердце, мои глаза, мои уши . . . В темноте возвращаюсь домой и провожу вечер за книгой, в мире несуществующем, но столь нераздельном со всем, чем втайне живет моя душа. Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня — о радостях своих вымыслов. Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния. Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире — мое [108])».

Но особенно мощно, стихийно-мощно, — как мы знаем и уже отчасти видели — развивается в деревне, на фоне природной деревенской жизни, творчество Толстого. Как часто он испытывал здесь и муки творчества и радость творчества, и муки мысли. Творческий период подготовляется постепенно — напряженной внутренней работой; тяжелой, томительной, захватывающей всю энергию, работой обдумывания, примеривания, искания. Так, 1-го ноября 1864 года он пишет Фету:

«Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа

глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них одну миллионную, ужасно трудно».

И вместе с тем как оживлен, как радостен бывал он, когда начиналась творческая работа и шла удачно. Его свояченница, Татьяна Андреевна Кузьминская, послужившая отчасти прототипом Наташе Ростовой, вспоминает то время, что она жила у Толстых в Ясной Поляне, когда он писал свое величайшее произведение:

«Как я хорошо их обоих помню, когда он писал «Войну и Мир»! У него было вечное поднятие духа, «high spirits», как называют англичане. Бодр, здоров, весел. В те дни, когда он не писал, он ездил на охоту со мной и часто с соседом Бибиковым, с борзыми... Помню, как всегда по его расположению духа видно было, насколько удачно шло его писание: он был оживлен и весел и говорил, что он кусочек жизни своей оставил в чернильнице, когда все шло удачно. Вечером раскладывал пасьянс у тетеньки в комнате: он загадывал почти всегда что нибудь о своем писании [109])».

К этому времени усиленного подъема художественного творчества и радостного, повышенного самочувствия относятся, например, следующие свидетельства его писем: «Я никогда не чувствовал», пишет он к графине А. А. Толстой осенью или зимой 1863 года, — «свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе, и работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времен 1810-1820 годов, который занимает меня вполне с осени... Я теперь писатель *всеми* силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал [110]». Он счастлив и в своей семейной и в своей творческой жизни. Той же графине А. А. Толстой пишет он $1^{1}/_{2}$ года позднее:

«Я как то раз Вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался: такое счастье есть, и я в нем живу 3-ий год, и с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые некрасивые — дети, которые (виноват) мараются и кричат, жена, кото-

рая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было [111])».

На днях должна появиться первая половина первой части его романа «1805-ый год». Приблизительно к тому же времени относится следующее письмо его к Фету (первая половина декабря 1865 г.): «Я довольно много написал нынешней осенью — своего романа. Ars longa, vita brevis, думаю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть 1/100 долю того, что понимаешь, но выходит только 1/10 000 часть. Все-таки это сознание, что *могу*, составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испытываю».

София Андреевна заносит в свой дневник под 12 января 1867 года (в Ясной Поляне): «Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет».

А вот как Константин Леонтьев в 1887 году рисует нам в своем уединенном домике у самой ограды Оптиной пустыни охватившую его умиренную тишину при творческой сосредоточенности духа:

«Пред окном моим бесконечные осенние поля. Я счастлив, что из кабинета этого такой дальний и покойный вид «Laudatur domus, longos quae prospicit agros». Прекрасен тот дом, из которого вид на широкие поля, и в этом доме я, давно больной и усталый, но сердцем веселый и покойный, хотел бы под звон колоколов монастырских, напоминающих мне беспрестанно о близкой уже вечности, стать равнодушным ко всему на свете, кроме собственной души, и забот об ее очищении... Но жизнь и здесь напоминает о себе. И здесь просыпаются забытые думы и снова чувствуешь себя живой частью того великого и до сих пор неразгаданного целого, которое зовется Россия»... [112]).

3.

Они были действительно гнездами культуры и центрами сосредоточенной, излучающейся красоты — многие из этих усадьб. Полны очарования были старые сады и парки с прямыми липовыми аллеями, пятнами ярко-красных пионов перед домом и густыми зарослями сирени и жасмина вокруг дома, в которых так немолчно, так неустанно, наперерыв

сменяя друг друга или одновременно в несколько голосов, звонко и напряженно заливались соловьи светлой весенней ночью. А дальше, в глуби парка — березовая или сосновая роща; пруд, окаймленный высокими деревьями, иногда с островком и маленькой деревянной или каменной беседкой на нем в стиле античного храма («храм дружбы» или «храм уединения»). На середине скрещивающихся аллей пригорок — круглый холмик, засаженный папоротником, с вьющимися улиткообразными дорожками (на месте старой казачьей вышки, когда здесь — в 16-ом и 17-ом веках — проходили передовые посты казацкой сторожевой линии). А в аллеях парка какие гиганты лесного царства: липы, клены, серебристые тополя в несколько обхватов. Две стройные, могучие, гигантские ели обрамляют по обе стороны большой зеленый круг перед домом. Окруженные мягкой воздушной тенью старые коренастые яблони на залитых солнцем лужайках парка. А каким недвижно-зачарованным был фруктовый сад в июньский тихий полдень, с перистыми облачками, застывшими над ним в сияющем небе, и с дальним куполом деревенской церкви, как-бы реющим в прозрачном воздухе, — сад, временно замерший в этой своей напряженной летней жизни цветения, спеяния, наливания плодов, с как-бы придушенным, редким трещанием кузнечиков, с молчаливым ползаньем бесчисленного количества козявок и насекомых, резким жужжанием одиноко пролетевшего шмеля, или еле слышным гудением роя пчел над кустом малины, — в эти часы насыщенной теплыми летними лучами, лениво-сосредоточенной и молчаливо-творческой истомы. Тургенев пишет в мае 1853 года из деревни:

«Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепительно ярка — такая молодость, такая свежесть и мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами аллея больших берез ... В саду множество соловьев, иволг, кукушек и дроздов — прямо благодать.»

А самый дом, обвеянный семейными преданиями, согретый теплом семейной жизни, иногда величественный и стройный (целый ряд художественно замечательных усадеб-дворцов возник в тиши русской деревни), но гораздо чаще простой и беспритязательный, хотя и поместительный, чаще деревянный дом с деревянными белыми или серыми колонками и уютной, опускающейся в сад полу-открытой террасой. Чаще — повторяю — эти дома были простые и беспри-

тязательные, но за то полные уюта и гостеприимства, полные за то и культурных сокровищ, даже многие скромные из них. Какие были там библиотеки, накопленные в течение поколений любовным собирательным трудом отцов и дедов, и тут же гравюры, пейзажи (особенно, например, виды Италии в стиле романтической эпохи начала 19-го века), семейные портреты. Помню скромный деревянный усадебный дом в имении моей бабушки, Натальи Юрьевны Арсеньевой, рожденной Долгорукой, в сельце Красном Новосильского уезда близ Орла (сменивший прежний, более поместительный и грандиозный, снесенный братом ее, собиравшимся было построить на месте его какой-то палаццо, но так и не собравшимся, так что моей бабушке пришлось потом поставить на месте снесенного простой деревянный дом, который я мальчиком и юношей так хорошо знал и любил). Помню этот беспритязательный, уютный домик с террасой в обширный красненский парк. Но как хороша была его библиотека — в высоких застекленных шкапах простого орехового дерева. Целый мир французской старой культуры 17-го и 18-го века раскрывался здесь в этих чудных старинных изданиях в кожанных с золотыми тиснениями переплетах, мир французских классиков — Мольера, Расина, Корнеля, особенно же религиозной культуры старой Франции: Боссюэт, Фенелон, Массильон, Бурдалу, Паскаль; мир французской мемуарной литературы, как 17-го века, так и позднейших времен.

Энциклопедистов, Вольтера и Руссо не было — мои предки, собиравшие эту библиотеку, были убежденно-религиозные люди. Имелся далее ряд ценных старых изданий немецких писателей конца 18-го и начала 19-го века в старинных картонных синих, оранжевых, зеленых, красных обложках: первые издания Виланда, Гете, Шиллера, но также Тика и Вакенродера и других представителей романтического поколения. Были и старые издания английских романтиков, и первые издания стихотворений Жуковского и русских поэтов начала 19-го века, и полные коллекции журнала «Revue des Deux Mondes» с 1848 года до начала Великой войны 1914 года, «Русский Вестник», «Русский Архив», «Артист», «Исторический Вестник» и другие журналы за многие десятки лет; а в личной библиотеке моего деда, Василия Сергеевича Арсеньева, — великие мистики всех стран, особенно Яков Бэме (в старом амстердамском издании и в белых свиной кожи переплетах с замысловатыми гравюрами космического характера на заглавных листах), Oettinger,

Франц Баадер. В простенках между шкапами висят старые гравюры с Рафаэловских муз и сивилл Микель-Анджело, в углу тикают старинные английские стенные часы (1801 года), заводившиеся на целый год; в гостиной висят портреты — в том числе монахини в скуфейке и с четками в руках: знаменитая, героическая духом русская женщина, Наталья Борисовна Долгорукая, рожденная Шереметева, вдова казненного князя Ивана, любимца Петра II [113]).

Помню очарование старой культуры вместе с чарами весны в деревне, обдавшее меня в начале 1904 года в имении Подоляны моей тети Н. Г. Малиновской, рожденной Долгорукой (бывшем Чернышевском имении), куда я приехал еще не совсем 16-летним мальчиком из Москвы. Была еще холодная весна, все расцветало, но было свежо на воздухе. Но тем звучнее и бесстеснительнее и в течение дня захваченно-ликующе и бодро и четко выводили свои трели соловьи в свежей зелени парка, тянувшегося перед домом и спускавшегося обрывом к большому лесу внизу под горой. Старый Чернышевский дом был двухэтажный, каменный, уютный и на широкую ногу, с библиотечной комнатой внизу, где зеленые тени окружающих кленов парка скользили и играли по полу и стенам. В маленьких шкапиках ясеневого дерева — издания начала 19-го века, особенно английских поэтов- романтиков: «Чайльд Гарольд» Байрона в отдельных томиках первого издания 1814—18 годов с выгравированными на заглавных листах руинами и урнами. «Лала Рук» — восточная сказочная поэма ирландца Томаса Мура в издании того же времени. Под мощно-раскинувшимся дубом над лесным обрывом сидел я часами при громких радостно-взволнованных трелях соловьев и читал сказочно-восточную поэму Мура «The Veiled Prophet of Chorasan» — о жуткой личности скрытого под густым покрывалом таинственного хорассанского пророка, — а потом спускался по обрыву в лес и часами бродил по лесу, насыщенный весенними звуками, охваченный струями весенних волн. И сходное чувство очарования переживали многие и многие, как из представителей старшего сравнительно со мной поколения, так и из сверстников моих.

Мы имеем огромное множество данных о таких центрах культуры в деревне, очагах оживленной и сосредоточенной семейной и культурной жизни. Из многочисленных, напрашивающихся на перо, примеров остановлюсь лишь на двух подмосковных: на уже названном нами Астафьеве поэта

князя Вяземского (а потом графов Шереметевых) и на Муранове Боратынского.

Астафьево: Какое богатство художественных собраний и какое богатство связанных с его прошлым воспоминаний, дорогих и близких любителю русской культуры. Поэт князь Петр Андреевич Вяземский был закадычный, многолетний и верный друг Пушкина. Как часто Пушкин бывал здесь! Здесь, прислонившись к колонне ротонды, он читал вслух собравшимся друзьями свои стихи «Родословная моего героя». Одна комната особенно полна воспоминаний: здесь 12 лет (с 1804 по1816 годы) — как мы уже говорили — прожил Карамзин и написал здесь 8 томов своей «Истории государства Российского». Сохранился здесь его простой письменный стол, конторка и книги из его библиотеки, из которых одна с его отметками. Но что делает эту комнату еще драгоценнее, это то, что здесь с любовью рукой его друзей были собраны предметы, связанные с памятью Пушкина: письменный стол поэта с знаменитым литографированным портретом Жуковского, который Жуковский в 1820 году подарил Пушкину с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя», жилет поэта, пропитанный его кровью, который был на нем в день смертельного поединка и одна перчатка Жуковского. Записка поясняет, что вторую он бросил в ящик, в котором увозили для погребения в Святогорском монастыре гроб с телом поэта. У окна в витрине трость Пушкина с набалдашником. Вообще дом полон литературных реликвий: целые шкапы первых изданий русских поэтов с их поправками и собственноручными посвящениями (много Пушкинских автографов), большой портрет Жуковского работы Брюллова, портрет партизана-поэта Дениса Давыдова. Есть и надписи гостившего в Астафьеве Мицкевича на двух томиках его стихотворений, далее, например, визитные карточки Мюссе, Ламартина, навещавших князя Вяземского в Париже. Особенно ценен архив, который был собран Вяземскими в Астафьеве; он настолько значителен, что, по словам М. Ф. Гершензона, без него невозможно научное изучение русской литературы. Части этого архива (переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым) были в четырех увесистых томах изданы графом Шереметевым в 1895 году. А какие в Астафьеве собрания книг и ценнейших произведений искусства. Библиотека занимает целое крыло дома — длинный ряд комнат; ее собирало пять поколений князей Вяземских и она насчитывает около 32 тысяч томов. Между

шкапами висят картины и портреты кисти русских и иностранных художников (венецианской, умбрийской, голландской школы). Особенно ценно собрание старо-немецких и нидерландских мастеров XV и XVI веков. Тут же деревянная скульптура из древне-германских католических церквей, древние ткани, коллекция старого венецианского, русского и немецкого стекла, старо-германские резные шкапы и стулья, на стенах — старинное оружие, западное и восточное, по углам — четыре древне-немецких рыцарских вооружений. Любовь к Италии и античному миру ощущается особенно сильно. Много здесь воспоминаний, привезенных из Италии: акварели и виды Италии начала прошлого или конца XVIII века, обломки античных надписей, античных камней и рельефов; в колоннадах дома размещены произведения скульптуры: греческий барельеф и группа: пан, сатир и два эрота, итальянское воспроизведение 18-го века мраморной античной Венеры и т. д. Есть специальная комната, посвященная древне-русскому искусству и художественным предметам старо-русского быта, которых князь П. А. Вяземский был большой любитель и знаток: здесь собраны старинные редкие иконы, большей частью из старообрядческих скитов, предметы старинного женского убранства, произведения кустарного искусства нижегородских резчиков и т д. [112]) В Астафьеве Вяземского, таким образом, наглядно осуществлялся тот синтез двух культурных сфер, о котором мы говорили выше.

Мураново Боратынского (прежде принадлежавшее генералу Л. Н. Энгельгардту, автору известных записок, а потом его двум дочерям, замужем за поэтом Е. А. Боратынским и его ближайшим другом, Н. В. Путятой). И здесь отчасти те же имена среди гостей, что и в Астафьеве: Денис Давыдов, Пушкин, друживший с Боратынским и раз ночевавший в Муранове (до сих пор хранится там автограф его стихотворения «Свободы сеятель пустынный»), но прибавляются и новые имена: кроме самого Боратынского — Гоголь, Аксаковы, Тютчев. Теперь в Мурановском доме устроен музей, посвященный Тютчеву, Боратынскому и Ивану Аксакову [114]). В превосходной маленькой монографии, посвященной Муранову и изданной в 1925 году в Советской России, читаем:

«На стенах литературной комнаты висят портреты некоторых гостей Муранова в ту пору. Среди них автор «Петербургских ночей», князь Ф. В. Одоевский (1803-69), профессор ботаники и извест-

ный деятель по народному образованию, племянник поэта Баратынского, С. А. Рачинский, и другие. Вот Гоголь — частый гость Муранова об эту пору. Во втором этаже имеется даже специальная комната, которая всегда отводилась ему во время его наездов к Путятам. Тут же видим портрет патриарха знаменитой литературной семьи Аксаковых, автора «Семейной хроники», старика Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859). Аксаковых, которые с 1844 года были ближайшими соседями Муранова (их усадьба Абрамцево находилась в 8-ми верстах от этого последнего), познакомил с Путятами Гоголь. Старик Аксаков часто ездил ловить рыбу в Мурановском пруду, о чем встречаем упоминания в его «Записках об ужении рыбы». В начале 40-ых годов познакомился с Путятами вернувшийся в Россию после многолетнего пребывания заграницей поэт Тютчев. Тютчев бывал в усадьбе Аксаковых, заезжая попутно к Путятам в Мураново. Впоследствии эта близость трех семейств закрепилась и родственными союзами: старшая дочь поэта, Анна Федоровна Тютчева, вышла замуж за младшего сына С. Т. Аксакова, поэта и публициста Ивана Сергеевича, а младший сын Тютчева женился на дочери Н. В. Путяты.

Сам Боратынский в это время мало уже писал, но был центром усиленной умственной жизни и литературного общения и ревностно занимался, как хозяйственными работами по имению, так и воспитанием своих детей. Для его тогдашнего настроения характерно стихотворение, написанное им осенью 1842 года при посадке леса в Муранове: он хочет распроститься со своей лирой, ибо она не нашла отклика в сердцах людей:

...Ответа нет. Отвергнул струны я,
Да кряж другой мне будет плодоносен.
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.
И пусть. Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.

Работа по созданию семейного гнезда и по устройству имения вдохнула однако опять бодрость и энергию в душу поэта. Вероятно и творчество его возродилось бы с новой силой, если бы не внезапная смерть (в Италии в 1844 году). Вот картинка его тогдашней жизни:

«Мы живем в глубочайшем уединении», пишет он матери в начале 1841 года: «Подмосковная зимой — убежище мира еще более глубокого, еще более абсолютного безмолвия, чем деревни внутренних губерний России. Здесь у нас полная зима, земля покрыта снегом, и санный путь установился... Наше время проходит совершенно единообразно».

Однако в этом однообразии, — замечает автор монографии о Муранове — было меньше всего праздности. Письма Боратынского об эту пору свидетельствуют о том, какой энергичной и деятельной жизнью жила в это время от мала до велика вся его семья. Сам поэт ездил каждый день по несколько раз на постройку дома в Мураново из соседнего сельца Артемова, где он тогда временно жил с семьей, сооружал паровую лесопилку, налаживал оживленную торговлю лесом (в течение года срубил и перепилил 25 десятин), вел очередные хозяйственные работы, наконец, совершал частые поездки по делам в Москву и окрестности. Одновременно он был озабочен приисканием хороших учителей для детей. «Наш дом», пишет он из Артемова летом 1842 года, «являет собой род маленького университета. Среди нас пять чужестранцев» (дети Боратынского, кроме общеобразовательных предметов, изучали древние и новые языки, в том числе английский, занимались музыкой и живописью). Про этих чужестранцев он в другом письме сообщал: «Учителя — добрые ребята, более просвещенные, чем большая часть русских помещиков». Рачительный хозяин, заботливый отец, Боратынский, видимо, был и передовым, гуманным помещиком. Доподлинно известно, что он был убежденным противником крепостного права. Так по поводу манифеста 1842 года об обязанных крестьянах, который, по его мнению, являлся началом освобождения крестьян вообще, Боратынский восторженно отзывался Путяте: «У меня солнце в сердце, когда я думаю о будущем. Вижу, осязаю возможность исполнения великого дела [115])».

4.

Деревенская жизнь была для культурного слоя местом прикосновения к народу и источником познания народа. Здесь обвевался этот культурный слой стихией народной жизни, здесь вливалась в него эта стихия народная, из кото-

рой только и могут быть поняты многие высшие проявления русского культурного творчества. Известно, как народные обычаи, игры, поверия, катания с гор на масленнице, гадания и катания ряженными на святках входили в ткань жизни и помещичьего класса, особенно его молодежи, в деревне. Об этом повествует нам Толстой в «Войне и мире». Как бы комментарием к святочным гаданиям Пушкинской Татьяны являются, например, воспоминания госпожи Хвощинской о гаданиях в деревенской усадьбе 50-ых годов:

«Есть ли одна русская деревенская барышня, которая не гадала-бы... Так и мы, когда сделались девицами и когда в голову стали закрадываться мысли о неведомом суженном, то все... гаданья заинтересовали нас. Приносили также петуха, певали подблюдные песни; тогда еще оставшиеся из крепостных горничные все это знали до тонкости; пели нам песни; каждая своей любимой княжне мостила мостики и клала королей под подушку и на другой день, улыбаясь, осведомлялась, что видела княжна и кто через мостик ее переводил. Когда к нам во время святок съезжалось несколько барышен и молодых людей, нам подавали несколько розвальней... и, усевшись в них, отправлялись мы в село подслушивать имена прохожих, которые бывали редки, так как деревенский люд рано отправлялся на отдых, и одни собаки, перепутанные нашим появлением, лаяли, бросаясь издали на нас [116])».

А какую огромную роль сыграла русская народная песня в жизни культурного класса, равно как и в русском художественно-музыкальном и литературном творчестве. Отсюда родилась музыка Глинки, Даргомыжского, Мусоргского. Русская народная песня сделалась неотемлемым элементом русской обще-национальной культурной традиции. Укажу лишь на усиленный культ русской песни в семье Шереметевых с ее знаменитым шереметевским хором, и на менее известный русский песенный хор князя Ю. Н. Голицына, дававший концерты и за границей [117]). Можно привести бесчисленные примеры того, как крепко укоренена была традиция русской народной песни в провинциальной помещичьей среде. М. И. Глинка рассказывает, что в пору его детства в Смоленской губернии, в имении его дяди, близ города Ельни, музыканты «обыкновенно играли русские песни, переложенные на две флейты, два кларнета, две вальторны и два фагота. Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились ... и может быть, эти песни, слышанные

мною в ребячестве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку [118])». Безсонов, известный издатель русских народных песен, сохранил такое воспоминание из лет своей юности: «Всю раннюю молодость свою и детство (с 9 до 20 лет) проводили мы летом по усадьбам крупных и мелких дворян-помещиков, в губерниях, смежных с Московской, и в самой Московской. Здесь успели мы слышать много песен, хранившихся преданием . . . Хранительницы старины, большей частью сами старушки, барыни-хозяйки и домашние жилицы, редко пели уже в собственном смысле слова, чаще напевали вполголоса [119]». Характерны слова, написанные Гоголем в 1836 году;

«Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украйна звенит песнями; по Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси . . . Все дорожное, дворянство и не дворянство, летит под песни ямщиков . . .»

Он много сам наслушался народных песен в детстве и юности своей на Украине.

Мы видели уже, как Пушкин прилежно собирал в Михайловском русские народные песни (целое собрание местных песен, составленное им, было им потом предоставлено в распоряжение П. В. Киреевского и вошло в собрание Киреевского), как он записывал народные сказки со слов своей няни. «Почти все формы и виды фольклора», — пишет современный исследователь, профессор Ю. Соколов, в статье «Пушкин и фольклор», — «так или иначе представлены в его записях или в его непосредственной творческой работе — сказки, былины, исторические и лирические песни, свадебная поэзия, похоронные и рекрутские плачи, народная драма, духовные стихи, лубок, вплоть до недавно обнаруженного в его записях списка песен о Фоме и Ереме [120])». Отсюда питалось и его творчество. Недаром ему удалось, например, в своих сказках дать не подражание народным образцам, а дальнейшее — художественное и вместе с тем органическое и свободное — развитие народного творчества. Из духа народных сказок, из стихии их творил он дальше русскую сказку, достигши при этом необычайной яркости и подлинности и несравненной художественной высоты. Некоторые из современников Пушкина поняли это при выходе в свет в

1833 году «Сказки о Царе Салтане» и усматривали в ней начало нового периода в русской литературе. Нам эта органическая и творческая народность пушкинской сказки еще больше уяснилась через музыку Римского-Корсакова и декорации и иллюстрации Билибина.

Стихия деревенской народной жизни и Лев Толстой. Как усиленно он прикасался к этой народной жизни, как воспринял ее в себя и питался ею, более того, учавствовал в ней — например, через деятельное участие свое в полевых работах. Или вот ,например, Толстой часто ходит (особенно в 1879 году) на Киевское шоссе, пролегающее невдалеке от Ясной Поляны, для разговоров с проходящим народом, например, богомольцами, которые шли пешком «по обещанию» многие сотни верст. В дневник 1879 года он записывает:

«9-го марта. На большой дороге встретил двух сибирских богомолок. Одна — мужняя жена, другая — монашка. Собирает кусочки. Идти в Киев ее благословила Лукерьюшка. Лукерьюшке 90 лет. Она с 19 лет ходила босиком и зиму и лето. Грамоты не знает, а писанье так знает по наслышке, что лучше духовника расскажет. Ест в неделю раз просфору. Спит на полу, камень в ногах. Во одно окошечко принимает милостыню, а в другое отдает. Становой — сердитый был — приехал к ней: «Ты ежовую то шкуру скинь, в ней в царство небесное не войдешь». Другой человек стал, ездит к ней каждую неделю. — Два раза в Киев босая ходила. 17-го апреля: Оренбургские два молодые казака ехали до Сызрани, оттуда пешие по угодникам до Киева; оттуда на Воскресенск, Троицу, Ярославль ... Нижегородский, читает русский псалтирь на привале ... Из Суздальского уезда портной, лет 40, седой, честное, прямое лицо, идет, на ходу читает акафист печерским чудотворцам. «Рублей 100 станет, обещался, один сын болел и помер. Время все равно пройдет [121])».

Это один лишь случайный пример постоянного, неослабного и близкого общения Толстого с народом. Какой чудный, например, маленький рассказ «Благодарная почва» (из дневника, помечено 9 июля 1910 г. — последний художественный рассказ Толстого), разговор Толстого в поле с молодым пашущим парнем [122]). Просто, безыскуственно и жизненно, без всякого сектантства и сектантской пропаганды (которая так часто ведь вторгалась ненужным и отрицательным элементом в общении Толстого с народом). И как много вдохновения почерпал Толстой из общения своего с народом. Он смотрел на народ в общем трезвыми глазами, видел и темные сторо-

ны его, видел начавшееся разложение семьи и нравов, запечатленное им во «Власти тьмы», но как он любил этот народ и какую душевную красоту сумел в нем открыть. И как сумел другой «барин», гораздо больше по-западному настроенный, чем Толстой, — Иван Сергеевич Тургенев, — например, в «Живых мощах» и Касьяне с Красивой Мечи», подглядеть изумительные глубины религиозно-нравственной жизни народа.

Еще совсем молодым, начинающим писателем, в своем «Хоре и Калиныче» подглядел он два основных, и вместе с тем столь противоположных типа русской народной души. Часто думали, что Россия состоит только из мечтателей Калинычей, и забывали, что были и есть у нее люди воли и хозяйственно-государственного ума и склада, и как понял это, например, Столыпин, начавший строить на этих дельных и крепких Хорях будущую Россию. И вместе с тем несвязанность материальными расчетами и высокий, детски-простодушный идеализм Калиныча, есть одно из самых привлекательных свойств русского народа, которое — нужно надеяться — не иссякнет в нем, ибо отсюда выросли многие из его высших духовных достижений. А как изобразил Тургенев томление по красоте в русской народной душе, ее необъятную, «метафизическую», творческую тоску в своих «Певцах». В позднейшие годы одну из встреч своих после долгого отсутствия с русской деревней, с русским деревенским людом изобразил он в этом свеже-благоуханном наброске «Деревня», в «Стихотворениях в прозе»:

«Последний день июля, на тысячу верст кругом Россия — родной край. Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное... Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена... Курчавые детские головки торчат из каждого вороха... Русокудрые парни в чистых, низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, — зубоскалят. Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется, не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене. Другая молодка сильными руками тащит большое, мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные, огнистые капли. Передо мной стоит старуха хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах... Приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинисте лицо. Чай, седьмой де-

сяток доживает старушка ... а и теперь еще видать: красавицей была в свое время. Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба, — «Кушай, мол на здоровье, заезжий гость ...» — «Ай да овес.» — слышится голос моего кучера ... О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни, тишь и благодать. И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и все, чего так добиваемся мы, городские люди.» ... (1878 г.).

Не хочу анализировать. Отношение между культурным слоем — между помещиками в усадьбе, и окружающим народом были до отмены крепостного права, при всех положительных чертах добрых помещиков, действительно радевших о народе, основаны на порабощении народа. Правда, из усадьбы выходили и главные борцы за освобождение крестьян — вспомним Ю. Самарина, князя Черкасского, А. И. Кошелева и многих, многих других участников подготовки или проведения реформы. После отмены крепостного права отношения между усадьбой и деревней стали в общем довольно внешними, иногда добрососедскими, но часто и отчужденно-холодными. Чехов рассказывает нам трагедию взаимного непонимания между добросердечным, но не знающим народа инженером, типичным горожанином, купившем себе усадьбу, и окружающим деревенским народом («Новая дача»). Рассказ убедителен и внутренно правдив и касается не только горожан-дачников. Но я не задаюсь целью дать здесь обзор добрых, равнодушных или открыто враждебных отношений между культурными классами в деревне, усадьбой и широкими слоями народа. Я хочу лишь сказать, что здесь, в деревенской тиши, русский культурный класс ближе встречался с русской народной душой и нередко (например, в лице своих великих художников) начинал глубже понимать эту народную душу. Вспомним, например, еще тонкие и глубокие, полные любви и вместе с тем трезво-реальные наблюдения Глеба Успенского из его деревенского уединения в Новгородской губернии, куда он уезжал на месяцы, или из его одиноких странствований по России. Например, такой его теплотой душевной согретые рассказы, как «Добрые люди», «После урожая», «На минутку» и целый ряд других. Здесь, в деревне, создавались как ни как центры культурного и духовного общения с деревенским народом,

центры работы культурных слоев на пользу народа. Многое было сделано в России в этом направлении, но, может быть, все же недостаточно. Хочу лишь коснуться здесь мельком одного такого мощного и благодетельного, хотя в тишине работавшего, без громких лозунгов и шумихи. центра духовного служения народу — Татевской школы Рачинского. Оставив кафедру при московском университете, переселившись из родной усадьбы в самое здание школы, Сергей Александрович всецело отдался делу воспитания крестьянских детей. Вот как описывает один из его почитателей и последователей, г. Горбов, внутренний строй Татевской школы:

«Вставали школьники в 6 часов. После молитвы, до классных занятий, дети рубили дрова, возили с реки воду, убирали школу. В 9 часов начинались классы и продолжались до 12 часов, в 12 часов обед и до 2 часов перерыв. От 2 до 4 уроки. В 4 часа за стол (полдничанье). С 6 часов новые занятия; часто вечер проходил в спевках, в которых принимали участие не только мальчики, но и девочки, составлявшие прекрасный церковный хор. В 8 ужин и молитва на сон грядущий. Один из учеников возглашал начальные молитвы, потом пели «Отче наш», и затем учитель читал одну из вечерних молитв. Все заканчивалось пением тропаря «Кресту». Это выходило довольно продолжительно, но не замечалось никакого утомления, никакого рассеяния. Серьезно и сосредоточенно стояли дети пред иконой с теплящейся лампадой, после целого дня усиленных и разнообразных занятий, и как хороши, как милы были они в то время».

«Так же поставлены» — читаем дальше в очерке, посвященном деятельности Рачинского — «были и другие школы, основанные Сергеем Александровичем. Во всех этих школах летом занятия прекращались, но они продолжались в Татевской школе. Сергей Александрович занимался летом с лучшими учениками, приготовляя их к учительству или к поступлению в другие — более высшие школы. Кроме того, к нему съезжались на лето бывшие его ученики — учителя основанных им школ. Это были своего рода учительские курсы, на которых происходил обмен мыслей, и обсуждались разные вопросы. Субботние беседы обычно завершались спевкой к обедне и чтением воскресного Евангелия. Читал сам Сергей Александрович, и его чтение и беседы призводили глубокое впечатление на слушателей. Кроме широты образования, и горячей веры в свое дело, Сергей Александрович внес в свою педагогическую деятельность самую теплую, самую преданную любовь к детям. Он был для своих учеников не учителем только, — этот редкий по душевной чистоте и мягкости любвеобильного сердца человек был для своих питомцев скорее любящей ма-

терью, жившей одними с ними радостями и горевавшей их неудачами и печалями. Школа была его домом, школьники его семьей, для которой он работал, не покладая рук своих. И как радовался он, какой радостью светились его добрые глаза, когда из его «детей» выходил прок, когда они, с его ближайшей духовной и материальной помощью, выбивались на торную дорогу. С каким вниманием следил Сергей Александрович за индивидуальными наклонностями и способностями своих учеников. Каждого из них он знал так, как в наше время редкий отец знает собственного сына. И стоило только мальчику обнаружить хотя какой-нибудь талант, чтобы чуткий отец-учитель сейчас же пришел на помощь его развитию. Сергей Александрович «выводил» многих крестьянских юношей в учителя, священники, художники и прочее. Один из его учеников — известный художник Н. П. Богданов-Бельский, и все его школьные жанры, столь известные, происходят именно в Татевской школе, все действующие в них лица — портреты с членов Татевского школьного мира; на двух картинах «Умственный счет» и «Воскресное чтение» изображен и сам Сергей Александрович».

Вот еще несколько наугад взятых примеров: трудовое братство, основанное Неплюевым в Глуховском уезде Черниговской губернии («Православное Крестовоздвиженское Трудовое братство»), и большое дело, осуществленное графиней Марией Владимировной Орловой-Давыдовой в ее имении Добрыниха (недалеко от станции Лопасня к югу от Москвы) — женский монастырь, приют для стариков, больница, женская рукодельная школа, иконописная школа, при чем кадры пополнялись почти исключительно из местного крестьянского населения. Вспомним еще, как заботился Хомяков о переведении своих крестьян на легкое оброчное положение и о заключении с ними, по добровольному с ними соглашению, выгодных для них и приемлемых для них договоров («рядов»). Письма его полны этим. Так с удовлетворением пишет он в одном письме: «Другое дело у меня хорошо ладится: это уничтожение барщины» (VIII, 271). Хомяков был вообще одним из ревностнейших подготовителей освобождения крестьян и писал между прочим, что раб может быть христианином, но что он не знает, может ли владелец рабов быть христианином. А глубоко плодотворная деятельность мировых посредников по проведению в жизнь законоположения об освобождении крестьян. А подготовление крестьянской реформы, например, художественным и человечно-любовным, чуждым, однако, тенденциозности, изображе-

нием типов и быта крестьянского населения в «Записках охотника» Тургенева. И т. д., и т. д.

Хочу закончить этот беглый, слишком беглый очерк — ибо по вопросу о деятельном служении народу со стороны культурного класса в деревне и о плодотворной встрече с народом можно было бы сказать еще бесконечно много — цитатой из письма одного из главных деятелей по освобождению крестьян — Юрия Самарина. от 22-го апреля 1872 года. Он пишет из деревни, где он наладил школу для крестьянских детей.

«Моя вторая школа совершенно другого рода: младшему из посещающих ее учеников 40 лет. Уже несколько лет, как прихожане нашей деревни собираются по воскресеньям между утреней и обедней в волостном правлении послушать, как им читает вслух один старик крестьянин. Часто у него голоса нехватало, тогда я предложил свои услуги. Сначала нужно было, чтобы не спугнуть моих слушателей, продолжать читать им «Четьи Минеи». Потом я мало-по-малу привел их к тому, что они начали спрашивать меня объяснения богослужений и церковных песнопений, и теперь я прохожу с ними последовательный курс вероучения. Сегодня комната была переполнена. Нечего и говорить, что при этих уроках я сам еще больше учусь, чем учу. Какая это тайна — религиозная жизнь народа, предоставленного самому себе и при том невежественного, как наш народ. Ставишь себе вопрос, откуда эта жизнь... Наше духовенство не занимается религиозным учительством, оно только совершает богослужение и таинства...» Самарин поражен религиозной необразованностью народа, даже «Отче наш» он коверкает так, что теряется всякий смысл. «И тем не менее во всех этих невозделанных умах воздвигнут, как в Афинах, неизвестно кем поставленный, жертвенник Неведомому Богу. Для всех их руководство божественной воли при всех обстоятельствах жизни настолько очевидно, что, когда приходит смерть, эти люди... открывают ей дверь, как давно жданному гостю. Они «отдают душу своему Богу» в буквальном смысле слова [123]».

Без всякой ложной идеализации Самарин подошел здесь вплотную к глубоко-христианским истокам многих явлений во внутренней жизни русского народа, к тому, что Тютчев ощутил, когда говорил об «удрученном ношей крестной, Небесном Царе», который в рабском виде, благословляя, от края и до края исходил его родную землю, в ее бедности и страдании.

5.

И здесь, может быть, уместно — особенно ввиду трагического конфликта между усадьбой и деревней, вернее, между усадьбой и взбудораженными волнами народного моря, конфликта, закончившегося уничтожением усадьбы, — со всей определенностью и заостренностью поставить еще раз вопрос, который уже представился нашему взору, более того — который все невидимо присутствовал при нашем изложении: насколько эта культурная традиция, о которой шла речь, общенародна. Ведь в значительной степени — в 19-м веке по крайней мере, веке ее особенно пышного творческого расцвета — была она культурой высших классов, особенно дворянского класса. Но есть ли она лишь маленький остров, окруженный морем чуждой ей народной стихии и бесследно поглощенный и уничтоженный им в годину революции? Не есть ли эта культура искусственный оазис, оранжерейный цветок среди безбрежной степи этой дикой стихии, не имевший в нем корней и потому обреченный на гибель?

Прежде всего скажем, что здесь опасно впасть в демагогическое смешение вопроса о том или ином слое, являющемся в тот или иной момент главным носителем культуры, с вопросом о *внутренней сущности* и укорененности самой этой культуры. Моя принадлежность к тому или иному слою не предрешает еще вопроса о ненародности или народности культуры, мною представляемой. Единственный здесь решающий аргумент: «Приди и виждь» . . . Но ответ на этот вопрос собственно уже был нами дан, он уже явствует из всего предыдущего. Если эта культура — остров, то он питается из окружающего его океана, он вырос из него. Впрочем этот образ неудачен, неадэкватен: не остров, а дерево — глубоко укорененное в народной почве, *в общей с народом* почве — той же природной жизни, той же душевной стихии, тех же глубин, тех же испытаний и искушений, тех же нравственно питающих сил, возвышающих душу. На этом мы еще подробнее остановимся дальше. Огромная популярность русской классической литературы, как раз теперь, среди самых широких кругов подсоветского читающего населения, свидетельствует об этом. Пора перестать «разыгрывать» цвет русской народной культуры против ее корней, и наоборот. Последнее делают большевики (а до них отчасти уже некоторые революционные круги старой России), а первое было на руку тем врагам русского народа, которые отрицали его нации-

ональное творческое лицо («болотные люди») и его национально укорененную культуру. То, что носителем культуры в 19-ом веке были в значительной степени (но далеко не исключительно) дворяне, ничуть не меняет дела: эти дворяне, как и другие, не-дворяне, были теснейшим образом связаны с истоками русской национальной жизни, творили не узкоклассовое (великое и прекрасное не может быть узко-кастовым), а национальное дело, сохраняя при этом большей частью и все очарование специфически дворянской культуры, как одной из *разновидностей* обще-национального. Но прежде всего: в их творениях отразилась русская народная душа — так подлинно и истинно, в разнообразнейших своих проявлениях и в самых глубинах своих, что никакая культура никакого народа не отражала и не выявляла более ярко его внутреннейшую душу. Оставим натравливание, «разыгрывание» одного слоя русской культуры против другого (не отрицаю при этом великих социальных несправедливостей в прошлом русского народа): она — *русская*, она, и на вершинах своих в лице тех своих представителей, что обильно и любовно восприняли самое утонченное наследие прошлого и усвоили все богатство культурное Запада в синтезе с традицией патриархально-религиозного, отеческого уклада жизни и родной старины; они в этом утонченнейшем цвете своем — в «Войне и мире» Толстого, в стихах Тютчева и Пушкина, на вершинах русской религиозной мысли и русского музыкального творчества — глубоко и прежде всего русская и *принадлежит, как таковая, всему русскому народу.*

Но, более того, не только русская она на высотах своих, но имеет и сверхнародное, общечеловеческое значение: ибо черпала из глубин, которые глубже и исконнее даже первичных глубин народной жизни, ибо ими живет и отдельный человек, и народ, и засыхает и умирает духовно, когда отрывается от них.

6.

С природной тишиной, с красотой и миром русских просторов и с молчаливой жизнью русских лесов связано и русское отшельничество и пустынножительство. И оно, это пустынножительство, в своих истинных представителях, было усиленной внутренней работой, по своей напряженности и значительности часто превосходящей все другие, — собиранием духовных сил для горящего духовного творчества, соз-

дания в себе и других нового человека. Говорю о подлинном пустынножительстве, не о соблазнительной часто жизни, особенно в позднейшие времена, больших пристоличных, да и ряда других монастырей. Достаточно существование одной только Оптиной пустыни с ее духовно-очищающим и укрепляющим воздействием и на верхи и на низы русского народа (неизмеримо широкое воздействие на низы, но и на Достоевского и на братьев Киреевских, а через них на всех других славянофилов, и на Гоголя, и на Владимира Соловьева, и на Константина Леонтьева, и, даже, на Л. Н. Толстого и на многих, многих самых выдающихся представителей русского высшего культурного класса, русской духовной творческой культуры), чтобы снять с русского пустынножительства 19-го века огульное обвинение в бесплодии и паразитизме. А Оптина пустыня была не единственным примером. Везде, даже среди сильно развращенных некоторых пристоличных монастырей, были островки усиленной внутренней духовной жизни, трудолюбивой, смиренной, излучающей свою духовную помощь широким кругам народа. Особенно же эти питающие центры духовные были живы в скитах и в более бедных, более уединенных монастырях, более отдаленных от центров (на Валааме, в Глинской пустыни, в Зосимовой пустыни к северу от Сергиево-Троицкой лавры, и т. д.). В героический же период русского монашества — в 14-ом, 15-ом и 16-ом веках — эта жизнь духовная была еще интенсивнее, это общенародное педагогическое воздействие монастырей, с их смиренным служением и физическим и культурно-просветительным и духовным нуждам народа, пылало еще гораздо более ярким светом. Они были тогда живыми носителями *деятельного сострадания,* направленного на физические и духовные нужды народа. Достаточно вспомнить, например, о таких носителях деятельного сострадания к народным массам, как Дионисий Глушицкий (1364-1437), Корнилий Комельский (1455-1537) и Тихон Задонский (1724-1783), или Сергиево-Троицкая обитель в Смутное время. И вместе с тем были и остались они и позднее, до самых большевистских времен, в лучших своих представителях (Оптиной пустыни, Гефсиманском скиту у Сергиевской лавры, Саровской пустыни и т. д.) живой *лабораторией* жизни духовной, а отсюда — питающим центром для духовной и молитвенной жизни народа. Здесь, в тиши, создавались духовные ценности и изливались не только на свое ближайшее окружение, но и на сотни тысяч народа, приходивших со всех сторон

России за духовным подкреплением, за советом и наставлением духовным. Это были — особенно там, где были на лицо носители старческой традиции, этого столь характерного явления русской религиозной жизни 19-го века, — так сказать, «духовные амбулатории», духовные «питательные пункты» народа. Но на характере и сущности «окормления» духовного остановлюсь позднее в последней части книги (в главе о русских праведниках). Здесь подойду к этому явлению русского пустынножительства лишь с более внешней стороны — по связи его с русской природой, с умиряющим и сосредоточивающим душу для духовного и творческого напряжения воздействием тишины русской глуши: лесных чащ и водных просторов.

Ясно выступает интимная связь с умиряющей душу тишиной природной жизни, с чащами лесов, безмолвными просторами больших русских озер и рек в том, что можно было бы назвать «эстетикой» русского пустынножительства. Уже в аскетически настроенных духовных стихах, которые широко пелись в народе, среди странников и слепых певцов-профессионалов, прославляется «матерь-пустыня». Справедливо отмечалось большое значение, которое имела пустынная, сосредотачивающая душу красота природы на выбор местоположения для уединенных келий, позднее скитов и монастырей. «Суровый вид природы», пишет Иконников, «особенно привлекал отшельников. Нередко упоминается, что они селились в глухом лесу»[124]). Пустынники останавливались перед местностью, поражавшей их то своей дикостью, то красотой природы. Место, избранное для подвигов Антонием Сийским (его вторая пустынь) — так передает нам его древнее житие — «в горах бяше, горами яко стенами ограждено, в долу же гор тех бяше езеро, . . . на горах же тех лес велик зело видети; в подгории же гор оных стоит келия святого, окрест же ея дванадесять берез, яко снег белеюще. Плачевне же есть место сие вельми, якоже кому пришел посмотрити сию пустыню, зело умилитися имать, яко самозрение места того в чувство привести может зрящих его» [125]). Других привлекали более идиллические, мирные, менее дикие картины природы.

Жизнеописатели обыкновенно описывают красоту местности с сочувствием.

«Деревья и вода считались необходимой принадлежностью для умиления сердца. Кирилл Белоозерский с высоты горы Мяуры пле-

нился обширным пространством, покрытым озерами и лугами и орошенными рекой Шексной. Филипп Иранский выбрал красивое место на берегу реки Андоги (в Белозерской стороне) под развесистой сосной. Герасим Болдинский поселился под огромном дубом; Ферапонт Можайский между двух озер; Кирилл Новоезерский под елью на крутом берегу Нового озера. Кирилл Челмский избрал для жительства гору Челм в 50 верстах от Каргополя. По обеим сторонам ее лежали два озера, из которых одно выпускало реку. Гора была покрыта лесом. Трифон Вятский избрал местность на реке Мулянке (возле нынешней Перми), окруженную густым лесом и благоухающую цветами. Поселяясь у реки, отшельники предпочитали место у ее устья, где она впадает в большую реку. В местах озерных они селились нередко на островах. Остров Палий, на котором жили Корнилий и Авраам Палеостровский, представляет живописную местность. С вершины отвесной скалы его открывается панорама всего Онежского озера, во всей его дикой красоте [126])».

Составитель древнего жития преп. Александра Свирского рассказывает, что красота природы поразила подвижника, когда он пришел на прежде показанное ему место.

«Место же то, идеже преподобный Александр вселися ... бор бяше; лесом же и езеры наполнено вельми и красно бяше отовсюду [127])».

Недаром в своей привлекательной книге о Сергии Радонежском, Борис Зайцев говорит о «запахе смолы», который как-бы ощущается в этих старинных описаниях лесной отшельнической жизни преподобного. То же можно сказать о многих других, особенно северно-русских житиях. Это понял и воплотил Нестеров в своих проникновенных картинах, посвященных северно-русскому отшельничеству, с их лесными зарослями и широкими далями. Какая тишина охватывала вас во многих русских лесных обителях, например, в Елиазаровской обители близ Пскова, или в Зосимовой пустыни к северу от Москвы, или, например, в этой идиллической Китаевой пустыни среди леса над круглым озером неподалеку от Днепра к северу от Киева. Вот как набрасывает несколько картинок Валаамской тишины и умиренности Борис Зайцев в своей книжке о Валааме:

«Дорога медленно плавными полукругами спускалась вниз. Справа, слева открывались леса, кое-где блестело серебро пролива. Далеко над лесом воздымались колокольни монастыря. Очаровательны

такие монастырские дороги на Афоне ли, на Валааме — меж лесов, в благоухании вечера, наступающего, в тишине, благообразии святых мест. Незаметно будто-бы, но нечто входит и овладевает путником... Слева озерцо, узкое и длинное, с плавающими по воде желтыми березовыми листьями. И справа озеро, тоже малое и тоже зеркальное. Кругом лес, тишина. Прямо перед нами церковь, и у входа о. Николай схимник и пустыножитель»...

А жизнь в Рославльских дремучих лесах подвижников и отшельников конца 18-го и начала 19-го века, а жизнь в Саровской и Оптиной пустыни.

Эту духовную красоту просветленных молитвенным созерцанием лесов или просторов ощутил — как мы уже видели — К. Леонтьев, ее угадала под конец жизни, например, и чуткая душа Чехова. В своих отрывочно набросанных и тем более ценных заметках о Чехове («Из записной книжки»), Иван Бунин вспоминает про него:

«Последнее время он часто стал мечтать вслух: «Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...» — До самой смерти росла его душа.» прибавляет Бунин.

Здесь Чехов, как и в своем замечательном (последнем) рассказе «Архиерей» и в своем очерке «Святой ночью» творческой интуицией художника и тоской своей жаждущей мира и духовной *опоры* души прикоснулся к некоторым основным, глубинным струям русской духовной жизни. Но дело, конечно было не в идиллической настроенности умиряющего душу ландшафта и всей окружающей обстановки, а в *новой жизни подвига*, мужественно будящего душу, в сосредоточенной и излучающей свет и любовь молитвенной жизни тех великих праведников и угодников, которые в своей напряженной, творческой тиши — как мы уже указывали — были центрами духовного горения и вместе с тем духовного воспитания народа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВСТРЕЧА ВОСТОКА И ЗАПАДА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА

1.

Огромно очарование русской культуры XIX века. В ней звучат и перекликаются призывы русских степей и равнин («Край ты мой, родимый край: конский бег на воле! ..»), веяния античной красоты, Восток и Запад, свое и чужое, романтически-юношеский зов в даль и уют русского семейного уклада, «преданья русского семейства», говоря словами Пушкина. Здесь и напряженное искание мысли и стихийная захваченность красотой полей и лугов («Раззудись плечо, Размахнись рука, Ты подуй, повей, Ветер с полудня!»), и жаркие споры юношей о конечном смысле жизни, и живые источники религиозного питающего опыта в глубинах души, живое церковное предание — семейное, народное и вместе с тем, сверхнародное. Традиция и — динамика, или еще вернее: динамическая традиция, ибо подлинная духовная традиция всегда динамична. В глубинах семейной жизни, в общении родителей с детьми, в материнской любви и ласке и материнском наставлении, в нравственном примере отца и матери — вот те незаметные, тихие потоки духовной жизни, духовного предания, которые оплодотворяют души детей, и все это — укорененное в живом опыте Церкви, в живом предании, в живой динамике христианского благочестия. И это соединяется на вершинах культурной жизни с *раскрытостью духовной* — навстречу всем тем веяниям Красоты, честным исканиям научной и философской, а также и религиозной мысли, приходящим с Запада. На вершинах культурного творчества — не капитуляции перед духовным импортом Запада, но и не слепое преклонение перед собственным прошлым, и его духовным и моральным наследием, а соединение духовной открытости с духовной укорененностью, динамики и традиции. Не всегда это было, и как

разрушительны были, с одной стороны, безудержный, морально безответственный и духовно легковесный голый динамизм, без задерживающих, просветляющих центров, а, с другой стороны, косное отрицание всякой динамики, полное отождествление некоторых — весьма часто почтенных и привлекательных — внешних форм традиции с питающим их (или долженствующим их питать) духовным содержанием, поклонение внешней букве только, с пренебрежением к творчески преображающей, творчески оплодотворяющей жизни Духа. Но как часто оба эти элемента соединялись: и *раскрытость* духовная и *укорененность* в жизни духа, в жизни *предания*, с его творчески оплодотворяющей силой! Лучшее в русской культурной и духовной жизни родилось отсюда.

2.

Особенно значительно для русской культуры 19-го века творческое взаимодействие Запада и Востока, творческий синтез родного, своего и западно-европейского духовного достояния. Высшие плоды художественной и мыслительной культуры Запада (не все, конечно, и не все в равной степени) воспринимаются с горячей любовью, как нечто дорогое и близкое, как нечто духовной «свое», питающее и вдохновляющее душу, пробуждающее творческие силы. И вместе с тем — и в этом особенность расцвета русской культуры 19-го века — это идет рука об руку с необычайным подъемом национального самосознания, с кипением творческих сил, поднимающихся из глубины народной жизни и связанных с национальной историей, с судьбами русской государственности, со всей русской культурной и духовной традицией и ее питающими религиозными корнями. Тут не было внезапного, мгновенного переворота, тут было нарастание. Но сыграло решающую роль огромное потрясение народной души, охватившее и массы простого народа и высшие классы и царя и его окружение, и имевшее место в войну 1812 года. Через него высшие классы особенно сильно и остро ощутили свою глубокую укорененность в народной жизни, в русской духовной традиции. Можно сказать поэтому, что драматические переживания 1812 года, до глубины потрясшие народную душу, в совершенно исключительной степени оплодотворили русское культурное развитие 19-го века. Можно сказать, что после потрясающих мировых событий 1812-1814 гг. русские

образованные люди (особенно же представители молодого поколения) почувствовали себя *более русскими,* и вместе с тем (или может быть, именно поэтому) и в *большей мере европейцами,* чем раньше. Ощутили это остро, с чувством духовного подъема.

3.

Известны слова отца славянофильства, Хомякова, свидетельствующие о некой романтической любви к духовным ценностям в прошлом Западной Европы:

«О грустно, грустно мне. Ложится тьма густая
На дальнем Западе, *стране святых чудес.»*

Помните, как Версилов в «Подростке» Достоевского описывает это восторженно-любовное отношение образованного русского в середине XIX века к старым культурным и духовными ценностями Запада, которые ощущаются такими *своими.*

«Русскому Европа также драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. О, более. Нельзя более любить Россию, чем люблю я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями» . . .

Русский проэцировал в Европу всю романтику ее культурного прошлого и свою романтическую тоску по «стране святых чудес». Во второй половине 18-го и в самом начале 19-го века такой страной чудес для образованного русского были прежде всего Франция и Париж.

«Друзья, сестрицы. Я — в Париже.
Я начал жить, а не дышать.
Садитесь же друг к другу ближе,
Мой маленький журнал читать», —

восклицает поэт Дмитриев, пародируя Василия Львовича Пушкина в начале XIX века. Еще раньше (в 1789 г.) моло-

дой Карамзин так описывает в «Письмах русского путешественника», как он подъезжал к Парижу:

«Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли мы увидим его. Наконец, открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ее, Париж ... Сердце мое билось. Вот он — думал я — вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал ... Вот он ... я его вижу, я буду в нем ... Ах, друзья мои, сия минута была одной из приятнейших минут моего путешествия. Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, — с таким любопытством, с таким нетерпением ...»

Но революция, а потом войны с Наполеоном несколько отдалили русскую душу от Франции, и влияние немецкого культурного обновления, немецкого классицизма и романтики, немецкой философии и науки, охваченных новыми веяниями, все более и более влекли молодых русских на родину Шиллера и Гете. Этот повышенный интерес к немецкой культурной жизни намечается уже в тех же «Письмах русского путешественника». Он посещает Канта в Кенигсберге и долго с ним беседует. Так описывает молодой Карамзин свой въезд в Веймар:

« ... У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» — «Здесь, здесь, здесь», отвечал он — и я велел постиллиону везти себя в трактир «Слона». Наемный слуга был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? Нет, он во дворце». Тот же ответ получает он и относительно других знаменитостей. «Во дворце, во дворце, повторил я, передразнивая слугу, — взял трость и пошел в сад» ...

Рейн уже полн для него романтического очарования, которое будет он иметь потом для многих русских:

« ... Любезные друзья. Как радостно билось мое сердце. Рейн! Рейн! Наконец вижу тебя, думал я, — вижу и благословляю царя вод

германских в гордом его течении... Мысль, что пью рейнвейн на берегу Рейна, веселила меня, как ребенка. Я наливал, пенил, любовался светлостью вина, потчивая сидевших подле меня, и был как царь...»

В течение всего 19-го века, особенно же в первую половину его — но и позднее, романтичекое восприятие Западной Европы встречается у многих русских людей. И не удивительно: Запад воспринимался издалека, сквозь поэтическую дымку старых замков, узких и живописных средневековых уличек, величественных средневековых соборов, рыцарства, турниров, императоров, королей, миннезингеров, святых отшельников и чернокнижников-алхимиков, через призму чудесных, таинственных, то романтических, полных грустного очарования, то обвеянных жутью сказаний и легенд средневековья. Это была какая-то поэтическая, давно-давно с детских лет знакомая «родина души». Запад Жуковского, Вальтер Скотта, немецких романтиков. Но Запад и Грановского и Пушкинского «Скупого рыцаря». Неожиданно все прошлое Западной Европы, суровое и поэтическое, раскрылось перед русской душой и очаровало ее. Западная Европа стала созерцаться, прежде всего, сквозь величественную призму ее прошлого в его поэзии и духовной значительности (так и у молодого Гоголя, и у Шевырева, особенно у Чаадаева), но не в меньшей степени и сквозь призму собственной поэтической свежести и юности, собственных духовных исканий и поэтического томления по «иной», лучшей стране самих русских людей. И вместе с тем этот Запад был очагом нового духовного кипения, центром великого искусства — словесного и музыкального, и смелой, оплодотворяющей — пытливой философской мысли и новых горизонтов в науке, раздвинувшихся бесконечно в даль и вглубь и в естествоведении и в истории прошлого и проникнутых одним объединяющим принципом — идеей органического развития. И средоточие всего этого нового, раскрывшего глаза и на старое и учившего его любить и понимать, была прежде всего тогдашняя Германия.

Это настроение так сказывается, например, в письмах молодого Станкевича в конце 30-х годов. Он в восторге, что прибыл в тогдашнюю столицу философской мысли — в Берлин Гегеля и его ближайших последевателей. Он пишет, например, братьям и сестрам и всему своему дружескому кружку вроде торжественного манифеста:

«Слушайте! Слушай ты, маркиз 18-го столетия» ... и т. д... «Внимайте и вы, которых имена не для чего писать ..., но которые делили с нами душу, споры, веселье и скуку, — внимайте! — я в Берлине. Und mich ergreift ein unentwohntes Sehnen ... Что если бы я был в в Берлине в начале 1836 года? Хорошо, что не так случилось. Я бы сошел с ума от новости тех понятий, которые бы мне сообщили. Вам покажется странно, что мы добравшись до Берлина, не пользуемся всеми его сокровищами, но Вердер [128]) и Ранке — два таких сокровища, над которыми нам придется работать до кровавого пота, потому что заниматься не значит ходить только на лекции ... Признаюсь, — Бог привел меня в Берлин — что бы я делал в Италии? [129])»

А при первом только въезде в Среднюю Европу он пишет месяцем раньше (из Карлсбада) своему лучшему другу, Я. М. Неверову:

« ... У меня родилась какая-то болезненная привязанность к Германии — я представляю себе, как я ворочусь домой, как она будет мне сниться, и мне хочется плакать в таком случае, а между тем я не помню ни одного могучего чувства, ни одного сильного душевного наслаждения, которое могло бы освятить для меня память этих мест. Я много надеялся на Германию, в ней ожидал — и ожидаю — душевного возрождения; кроме того, мечты детства, старые рыцарские романы, новые фантастические повести — все это делало для нас Германию привлекательной, да и природа хороша, и следы цивилизации, встречаемые на каждом шагу, в самых мелких подробностях жизни, привлекательны [130])» ...

Что — мы видели — особенно привлекало, это — повышенная умственная жизнь, это — усиленное, казалось, умственное кипение. Впрочем, нередко наступало и разочарование. Русские юноши, более длительно пожившие на Западе, с огорчением убеждались в глубокой разнице основной духовной настроенности своей и западной, более того, они приходили к убеждению, что духовное мещанство есть доминирующий, может быть, тон западной жизни, не исключая и рассадников культуры — университетов, и жизни университетской молодежи и даже многих корифеев западной науки и мысли. То, что издали казалось манящим, романтическим, вблизи часто оказывалось весьма нудным, серым, дюжинным и мещанским. Поэтому, например, впечатления молодого Ивана Киреевского от университетских занятий и всей жизни в Германии смешанное. Он в том же Берлине

(а потом в Мюнхене), но на 7 лет раньше Станкевича, так что застал еще Гегеля. Настроение, с которым он приехал работать и доканчивать, углублять образование (ему 23 года), ясно проглядывает в этих словах первого письма его к родным в Москву из Берлина:

«Я стал так деятелен, как не был никогда. На жизнь и на каждую ее минуту я смотрю как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и которую, следовательно, я не могу бросить на ветер. Иногда мне кажется, что такое состояние души и его причина есть особенное благодеяние моего Ангела Хранителя, в которого я верю [131])...»

Он слушает Гегеля, знаменитого богослова Шлейермахера, знаменитого географа Риттера, историка Раумера, юриста Ганса, позднее в Мюнхене Шеллинга. Его ум оплодотворяется, работает, вызывается на противоречие, он увлечен этим окружающим его умственным движением. Он лично познакомился с Гегелем, и только что был у него на дому в среде избранных умов:

«За полночь. Сейчас от Гегеля и спешу писать к вам, чтобы поделиться с вами моими сегодняшними впечатлениями, хотя не знаю, как выразить то, до сих пор неиспытанное расположение духа, которое насильно и как чародейство овладело мной при мысли: я окружен первокласными умами Европы [132])» ...

Мы знаем его дальнейший философский путь: оплодотворенный немецкой философией Шеллинга, он чувствует потребность противопоставить теоретической философии философию *духовного опыта*, духовного роста, того истинного «целостного» познания, которое идет рука об руку с *внутренним изменением, духовным преобразованием* самого познающего субъекта. Тут руководителями его явились великие учители духовной жизни — Восточные Православные наставники и отцы: Исаак Сирин, Макарий Египетский, авва Дорофей и др. Этот решающий сдвиг во всей постановке вопроса сделал Киреевского одним из крупнейших религиозных мыслителей 19-го века и родоначальником русской религиозной философии.

В общем тоне жизни Германии он все больше разочаровывается. Его угнетает особенно массовое начало, дюжинность, которую он усматривает в психике немецкого народа:

«Все что выходит из однообразных колей их жизни и разговоров, кажется им признаком гениальности. Я вслушивался в разговоры простого народа на улицах и заметил, что он вообще любит шутить но с удивлением заметил также, что шутки их почти всегда одни и те же. Сегодня он повторит с удовольствием ту же замысловатость, которую отпустил вчера, завтра тоже, не придумав к ней ничего нового, и, несмотря на то, повторит опять, покуда какой-нибудь Kerl выучит его новому, и это новое он поймет и примет не прежде, как слышавшие раз 20 от других» [133]). ... Иногда его любовь к своему народу и внутреннее отталкивание от немецкого настолько заостряются, что он теряет объективность: «Вообще все русское имеет то общее со всем огромным, что его осмотреть можно только издали. Если бы Вы видели, чем восхищаются немцы, и еще каким нелепым восторгом. Нет, на всем земном шаре нет народа площе, бездушнее, тупее и досаднее немцев. Булгарин перед ними гений ...»

Еще более резко выражается его отталкивание от Германии (несмотря на весь интерес к шеллингианству, даже увлечение им) в письме к сестре от августа 1830 года:

«Оттого, чтобы прогнать немцев из моих русских снов, присылай мне скорее свой портрет. Насмотревшись днем на него, на брата, на Рожалина и на все, что приехало из России, я надеюсь по крайней мере во сне освободиться от Германии ... [134]).

Таковы же приблизительно были односторонне-заостренные впечатления Гоголя от Западной Европы: Франции и особенно Германии. В письме к М. П. Балабиной из Рима он пишет:

«Вы мне показались теперь очень привязанными к Германии. Конечно, не спорю, иногда находит минута, когда хотелось бы из среды табачного дыма и немецкой кухни улететь на луну, сидя на фантастическом плаще немецкого студента, как, кажется, выразились Вы. Но я сомневаюсь, та ли теперь эта Германия, какою ее мы представляем себе. Не кажется ли она нам такой только в сказках Гофмана? ... Та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии, исчезла, когда я увидел Германию в самом деле, так, как исчезает прелестный голубой колорит дали, когда мы приближаемся к ней близко [135])» ...

Со всей силой упрек в узости духовной и мещанстве духа бросается, как известно, Герценом по адресу Франции

и вообще западного мира: «Мещанство — вот последнее слово цивилизации», пишет он в 1869 году.

Славянофилы нашли объяснение этому росту на Западе убивающего душу мещанства с его внутренним выветриванием жизни и культуры — объяснение, оставшееся чуждым Герцену — в прогрессирующем отмирании на Западе религиозного начала (оказалось потом, что не только на Западе), во все большем вытеснении его из решающих сфер жизни.

Но Англия производит, например, на Хомякова, несмотря на все его славянофильство или, может быть, именно вследствие его, очень привлекательное, очаровывающее впечатление — своей укорененностью в традиции. «Эта цепь предания не прерывается в Англии», пишет он в очень замечательном своем «Письме об Англии» в 1847 году [136]).

С сочувствием выделяет он в другой своей статье черты английской народной жизни:

«Действительно, Англия отличается во всем от прочих народов Европы. Она — страна передовая, страна постоянных нововведений, за которыми не угонится подражание; она же и страна сохраненной, невымирающей старины... Странная земля! Она как-то догадалась, что только то охранительно, что движется вперед, и только то прогрессивно, что не отрывается от прошедшего. Другие страны Европы подчинились законам химическим и механическим, Англия одна живет по физилогическому закону. Эта своеобразная жизнь является в своем начале, в воспитании, и потому английская система воспитания совершенно разнится от всех других. Она представляет в себе общие черты самой страны, и не даром прусский король сказал, любуясь Оксфордом: «Как все здесь ново и как все здесь старо [137])».

Недаром сам Хомяков в письме к ученому английскому богослову Пальмеру (побывавшему в России) посылает привет этому Оксфорду, который так ему полюбился: «Дружеское приветствие всему милому Оксфорду, с его 12-ю колледжами, зелеными лугами, густой тенью деревьев, с его спокойствием и миром» [138]).

Но вместе с тем Хомяков видит соблазн, вытекающий для Англии из ее богатства и могущества и из эгоистического служения этим земным идеалам:

Дочь любимая свободы,
Благодатная земля,
Как кипят твои народы,
Как цветут твои поля,
Как державно над волною
Ходит твой широкий флаг.
Как кроваво над землею
Меч горит в твоих руках.
Как светло венец науки
Блещет над твоей главой,
Как высоки песен звуки,
Миру брошенных тобой...
Но за то, что ты лукава,
Но за то, что ты горда,
Что тебе мирская слава
Выше Божьего суда;
Но за то, что Церковь Божью
Святотатственной рукой
Приковала ты к подножью
Власти суетной, земной: —
Для тебя, морей царица,
День придет, и близок он.
Блеск твой, злато, багряница,
Все пройдет, минет как сон...

Правда, это стихотворение написано в 1836 году, до непосредственного личного знакомства его с Англией (где он был в 1847 году).

Наряду с хомяковским искренним увлечением привлекательными сторонами английской жизни (но и отрицательные, как мы уже видели, не скрылись от его взора) имеем конечно нередко смешную внешнюю англоманию среди представителей высшей знати, как раньше — в еще большей степени — распространена была поверхностная и глупая галломания.

Одна страна производила больше всего очарования и оставалась романтической «родиной души» и после близкого знакомства с ней и в своих буднях и в своей непосредственной народной жизни. Одна страна и один народ, в своей непосредственности и наивности, при всех сокровищах культуры и красоты, именно в этом своем сплетении красоты и многовековой сказочной культуры с наивностью и полуди-

кой непосредственностью большого ребенка, были и остались особенно близкими и дорогими и родными сердцу многих образованных русских (конечно, не только русских, но и многих верных любителей из других стран) — Италия. Уже Пушкин издали вздыхал о ней:

Адриатические волны,
О Брента! Нет, увижу вас . . .

Его желанию не пришлось сбыться. Но, так сказать, внутреннюю, поэтическую «родину» нашла себе на некоторое время в Италии, а особенно в Риме, мятущаяся душа Гоголя. «Влюбляешься в Рим», пишет он уже вскоре после приезда [139]), «очень медленно, понемногу — и уже на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить». Его письма первого его римского периода, продолжавшегося около двух лет, полны этих выражений безграничного восторга и привязанности к Риму:

«Когда я увидел наконец во второй раз Рим, о как он показался мне лучше прежнего. Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила прежде меня, прежде чем я родился на свет. Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колизея; опять те же кипарисы, эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе, тот же чистый воздух, та же ясная даль, тот же вечный купол, так величественно круглящийся на воздухе . . . Но Вы знаете, почему он прекрасен? Где Вы встретите эту божественную, эту райскую пустыню посреди города? Какая весна! Боже, какая весна! Но Вы знаете, что такое молодая, свежая весна среди дряхлых развалин, зацветших плющем и дикими цветами. Как хороши теперь синие клочки неба промеж дерев, едва покрывшихся свежей, почти желтой зеленью, и даже темные, как воронье крыло, кипарисы, а еще далее — голубые, матовые, как бирюза, горы Фраскати и Албанские, и Тиволи [140])» . . .

«Ну что тебе еще сказать?» — пишет он через месяц Данилевскому: «Только и хочется говорить о небе, да о Риме» [141]). — «Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел было сказать — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость» [142]).

4.

Оставим, однако, путешественников и возвратимся к проблеме творчески-плодотворного взаимопроникновения культур в русском обществе, в частности в лоне патриархальной и культурной русской семьи 19-го века. Мы видели, как члены этих семей, или друзья их, переживали свою духовную встречу с Западом в бытность за-границей. Но встреча с лучшими произведениями духовной жизни Запада, с, так сказать, духовным экстрактом из западной культуры, происходила в 19-м веке в значительной степени уже и до всяких образовательных путешествий за границу: в кругу самой семьи, еще в детском и юношеском возрасте. Что первое время (особенно в 18-ом и в начале 19-го века) было много неорганического, смешного, жалко-подражательного, рабского в этом отношении к западным влияниям, это в достаточной мере известно. Об этом красноречиво свидетельствуют такие сатиры, как «Бригадир» Фонвизина, «Урок дочкам» Крылова и гениальное «Горе от ума» Грибоедова. Но мало-по-малу это преодолевалось, Преодолено это было — и даже весьма рано — в первую очередь в тех семьях, где особенно сильно продолжало жить *свое*, укорененное в родной почве, связанность с народом и родной стариной, и где жизнь протекала на лоне Церкви. Впрочем, целые поколения, особенно то, что созрело непосредственно после 1812 года, — поколение Пушкина, славянофилов, их друзей и современников, потрясенное до глубины души событиями Наполеоновской эпохи и оплодотворенное ими в своем национальном чувстве, — были призваны на своих плечах вынести эту работу: осуществление в самих себе этого синтеза и проложение ему русла в жизни русского общества. В этом роль, повторяю, событий 1812 года поистине огромна, не поддается никакому учету и является ключем к тому необычайному избытку творческой энергии и духовного подъема, пробудившемуся вслед за годами освободительных войн в России. Примерами такого синтеза являются все действительно духовно значительные русские люди того времени. Не говорю уже о Пушкине, о первых славянофилах и их друзьях, но вот — мы видели — хотя бы несколько старший современник Пушкина, князь Петр Андреевич Вяземский. Его дом в Остафьеве есть живой, насыщенный центр культуры, огромной культуры. Это — целый музей замечательных произведений западного искусства; тут же огромная библиотека в 32 000 томов, собранная в значительной степени еще его отцом. И вместе

с тем это — один из главных тогда центров русского культурного общения. Здесь постоянно бывает Пушкин; Карамзин, родственник по своей жене Вяземскому, здесь в течение 12 лет пишет свою «Историю Государства Российского». Сам Вяземский соединяет с высокой западной культурой, с знанием Запада, с внутренним приятием петровской реформы не только как совершившегося факта, но и как необходимого приобщения России к Западной Европе, с убежденным и вместе с тем трезвым «европеизмом» — сильную и глубоко укорененную «русскость», горячую, сердечную любовь к русской стихии, ощущение своей собственной исконной принадлежности к ней. Эту русскую стихию он умеет усматривать в разнообразных ее проявлениях. Он ощущает ее не только в гуще народа, но и во многих представителях высшего русского общества, например, в вельможах Екатерининского времени, в сановных стариках — друзьях своего покойного отца.

«Есть некоторый склад ума, некоторое балагурство, краснобайство, которое так и пахнет Русью, и этот запах чуется не только в том, что называется у нас народом, — нет, не во гнев будет сказано оплакивающим разъединение высшего общественного класса с низшим, — нет, этот склад, этот норов русского ума встречается не только в избе, на площади, на крестьянских сходках, но и в блестящих салонах, обставленных и проникнутых принадлежностями, воздухом и наитием Запада [143])».

Этой русской стихии в высшем московском обществе начала 19-го века посвящает он блестящую статью: «Допотопная и допожарная Москва» (1865 г.).

«Мне часто приходило на ум», пишет он в своей записной книжке, — «написать свою «Россиаду», не героическую, не в подрыв Херасковской, не «попранну власть татар и гордость низложенну» (Боже упаси!), а «Россиаду» домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных «руссизмов», не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящимся к нравам; одним словом собрать по возможности все, что удобно производит исключительно — русская почва, как была она подготовлена и разработана временем, историей, обычаями, поверьями и нравами исключительно русскими».

Изданное им под старость собрание собственных стихотворений характерно уже самым заглавием своим: «В дороге и дома». «В дороге» распадается на путевые картины отдель-

ных стран: России, Востока, Германии, Швейцарии, Италии, Франции и Англии. Особенно известно стихотворение «Масляница на чужой стороне» с этим ярким ощущением вольной родной стихии душевной и природной — в противовес мещанству жизни на Западе.

А Тютчев! Блестящий европейский дипломат, расцвет юности и зрелых лет своих проведший заграницей, проникший в душу итальянской красоты, чувствовавший себя как дома в Мюнхене и на Женевском озере и в Риме, блестящий французский каламбурист, остроумнейший салонный собеседник, вдохновенный оратор в дружеском кругу и в салонах на политические, религиозные, нравственные темы, с молниями остроумных сарказмов, шуток, негодования и глубоких творческих озарений, которые вспыхивали в его речи и обдавали окружающих потоками искр — и все это на идеальнейшем французском языке — Тютчев, эта квинтэссенция утонченнейшей культуры Запада, соединенная с преизбыточествующим, гениальным богатством чисто-русского темперамента, живой укорененностью в *своем*, родном! Ибо кто более его врос корнями в эту стихию русской природы, и какая это была типичная русская мятущаяся душа! И в его доме — объединение западной образованности, западной атмосферы (обе его жены, утонченной душевной культуры были иностранки) с силой русского чувства и русского миросозерцания, что видно, например, из дневников и воспоминаний его талантливой дочери (вышедшей потом замуж за Ивана Аксакова [144]). Впрочем, уже в детстве Ф. И. Тютчева, в его детском воспитании намечались элементы этого грядущего синтеза, как нам рассказывает Иван Аксаков в написанной им «Биографии Федора Ивановича Тютчева» (1886 г.). Господство в семье французского языка, так что не только все разговоры, но и вся переписка между родителями и детьми велись по-французски, не исключало у матери Тютчева, Екатерины Львовны, рожд. Толстой, «приверженности к русским обычаям, и удивительным образом уживалось рядом с церковно-славянским чтением псалтирей, часословов, молитвенников у себя в спальной, и вообще со всеми особенностями русского православного и дворянского быта[145])».

Братья Киреевские с высокой культурой их родительского дома, из которого они вышли в полном смысле образованными европейцами и из которого вынесли то, что потом разгорелось светлым пламенем в их душе и сделало их ос-

нователями религиозно-национальной идеологии славянофильства. Иван Киреевский — так рассказывает нам его полубрат Н. Елагин — «развивался быстро, не говоря уже о том, что он еще в деревне прекрасно выучился по-французски и по-немецки, коротко познакомился с литературами этих языков, перечел множество исторических книг и основательно выучился математике. Еще в Долбине начал он читать философские сочинения, и первые писатели, которые случайно попались ему под руки, были Локк и Гельвеций, но они не оставили вредного впечатления на его отроческую душу. А. А. Елагин, его отчим, в начале усердный почитатель Канта, которого «Критику чистого разума» он вывез с собою из заграничных походов, в 1819 году через Веланского познакомился с сочинениями Шеллинга, сделался его ревностным поклонником, и в деревне переводил его письма о догматизме и критицизме. Прежние литературные разговоры, во время длинных деревенских вечеров, нередко стали заменяться беседами и спорами о предметах чисто философских; и когда Елагины, для дальнейшего воспитания детей, переселились в Москву, молодой Киреевский явился в 1822 г. в кругу своих сверстников знакомым со многими положениями тогдашней германской философии. В Москве он начал учиться по-латыни и по-гречески, брал уроки у профессоров Московского университета; слушал публичные лекции профессора Павлова и выучился по-английски . . . [145a]).

Хомяков пишет свои замечательные «Письма православного христианина» . . . на изумительном, мужественном и блестящем французском языке для напечатания их заграницей, переписывается с Пальмером по-английски на серьезнейшие богословские темы. И вместе с тем он — изумительнейший стилист по-русски: и в своих сочинениях и в своих письмах. Это — голос мужественной простоты и благородства духа. Я не говорю уже о глубине и творческой силе содержания, не с Запада заимствованной, а вытекающей из мистической жизни Православной Церкви.

А какая глубокая и утонченная культурная жизнь царила, например, в доме поэта Баратынского, или писателя и филантропа князя В. Ф. Одоевского —чтобы назвать еще двух представителей того же поколения. А сколько других замечательных или просто более или менее высоко-культурных русских людей начала, середины, конца 19-го века и начала 20-го века соединяло в себе выдающееся обладание плодами западной образованности с глубокой насыщен-

ностью своими национальными и традиционными, при этом религиозно просветленными началами.

Главным же очагом процесса творческого взаимопроникновения этих обоих элементов была — повторяю — русская культурная семья, та семья, из которой вышли многие из величайших деятелей русской духовной культуры 19-го и начала 20-го века.

Итак — я повторяю — для русской великой культуры 19-го века характерна эта творческая встреча между Востоком и Западом, творческое объединение в одно целое элементов Запада и Востока (причем элемент религиозной, духовной жизни играет особенно важную и оплодотворяющую роль). Знание западной культуры и любовь к ее высшим проявлениям в области искусства и мысли, религиозной, философской и общественной, отнюдь поэтому не должна быть (хотя и могла быть) в противоречии с любовью к своему, патриархальному, с органической укорененностью в своем национальном и с духовным питанием из глубин духовного опыта Православной Церкви. Напротив, для великой русской культуры 19-го века было характерно это положительно-любовное отношение к высшим ценностям культуры Запада и внутренняя связанность с ними. Большевики подавляют свободное общение России с Западом и стараются соблазном зоологического псевдо-патриотизма и человеко-ненавистнического шовинизма украсть и залучить душу русского народа, того самого русского народа, который истосковался в цепях большевизма по свободному национальному строительству своей жизни и чьи величайшие национальные святыни были заплеваны и часто уничтожены большевиками. Они поэтому, и здесь опять как и во всем другом, находятся *в самом резком и основоположном противоречии* с питающими основными струями великой русской культурной жизни, более того, с ее *духовным миром,* с ее, может быть, предназначением, о котором говорит Достоевский в своей пушкинской речи: быть соединительным звеном, сохраняя свою самобытность, между различными народами и различными культурами, во «все-братском» и «всесветном» *единении во имя высших духовных ценностей,* во имя Правды Божьей, «во имя Христово».

ГЛАВА ПЯТАЯ

РУССКИЕ ПРОСТОРЫ И НАРОДНАЯ ДУША

I.

Русская народная душа, равно как и русская культура и русская духовная жизнь, глубочайшим образом связана с просторами. Они являются тем задним фоном — и географически и психологически,— из которого вырастала русская жизнь. Два элемента как бы оспаривают друг у друга господство в истории русской души: укорененность в обычае и быте, стремление к крепкому патриархально-семейному укладу, любовь к красоте быта и — стремление в даль, подвижность, неустойчивость, искание новых горизонтов.

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота Океан-море,
Широко раздолье на всей земли,
Глубоки омуты Днепровские...

— этими словами, характерными для русского влечения к глубинам и раздолью, начинается былина о Соловье Будимировиче. Широко раздвинувшиеся пространства степей, чащи лесные, вольный воздух тайги, мощный и широкий бег русских великих рек, раздолье Хвалынского моря и манящие, бесконечные русские дали — как это неотъемлемо для русской жизни, как это вошло вплоть и кровь русского народа. Русский народ глубочайше сроссся с этими просторами, он чахнет без них. На него действует не только «власть земли» (по Глебу Успенскому), но и власть просторов. Он изнывает и тоскует в западной, узко-размеренной жизни с ее перенаселенностью, с ее убийственной регламентацией, с ее подавлением всякого размаха, всякого простора, с ее нередким искажением, обезображением, обездушением природы. Поэтому никогда русский человек не сможет себя окончательно чувствовать «дома» в слишком технизированной, слишком суженной, слишком стоящей под знаком городских влияний

жизни Запада. Поэтому есть особый отпечаток на большинстве русских людей, выражающийся в какой-то свойственной им широте — и в плохую и в хорошую сторону, — в специфическом чувстве неудовлетворенности, томления, исканий, встречающегося и на верхах и на низах русского народа.

Какую только роль не играли эти просторы в русской народной жизни и в истории русской культуры! Новгородские удальцы-ушкуйники, приволжские разбойники с их атаманами, миллионы крестьянства, странствовавшие по лицу русской земли в искании работы, уходившие в отхожий промысл, ямщики в русских снежных степях, русские «землепроходы» и колонизаторы, завоевавшие и населившие просторы Сибири, странники и богомольцы, исходившие вдоль и поперек просторы России от одной чтимой народом святыни к другой. «Бродячая Русь», Русь в постоянном движении — как часто на этом останавливались русские мыслители и художники. Недаром Л. Толстой, после написания своих двух больших романов «Война и мир» и «Анна Каренина», собирался под влиянием своих встреч с переселенцами (летом 1876 года) писать третье большое произведение, в котором, по его словам, он будет «любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей», записала С. А. Толстая, «в виде постоянного переселения русских на новые места [146])». Этот дух «бродячей Руси» старался и молодой Иван Аксаков схватить и запечатлеть в своей интересной поэме «Бродяга»:

Хоть дома жил он тихо и нессорно,
Да все не то, все как-то не просторно,
А за селом, куда не взглянет взор,
Какая даль, какой лежит простор...

А как этот дух запечатлелся в народных песнях и вообще в русском фольклоре! Вспомним: «Как по морю, по морю Хвалынскому» или песнь сибирских каторжников и пересыльных и сибирской беглой вольницы: «Синее море — священный Байкал, славный корабль — омулевая бочка», или эти многочисленные волжские — разбойничьи и неразбойничьи — песни о речных просторах и привольях. Или вот мотив *странствия* — международный, весьма излюбленный сказочный мотив, особенно, например, в кельтской сказочной литературе, — но какой специфический характер русской лесной глуши, русских степных или водных просторов приобретает он в русских сказках.

«Отправились добрые молодцы в путь-дорогу; едут месяц и другой, и третий, и заехали в широкую, пустынную степь. За той степью дремучий лес, а у самого леса стоит избушка [147])».

Иван-Царевичу встретившийся ему в темном лесу «стар человек» дает клубок: «На, возьми клубочек, пусти перед собою; куда клубочек покатится, туда и коня управляй». Иван-Царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним; а лес все темнее и темнее. Приезжает царевич к избушке, входит в двери: в избушке старик сидит — седой как лунь [148])». Иван-купеческий сын «распрощался с отцом и отправился в путь-дорогу искать тридесятое государство. Шел он, куда глаза глядят; долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — приходит к избушке: стоит в чистом поле избушка, на куриных голяшках повертывается» [149]). Или вот как в одной особенно яркой и красивой сказке описываются водные просторы:

«Сел мужик на орла. Орел взвился и полетел на сине-море. Отлетел от берега и спрашивает мужика: — «Погляди, да скажи, что за нами и что перед нами?» — «За нами, — отвечает мужик, — земля, перед нами море, над нами небо, под нами вода». Орел встрепенулся, мужик свалился; только орел не допустил его упасть в воду, на лету его поймал. Три раза мужик падал, на третий раз совсем было потонул, но каждый раз орел его поднимал и спрашивал: «Что за нами, что перед нами, что под нами, и что над нами?» — « И за нами море, и перед нами море, над нами небо, под нами вода [150])».

«Неизвестное, — пишет князь Е. Н. Трубецкой в своей замечательной статье «Иное царство в русских народных сказках [151])», есть вместе с тем и *дальнее;* неудивительно, что для обозначения отдаленности «иного царства» в сказке имеется множество образных выражений.

Оно называется то «тридесятым», то «трехсотым» государством. По одной версии туда можно «тридцать дней и тридцать ночей», по другой — «кривой дорогой три года ехать, а прямой — три часа, только прямого-то проезду нет». Туда устремляется вихрь, заносящий «неведомо куда». Поэтому на вопрос, «сколь далеко до нового царства?», — южный ветер отвечает: «пешему 30 лет идти, на крыльях 10 лет нестись, а я повею, в три часа доставлю». Есть и другие, еще более образные обозначения этого расстояния. Искомое царство от нас «за тридцать земель», это — тот край света, где красное солнышко из синя-моря восходит», и оттого-то обитательница этого чудесного

предела земли, вещая невеста Василиса Премудрая, испытывает тоску по синему морю, когда попадает в наши края».

Еще явственнее этот фон просторов и этот зов просторов в русских богатырских былинах. От былин веет воздухом степи.

«Из далече-далече, из чиста поля,
Тут едут удалы два молодца,
Едут конь-о-конь, да седло-о-седло,
Узду-о-узду да тесмянную», —

так начинается, например, один из вариантов былины об Алеше Поповиче [152]).

Или вот картина пустынного поля и среди него одинокий всадник:

«Как далече-далече во чистом поле,
Что ковыль-трава во чистом поле шатается,
А и ездит в поле стар матер человек,
Старый ли козак Илья Муромец [153])».

Богатыри стоят на заставе богатырской среди степей:

«Под славным городом под Киевом,
На тех на степях на Цыцарскиих,
Стояла застава богатырская...
Все были братцы в разъездице...
Илья Муромец был в чистом поле,
Спал в белом шатре ...»[154])
Илья Муромец встает на заре,
«Да и зрел он, смотрел во все стороны,
Да смотрел он под сторону восточную, —
Да и стоит-то наш стольный Киев-град;
Да и смотрел он под сторону под летнюю, —
Да стоят там луга да там зеленые;
Да глянул он под сторону под западную, —
Да стоят там леса темные;
Да смотрел он под сторону под северну, —
Да стоят де там да ледяны горы;
Да смотрел он под сторону в полуночну, —
Да стоит-то де наше да сине море,
Да и стоит-то де наше там чисто поле,
Сорочинско де славно наше Кулигово...»

И он видит, как вдали «богатырь ли там едет да потешается [154])...»

Как чувствуются здесь далекие горизонты степей. Они чувствуются и в этих общих самым разным былинам описаниях выезда богатыря в поле, скока богатырского коня:

Видели старика как коня седлал,
А не видели поездки богатырские:
Только в чистом поле курева стоит.

С вышины степного кургана смотрит он вдаль:

Заехал он на шоломя высокое,
Смотрел-глядел по далечу чисту полю,
Увидел паленицу преудалую [155])...»

Так и Добрыня выезжает в поле против Змея:

Вот срядился — сподобился да добрый молодец,
А не видели его поездки да молодецкоей,
А увидели в поле курева стоит,
Курева стоит да дым столбом валит.
Он ведь здорово прогонял да поле чистое,
Доезжает сам до моря синего [156]) ...»

Или вот другая формула для изображения безудержного бега богатырского коня:

Илья Муромец слушал он коня богатырского,
Поехал по дорожке прямоезжией,
Брал он в руку плеточку шелковеньку,
Бил коня по тучной бедре,

Вынуждал коня скакать во всю силушку великую
Пошел его добрый конь богатырскиий
С горы на гору перескакивать,
С холмы на холму перемахивать,
Мелкие реченьки, озерка между ног спущать [157]) ...»

Манит их это поле с его приключениями, с его таинственными тремя дорогами, расходящимися от «сыр-горюч камня», и неожиданными грозными встречами. Характерны для всех богатырей эти слова, которыми начинается одна

былина о Святогоре: «Снарядился Святогор во чисто поле гуляти[158]) . . .» Память об этих вольных просторах степного юга сохранилась в народной душе и на дальнем севере среди камней и болот.

Из этого же духа — любви к простору, томления по простору — вдохновилась «Песня косаря» Кольцова:

Раззудись, плечо,
Размахнись рука,
Ты подуй, повей,
Ветер с полудня . . .

— Он косит среди необозримых травяных просторов воронежских степей. Или эти стихи Алексея Толстого:

Край ты мой, родимый край.
Конский бег на воле!
В небе — крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!

Или описание приднепровских, тогда еще девственных степей в «Тарасе Бульбе» Гоголя.

Связанность с просторами, любовь к странствованиям, манящее чувство дали, свежесть всё новых и новых природных впечатлений — породили, будучи религиозно претворенными и просветленными, особую религиозную поэзию странничества, религиозную «эстетику странничества», которую нередко встречаем у простых русских людей. Наивно-смиренная и глубоко, детски религиозная странница Дарьюшка (которая была знакома с некоторыми благочестивыми петербургскими семьями середины 19-го века) так повествует о своем первом паломничестве . . .

«Как вышли-то мы из села, да оглянулись кругом — словно ни конца, ни края нет Божьего мира. Сверху-то благодать какая в небесных селениях, снизу-то под ногами, что ни есть зеленая травушка да золотые колосья да лес-то, кажись, непроходимый. Идешь ли ты молча. отдыхаешь ли ты на земле, — всё-то тебе чудятся сладкие песни: и жужжит, и чирикает, и журчит, словно то Господь устами всей твари гуторит с тобой[159])».

Или вот в своем замечательном, очень ярко написанном «Сказании о странствии . . .» простодушный и пылающий го-

рячей верой инок Парфений так изображает свое прибытие пешком из Румынии в 1839 году, т. е. еще во время турецкого владычества на Балканах, после многих трудностей на территорию Афонской горы:

«... Вступили на гору и пошли по самому острому камню, и было весьма круто. И мы каждую ступень омочали слезами от радости и припевали разные стихи, радости нашей приличные: «Возведохом очи наши в горы, отнюдуже приидет помощь наша. Помощь наша от Господа, сотворшего небо и землю»... Всходим на гору в полчаса, и взошли на самый хребет. И открылось нам восточная сторона святой горы Афонские: множество гор и холмов и великих удолий; покрыты все темными лесами. Из-за гор выше всех холмов показывает свою обнаженную голову сам Афон. Но до него было еще далече, более ста верст... Сам он стоит выше всех гор и холмов, как отец выше детей своих. И мы ему поклонились, как отцу всея горы Афонские... Мы же шли, радуясь и веселясь. Яко же агнцы на траве пасущие играют, тако мы, по святой горе Афонской идущие, веселихомся. По левую сторону нас было море, по правую святая гора, и впереди нас святая гора и позади нас святая гора. Оставайся теперь ты, мир, со всеми своими прелестьми, со всеми превратными, непостоянными своими красотами. Уже не боимся теперь твоих великих волн, ими же ты прельщаешь и уловляешь, разбиваешь и потопляешь рабов Божиих, хотящих спастися. Уже мы теперь в тихом и небурном пристанище... По сторонам трава зеленая, цветами покрытая; лес прекрасный, дубовый и лавровый, как нарочно насажденный, и частые садочки виноградные, масличные и смоковичные, и воздух прохладный. И мы идуще, как в раю, радуемся и веселимся и удивляемся красоте места, и сколь прекрасна святая гора Афонская.. И как стали мы выходить из лесу, открылось нам множество кипарисов прекрасных. Позади кипарисов стоит спрятавшаяся в самой тишине и безмолвии святая великая Лавра, пречестная обитель Хилендарская...»[160а]).

Это «Сказание о странствии» инока Парфения особенно любил Достоевский. И у него нашло отголосок религиозное странничество в некоторых картинах из раннего периода монашеской жизни старца Зосимы, когда он ходил по России собирать на свой монастырь (вспомним проникновенное описание июньской ночи на берегу «большой реки судоходной»), и в образе странника Макара Ивановича в «Подростке». В Макаре Ивановиче, как и в Зосиме, трепетное умиление, ощущение близости Божией изливается в мистически просветленной любви к красоте мира: «Хорошо на свете, милый.

Я вот, кабы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей в веселии сердца: «Все в Тебе, Господи, и я сам в Тебе, и приими мя».

Религиозно просветленное чувство природной красоты и народная поэзия странничества и томление по просторам — и в образе тургеневского «Касьяна с Красивой Мечи:

«Да и что. Много, что ли, дома-то высидишь. А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты виднее, и поется-то ладнее. Тут смотришь, трава какая растет, ну заметишь — сорвешь тоже. Вода тут бежит, например, ключевая, родник: святая вода, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные . . .

А то за Курском, пойдут степи, этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье, вот Божья-то благодать! И идут оне, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости . . .

И вот уж я бы туда пошел . . . Ведь я мало ли куда ходил. И в Ромен ходил, и в Синбирск славный град, и в самую Москву-Золотые Маковки; ходил я на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых крестьян, и в городах побывал честных . . . И не один я грешник . . . много других крестьян и в лаптях ходят по всему миру, бродят, правды ищут . . . да. А то, что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, вот что» . . .

Вот это искание справедливости, правды на земле в каком-то ином, лучшем крае, характерно для многих странствий и мечтаний русских людей; так, например, для ряда эсхатологически-социально настроенных сект, т. е. сект, жадно ждущих конечной победы того, что они считали Божьей правдой, над злом и насилием. Особенно сильно это в сектах странников-бегунов, увлеченных этими манящими далями, ищущих «иного града», как и герои русских народных сказок ищут «иной страны». В связи с этими настроениями стоит и легенда, распространившаяся особенно среди старообрядцев, о «невиданном граде Китеже», затонувшем на дне озера, прислушаться к звону невидимых колоколов которого собирались летней ночью тысячи богомольцев.

— «Пешком бы надо — место бо свято есть, — сказала уставщица Василию Борисовичу. Пошли в строгом, глубоком молчаньи... В воздухе тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покров ночи на небо, ярче и ярче сверкают на холмах зажженые свечи, тусклей и тусклей отражает в себе неподвижное, будто из стекла вылитое озеро темносиний небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы... Всё дышит таинственностью, все кажется очарованным... Крестясь и творя молитву, взошли комаровские путницы на холм... Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу и ближние и дальние, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейные матери и белицы были почти из всех обителей, иноков мало, и то все такие, что зовутся «перехожими». Людей много, но громких речей не слыхать... И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом... По роще будто пчелиный рой жужжит [016]...»

Распространялись в этих кругах даже письма будто бы от людей, попавших в этот чудесный, зачарованный град, как рисует нам это тот же Мельников:

«... По малом молчании стал грамотей читать велегласно: «Пишу аз к вам, родители, о сем, что хощете меня поминати и друга моего совестного заставляете псалтырь по мне говорить. И вы от сего перестаньте, аз бо жив еще есмь, егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришлю; ныне же сего не творите. Аз живу в земном царстве, в невидимом граде Китеже со святыми отцы, в месте злачне и покойне. Поистине, родители мои, здесь царство земное — покой и тишина, веселие и радость; а святые отцы, с ними же аз пребываю, процветоша аки крины сельные и яко финики, и яко кипарисы. И от уст их непрестанная молитва ко Отцу Небесному, яко фимиам благоуханный, яко кадило избранное, яко миро добровонное.

И егда нощь приидет, тогда от уст их молитва бывает видима; яко столпы пламенные со искрами огненными к небу поднимаются... В то время книги честь или писать можно без свечного сияния...»

Сюда же относятся, наконец, и романтически-сказочно окрашенные искания старообрядческими ходоками какого-то дальнего благочестивого царства, оплота истинного православия.

«В 18-ом столетии, — пишет Мельников, — по всей вероятности, во второй половине его, распространялось по раскольническим обще-

ствам рукописное путешествие беспоповского инока Марка из монастыря Топоозерского: ходил этот старец в Сибирь, добрался до Китая, перешел степь Гоби и добрался до Японии, до «Опоньского царства», что стоит на океане море, называемом «Беловодие», на 70 островах. Искав с долгим терпением древнего благочестия на Востоке, Марко нашел его будто бы в Японии . . .»

В тридцатых годах 19-го века эта легенда о том, что древнее благочестие сохраняется во всей своей неприкосновенности на Дальнем Востоке, в «Опоньском» государстве, всколыхнула с новой силой широкие круги старообрядчества.

«В этот-то призрачный Сион и кинулась было волна страннической эмиграции. Раскольничьи географы поспешили составить путеводитель для желающих побывать в благословенном крае, которым из Европейской России надлежало идти на Екатеринбург, на Томск, на Барнаул, вверх по реке Катурне, на Красный Яр, деревню Ака, тут часовня и деревня Устьба. Во Устьбе спросить страннопримца Петра Кириллова, зайти на фатеру. Тут еще множество фатер. Снеговые горы: оные горы за 300 верст от Алаама стоят во всем виде. За горами Дамасская деревня, в той деревне часовня, настоятель схимник Иоанн. От той обители есть ход . . . через Кижисскую землю, потом четыре дня ходу в Татанию, там Опоньское государство: живут в губе океана-моря: место, называемое Беловодье и озером Ловом, а на нем 100 островов, а на них горы, а на горах живут о Христе подражатели христовой церкви, православные христиане. А там не может быть антихрист, и не будет. И в оном месте леса темные, горы высокие, расседлины каменные [161])».

Много, конечно, и авантюризма и чистого бродяжничества, а подчас даже и ловкого обмана, стремления использовать во зло простодушное доверие широких кругов населения, могло скрываться под личиной религиозного странничества, но корни его уходят, как мы видим, в глубины народной души.

У меня в руках находится любопытная, очень безграмотно написанная, но трогательная рукописная автобиография некоего иеромонаха Кирилла, Петровского монастыря в Ростове Великом (родился в 1856 году, запись сделана в начале 900-х годов). Он родом крестьянин Саратовской губернии, пастух. У него захватывающая страсть: странствовать по святым местам. Вот как он пишет про себя (сохраняю особенности стиля и правописания):

«Дело в том, что я от юности имел просто необыкновенное страстное увлечение к странству, и это такая явилась во мне страсть, что ничем не заменимо. Единственное у меня могу сказать врожденное желание, одно, во что бы это ни стало, как видить все святые места на лице вся земли. И прочее, что толко замечатилного имеет на себе весь земной шар, и что толко под солнцем есть интересного. Вот было мое пламенное желание. Болие сего я ничего на свете ни хотел».

Он сирота, старшие братья отдали его служить пастухом на чужую сторону, где он и проводит ряд лет.

«Вдруг распалилось мое сердце до такой степени, что я все бросил, побежал домой и заявляю, братия, что я болие не буду работать. А желаю ити в Киев, и теперь, что хотити, то творити со мной... В таком положении я по одной горсти собранную муку (поданную ему сострадательными людьми) продал и на эти копейки я и решился идти в Киев и таким образом и ходил я три лета. В течение трех лет я все главные св. места посетил России, как то Киев, Почаев, Святые горы, Задонск, Воронеж, Москву и окрестности ея, Новгород, Юрьев монастырь, Петербург, Валаам, Соловецкий монастырь, Глинскую пустынь, Саров и прочие монастыри и города. которых не буду именовать и выти [161а]) три лета я много прошел уроков для жизни, но был рад, что исполнилось мое желание».

Потом он три раза был на Афоне, а позднее, уже иеромонахом, он с мая 1896 года совершает еще более сложное путешествие: Ростов Великий, Москва, Саратов, Царицын, Калач, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Одесса, Константинополь, Афон (в 4-ый раз), Яффа, Иерусалим, где проводит несколько месяцев, Суэц, Синай, Каир, Александрия, Бари, Иерусалим, Назарет, Афон (5-ый раз), Одесса, Киев, Ростов Великий.

Эта романтика странствия нашла свое выражение и в жизни культурных слоев, Эти восторженные паломничества на Запад, эти увлечения Германией, Францией, Швейцарией, Италией, этим Западом, который русской душе (Станкевичу, Чаадаеву и многим другим) представлялся «страной святых чудес», при этом Германией и Францией, не действительными, какими они были, а глубоко окутанными в дымку поэтической фантазии, воспринятыми сквозь ореол средневековой романтики, пребражающей серую современную действительность, —разве это не проявление того же самого духа томления по иному, сказочному краю, столь свойственного рус-

ской народной душе! Недаром романтически-вольнолюбивые «паломничества» («piligrimages») байроновского Чайльд Гарольда с его тоской по неясному, далекому идеалу и по утраченному величию и красоте прошлого, по какой-то таинственной «родине души», которую он ищет в развалинах Греции, Рима («O Rome, my city! Country of the Soul») — недаром они нашли такой отклик в русской культурной и литературной среде Александровской эпохи, в душе молодого Пушкина, а позднее и мальчика Лермонтова. А цитированные нами уже письма из Италии Гоголя, а тоска по Италии того же Пушкина, а восторженные стихи Баратынского при приближении его на корабле к итальянским берегам:

Вижу богиню. Жребий златой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.

Или мечта юноши-поэта Веневитинова, и исполненные умиленной любви слова этого русского странника по Европе, русского «всеевропейца», Версилова в «Подростке» Достоевского о священных камнях Европы, или, например, уже в «Письмах русского путешественника» Карамзина это наивно-восторженное припадание к швейцарской земле, или такие же простодушные восторги на берегах Рейна — всё это та же подлинная русская «романтическая» тоска, обращенная только не на Восток, а на Запад и его святыни.

2.

Просторы не только манили в глубь горизонтов, не только порождали романтические странствия по Западу, религиозные странничества по лицу Русской земли, бродяжничество, скитальчество, искание, и открытие новых земель «землепроходами» в глубинах русского Востока, — просторы эти также сильнейшим образом повлияли на всю психологическую структуру народа.

Избитым, но тем не менее справедливым, является указания на связь этих просторов, как географического заднего фона, с «широкостью», «размашистостью», великодушием и немелочностью, но часто и безудержностью, расплывчато-

стью и хаотической возбужденностью русской души. Эта «широкость» русской души может являться, как известно, и активом и пассивом. Она проявляется, например, в русской щедрости, в сердечном размахе русского гостеприимства (последнее отдают, чтобы принять и угостить гостя), в великодушном пренебрежении к материальным благам (наряду со связанностью с «бытом»), в некоторой врожденной «артистичности», в блестящем таланте к импровизации, но вместе с тем иногда и в непростительной халатности и небрежности («авось», «небось» да «как-нибудь»), в отсутствии нередко чувства ответственности, в частности по отношению к материальным ценностям, иногда уже не в расточительности только, а прямо в бросании их «кошке под хвост» для минутного удовлетворения без ничьей пользы, в желании блеснуть этим пренебрежением, этой удалью разгула («знай наших». Срв. «Чертогон» Лескова, и разговор двух мальчиков — «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов» в «За рубежом» Салтыкова-Щедрина). Некоторая свобода от чрезмерной связанности материальными соображениями всегда была присуща русскому народу, самым различным слоям его, и могла являться источником подчас и большой силы — политической и духовной.

Много и говорилось и писалось и русскими и иностранцами о резких контрастах русской народной души, коренящихся отчасти в этих просторах и этой ее «широкости», об ее падениях и взлетах. Об этих безднах, открывающихся в душе, соединяющей в себя «идеал Мадонны с идеалом Содома», особенно много размышлял и писал Достоевский. Но мы на этом здесь подробно останавливаться не будем, ибо в связи с нашей темой нас особенно интересует здесь то творчески-положительное, что рождалось из этих «задних фонов», и в первую очередь — связанность русской культурной традиции и некоторых духовно особенно значительных творческих ее проявлений с этими глубинами народной души. Остановимся поэтому лишь на одной черте, которая является характерной для русской литературы и русской мысли и вообще для русского культурного творчества на его высотах — искании смысла жизни, тоске по конечному и решающему смыслу жизни. Тоже своего рода духовное странничество, духовное взыскание «иного града», пребывающей святыни, как странники и паломники искали поклониться видимой святыне на земле или услышать звон невидимого

«града Китежа». Искание не всегда значит нахождение, а отсюда — та неудовлетворенность, та тоска (ее можно назвать «метафизической», если не религиозной тоской), которая, сознательно или бессознательно, красной нитью проходит через многие крупнейшие явления, напр., русской литературы. Метафизические просторы, т. е. вернее, бессознательная жажда их, жажда последнего, решающего смысла жизни и вообще всякого существования, а за ненахождением его отрицание жизни, разочарование в жизни, — вот чем уязвлена душа многих особенно характерных и особенно близких самому писателю героев Чехова. Та же грусть, та же тоска — за ненахождением этого последнего смысла жизни, — грусть о вянувшей красоте, о преходящести всего лежит на творчестве Тургенева. И заостряется эта тоска и в «Исповеди» Толстого, в его исканиях и борениях, и особенно во всей этой борьбе за Бога — но борьбе победной: Бог победил и раскрылся, как конечный, решающий и благой смысл мира — в душе Достоевского.

3

Хотелось бы здесь остановиться несколько подробнее на некоторых примерах, иллюстрирующих эту тоску, столь присущую народной душе. Русская песня, столь любимая народом, столь понятная народу, выросла из этих глубин, заряжена этой бесконечной тоской, этим устремлением в даль, этим выходом на простор, этой болью неудовлетворенности. Знаменитое описание песни Якова в тургеневских «Певцах» как раз подчеркивает этот элемент тоски, «какой-то увлекательно-беспечной, грустной скорби», «чего-то родного и необозримо-широкого». Позволю себе здесь целиком привести это всем нам известное место, которое вместе с тем еще раз свидетельствует о том, как близко прикоснулся Тургенев к русской народной душе, и о том, что последовательно «классовый подход» к русской литературе глубоко неверен и противоестествен: с вершин этой «дворянской», усадебной культуры открывались порой самые глубины народной души и народной жизни.

«За этим первым звуком, — так описывает Тургенев пение Якова, — последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под силь-

ным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым — третий, и, по-немногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала» — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел как надтреснутый: но в нем была и неподдельная, глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковым, видимо, овладело упоение; он уже не робел, он отдавался весь своему счастью, — голос его не трепетал более, он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника и всех нас, но видимо поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо-широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие сдержанные рыдания внезапно поразили меня... я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шопотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился...»

Веселый, бешеный разгул, брызжущее веселье, залихватская, задорная, насмешливо-добродушная удаль, водоворот буйно-кипящего избытка сил, пронизанный блестками юмора, и с другой стороны — глубокая, заунывная тоска, безбрежная, за сердце хватающая грусть, — вот два полюса русской песни. В них отражаются два полюса русской народной души.

4

Противоположности русской души, ее крайности и ее неудовлетворенность, может быть, особенно ярко и разительно выступают перед нами в лице одного из наиболее блестящих представителей высшего слоя, «великолепного князя Тавриды», Потемкина. Его личность поразительна по своим ярко выявленным народным чертам, именно с точки зрения народно-психологической. Не буду останавливаться на любви Потемкина ко всему русскому, простонародному: его привлекает в еде редька и квас (наряду с изысканнейшими кушаньями роскошнейшей кухни), он любит смотреть русскую пляску, он сросся с подробностями церковного быта, он доступен и ласков с простыми людьми. Нет, именно глубины, резкие и глубочайшие противоположности его характера коренным образом связывают его с народной стихией. Нам эти противоположности, может быть, несколько затемнены искажением облика Потемкина как государственного деятеля через призму «потемкинских деревень», как символа будто бы его государственной деятельности. Нужно решительно распроститься с этим неисторическим искажением и игнорированием истории. Потемкин как государственный деятель — один из плодотворнейших и гениальнейших сынов России, творец Новороссии, колонизатор, администратор, градостроитель огромного творческого размаха, осуществивший и проведший в своей жизни столько государственного значительного и великого, что хватило бы на много жизней. Для него характерно напряженное творческое кипение. Во время его головокружительных по быстроте поездок (по тогдашним временам) в санях с юга России в Петербург, он из 16 ночей спит только три, остальное время беспрестанно диктует сменяющим друг друга секретарям и адъютантам приказы и распоряжения, осматривает новостроящиеся города и деревни, посещает сооружаемые по его приказанию больницы, школы, фабрики, крепости, гавани, церкви, делает смотр войскам, принимает депутации, беседует с местным населением, особенно часто посещает церковные службы и беседует с духовенством, внимательно входит в подробности быта и положения солдат, ибо он и военный реформатор: он стремился радикально улучшить положение солдат улучшением их одежды (сделавши ее более практичной, теплой, удобной), заботой об их здоровьи, хорошем питании и, главное, требованием внимательно-человеческого, оте-

ческого к ним отношения. Известны его письма к Суворову, его приказы, направленные к этой цели:

«Г. г. офицерам гласно объявить, чтобы с людьми обходились со всевозможной умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не переступали бы положения, были бы с ними так, как я, ибо я их люблю как детей».

Употребление солдат на частные работы командиров воспрещалось им под страхом строгого наказания. Он строго следил и за правильностью снабжения солдат пищею и одеждою, требовал соблюдения санитарных правил, опубликованных им в 1788 году, и вторично (после Петра Великого) учредил должность инспекторов в армии[162]). Далеко опережая свой век, Потемкин восставал против битья солдат. «Паче всего я требую, дабы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. Господа полковые и баталионные командиры долг имеют испытать наперед самих обер- и унтер-офицеров, достаточны ли они сами в знании. Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а побуждать ленивых палкою не больше шести ударов»[163]). В заботе о людях входил он в самые мелкие подробности, как явствует, напр., из следующих писем к Суворову:

«Ввожу корпус егерей екатеринославских, но с тем, чтобы его не употреблять ни в работы, ниже в караулы. Он наполнен молодыми людьми, коим дать время нужно еще окрепиться»[164]). «Прикажи, мой друг сердешный, полковым командирам, чтобы людей поили квасом, а не водой, и чтобы кормили их травными штями; ежели есть рыба, то бы круто ее солить, а свежей не варить»[165]). «Проезжая Шлиссельбургский полк, видел я, что у него двойная цепь часовых. Напрасно полковой командир мучит людей»[166]). «Что вы только придумать можете к утешению больных, все употребляйте: я не жалею расходов. Вода ли дурна, приищите способ ее поправлять переваркою с уксусом; винную порцию давайте всем. В жарких местах наружная теплота холодит желудок, то и должно ее сопревать спиртом»[167]).

В другом письме к Суворову он просит его отменить ненужные побои и опять-таки внушает ему усиленную заботу о питании солдат: «кашу варить погуще, в дни не постные с маслом; когда тепло, заставлять людей купаться и мыть свое белье; пища должна быть всегда горячая: котлы нужно почаще лудить»[168]).

Замечательны и государственно мудры его меры по отношению к инородческому населению Юга и Востока России. Он сохраняет им их самоуправление, обычаи, нравы. Присоединение Крыма он старается облегчить и закрепить тем, что за татарами сохраняется самое широкое самоуправление и полная религиозная свобода, с оставлением на их должностях прежних местных властей и духовенства. Им учреждаются в новоколонизируемых или новоприсоединенных местностях школы русские, греческие (для греческих колонистов), татарские, и он заботится о составлении и издании учебников для этих школ. Благодаря своей доступности и внимательности к их нуждам, он очень популярен среди восточных народностей. Он — один из крупнейших представителей идеи терпимой, считающейся с интересами отдельных народных групп и великодушно-гуманной Империи на Востоке под крыльями русского орла. В его бумагах были найдены бесчисленные прошения на грузинском, армянском, персидском, киргизо-казахском, калмыцком, молдавском, турецком, татарском и других языках[169]).

Он проявляет самую широкую терпимость и веротерпимость с тем, чтобы привлечь к положительной государственной работе самые разнообразные круги населения. Екатерининская политика веротерпимости к старообрядцам вдохновлена им. По его инициативе руководящие старообрядцы подают прошение Императрице с просьбой о даровании им религиозной свободы и поставлении им своего старообрядческого епископа; заключительная часть этого обращения старообрядцев к Императрице написана самим Потемкиным. В полной мере их желание не было осуществлено (но отсюда возникло впоследствии единоверчество — робкая попытка власти пойти им навстречу), но свободу вероисповедания они в широкой степени получили. Великодушна, полна размаха и сознания государственных интересов его политика по отношению к переселенцам, колонизирующим новые области; большой размах и верный, практический глазомер в его политике градостроения. Он строит следующие города и местечки: Николаев, Херсон, Екатеринослав, Севастополь, Мелитополь, Алешки, Нахичевань, Мариуполь, Екатеринодар, Ставрополь, Георгиевск и всю Моздокско-Кизлярскую укрепленную линию вдоль Кавказа и т. д. Через два года после основания Херсона город уже был центром морской торговли; в нем основываются верфи и морские школы. Через четыре года после основания Херсона не расположенный к По-

темкину современник, гетман Разумовский, удивляется мощному росту города, где между прочим уже находится гарнизон в 10 000 солдат. Это не «потемкинские деревни», ибо наряду со знаменитыми передвижными деревнями-кулисами по берегам Днепра во время путешествия императрицы вместе с императором Иосифом II по Днепру, были многочисленные действительно построенные деревни и города, которые не мелькали уже декорацией с берега, а в которых императрица и ее свита (и часто критически-враждебно настроенные иностранные гости) пересевшие потом с кораблей в экипажи, действительно могли остановиться и жить. Тот же Разумовский, путешествуя около этого же времени в частном порядке (т. е. без речных кулис и торжественных приемов) по степям Новороссии, поражен изумительной колонизаторской деятельностью Потемкина.. Какой размах — повторяю — в этих его планах градостроительства, не полностью осуществленных из-за Второй турецкой войны: так, в Екатеринославе замышляет он великолепный собор — подражание римскому собору св. Павла — на высокой террасе посреди города; тут же судебные учреждения в стиле древней римской базилики императорских времен и центральный очаг торговой жизни города в стиле афинских пропилей, с биржей и театром, далее университет и академию художеств, музыкальную академию и т. д. И как много было им действительно осуществлено! Он поистине — отец и творец Новороссии. Он входит при этом в самые разнообразные жизненные подробности, касается в своих творческих мероприятиях самых различных сторон жизни. Вот ряд распоряжений его относительно дальнейшего устройства и развития города Николаева, этого любимого его детища, построенного по тщательно и стройно продуманному плану приглашенного им итальянского архитектора: построить кадетский корпус на 360 человек, расширить казармы, основать монастырскую — Спасо-Николаевскую лавру, «на что и план дан». «Доходы с лавок, выстроенных у биржи, с погребов и кофейни определить изволил на церковь Св. Григория Великия Армении, на жалованье священникам, певчим и на содержание увечных. Церковь аспидом крыть, а главу и шпиц на колокольне вызолотить». «В Богоявленске под Николаевым основать сельскохозяйственную опытную станцию и школу по английскому образцу («это уже делается», — замечает по этому поводу Фалеев, на которого Потемкиным была возложена ответственная работа в деле

строительства). Основать мельницы, инвалидный дом и новую больницу, предназначенную также для больных из Херсона, так как местоположение и вода в Николаеве здоровее, чем в Херсоне. Нынешние временные помещения для госпиталя использовать под склады. Развести аптекарский сад. Для приохочивания иностранцев к поселению в Николаеве исходатайствовать сему городу портофранко на 20 лет. Фонтаны все в Богоявленском и Николаеве мрамором обделать. Баню турецкую торговую построить» и т. д.[170]).

Но Потемкин не только основатель многих городов, он вместе с тем и творец русского черноморского флота. Масса стараний затрачивается им на создание флота, верфей, гаваней. Он садит большие леса для нужд флота на Юге России, заводит лесопильные мельницы, готовит кадры опытных лоцманов и т. д.[171]).

Он заботится о подъеме земледелия, о введении новых отраслей промышленности. Много ремесленников призвано им из центральной России и из-за границы и поселены в Новороссии на льготных условиях. Произведены большие посадки тутового дерева для подъема шелководства. Особенное внимание посвящает он улучшению качества русской шерсти и качества ее выделки. «Что же касается до области Таврической, там хлебопашество год от году усиливается. Виноград венгерской дал уже первый плод; вино делается лучше прежнего, водку французскую гонят лучше настоящей, а через год конечно большое количество оной будет»[172]).

Большой интерес проявляет он к вопросам культуры и особенно религиозной жизни. Он большой покровитель наук, в частности и богословской. Ученому архиепископу Евгению Херсонскому пишет он: «Я препоручаю в любовь Вашу Английского дворянина, г. Полкерс, любителя наук и знающего оные, особенно Греческий язык. Как Вы соединяете в себе знание разных языков, то Вы наш Исиод, Страбон и Златоуст. Возьмите же труд сделать описание исторического нашего края, что он был в древности, где искони были славные мужи и обилующие грады: Ольвия, Мелитополь, острова Ахиллесова пути и прочая. Разройте покрывающую деяния древность и покажите, как тут цвели общества и как разрушили оные войны и нашествия народов диких, где проходил Джингис-хан с лютыми полками . . .»[173]).

Это — одна сторона Потемкина: неутомимая, горячечная, кипучая деятельность. Но с ней соединялась и физическая и психологическая реакция: неутомимый прожектёр и

вместе с тем практически деятельный выполнитель гениальных замыслов, столько без устали разъезжавший, — отдается часто, когда он может спокойно сидеть на месте, влечению физического сибаритства. Он лежит с утра на кушетке, нечесанный, в туфлях на босу ногу и в халате, и принимает в таком виде генералов и посланников, и в таком же виде, лежа, отдает самые разнообразные распоряжения, не записывая, ведет одновременно три разговора (как свидетельствует французский граф до Сегюр) и помнит все. И — опять новая противоположность: халат и туфли, квас и редька сменяются на роскошный кафтан, осыпанный бриллиантами. Потемкин выходит к войскам, принимает парад. Сгорбленный, растрепанный «вахлак» превращается в красавца-вождя, представительного и блестящего, представляющего мощь и гордость империи, или в восточного калифа, пирующего в сказочных подземных чертогах своей главной квартиры в Бендерах. Какой он артист в этой роскоши, как любит он стройные дворцы в антично-зачарованном (как дворцы и виллы Ренессанса), или, вернее, восточно-зачарованном вкусе, с фонтанами на фоне сказочных садов (ср. его письмо к кузине Прасковье Андреевне Потемкиной, где он набрасывает план такого дворца с такими садами)[174]). Какое незабываемое впечатление на современников и потомство произвел его знаменитый праздник, данный в 1791 году в Таврическом дворце Екатерине, с горением бесконечных люстр (весь воск, имевшийся в Петербурге, был скуплен для этого праздника — и не хватило), с огромным золоченым слоном, осыпанном драгоценными камнями, с подвижным хоботом и с персиянином, сидящим на нем (оба — автоматы), который должен был подавать сигнал к празднику, — с ослепительно иллюминованным зимним садом, где среди бьющих фонтанов возвышалась статуя Екатерины из паросского мрамора и пирамида, оправленная в золото и тоже осыпанная драгоценными камнями, с вензелем Екатерины. Безумная, но полная артистического огня и темперамента роскошь и такая же безумная иногда расточительность в его главной квартире в Бендерах. У князя 500-600 слуг; кроме того, 200 музыкантов, целый кордебалет, 100 вышивальщиц и 20 ювелиров. Какие увеселения в главной квартире, какая музыка!..

Как это примирить с гениальными планами, действительно при этом осуществленными в широчайшем масштабе, государственного строительства и ревностной,

все повторяющейся, настойчивой заботой о хорошей пище для солдат или о производстве своего русского (пускай недостаточно тонкого) сукна для армии на Юге России, из которого он шьет себе мундир, чтобы этим дать пример офицерам[175]), с этим повышенным может быть, болезненно повышенным — чувством ответственности за жизнь солдат, заставляющих все откладывать штурм Очакова, с этим повышенным чувством ответственности за весь ход второй турецкой войны и за судьбы России на Черном море, и вообще за всю русскую внешнюю политику. «При удачах, чем они будут больше, тем должна быть наша политика умереннее» — внушает мудрый и гуманный политик своим сотрудникам[176]).

Но еще большее внутреннее противоречие открывается перед нами: честолюбец, жаждущий почестей, славы, деятельности и власти, этот сластолюбец, неумеренный в еде (но об особой страсти его к вину нам неизвестно) и в ухаживании за красивыми женщинами, этот любитель роскоши и драгоценных камней, этот сибарит и ленивец — и вместе с тем гениальнейший, страстно, бешено работающий и открывающий новые горизонты государственной жизни деятель; этот столь жадно платящий дань жизни человек, столь сросшийся с жизнью, с ее блеском, с ее творчеством, с ее упорным трудом, и вместе с тем и с распущенной, себя ублажающей ленивой негой, — он вместе с тем (и в этом величайшее, в корень идущее, трагическое противоречие) пресыщен жизнью, ее суетой и блеском, он внутренне устал, неудовлетворен, исполнен мучительной хандры, внутренним отказом от жизни. Целыми днями он запирается иногда от своих приближенных, никого не видит, не принимает, лежит нечесанный, грызя ногти, не в силах заняться работой. Важнейшие государственные дела требуют ответа, его решения, но великолепный князь Тавриды — несчастный, тоскующий, не могущий пересилить себя человек, больной душой, потерявший вкус к жизни, потерявший внутренний стимул к жизни и к деятельности. Типичен следующий рассказ молодого его родственника Энгельгардта: «В один день князь сел за ужин, был очень весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и наконец, сказал: «Может ли человек быть счастливее меня! Всё, чего я ни желал бы, все прихоти мои исполнялись, как будто каким-то очарованием: хотел чинов — имею, орденов — имею, любил играть — проигрывал суммы несчетные, любил да-

вать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею, любил строить дома — построил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких; словом, все страсти мои в полной мере выполнялись». С сим словом ударил фарфоровой тарелкой о пол; разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся. Если записывать все таковые странности, то можно было бы наполнить огромный том», — добавляет Энгельгардт. Ибо, например, характерна была для Потемкина вместе с тем черта добродушного и незлобивого (иногда и великодушного) чудачества (ибо вообще это был истинно добрый человек).

Здесь, в этих противоречиях князя Потемкина, в этой безудержной хандре, в этом искании и в конечном итоге ненахождении внутреннего заполнения жизни, мы встречаемся с уже знакомой нам глубоко русской чертой — искания и неудовлетворенности души, не с простой хандрой пресыщенного человека (и это играло, конечно, роль у Потемкина), а с неким «метафизическим», даже более того с религиозно заостренным томлением. В этом подтверждает нас составленный им, по-видимому, в самые последние годы его жизни «Канон Спасителю», найденный в его бумагах, сохранявшихся у его племянника графа А. И. Самойлова с означением имени составителя. Потемкин всегда, всю жизнь был религиозен, в молодости был даже студентом Духовной академии, собирался потом как-то пойти в монахи, был богословски хорошо образован и любил подробно рассуждать на богословские темы — о вселенских соборах, о разделении Церквей. Но здесь больше, здесь не «бытовая» только унаследованная религиозность, здесь крик души, жаждущей спасения, ищущей твердой опоры, твердой пристани среди окружающей суеты, среди преходящести житейского моря, и молящей о милосердии и прощении, здесь — голос горячей и крепкой веры. Иисус Христос, распятый и милосердный, становится в центре духовной жизни (как Он и раньше постоянно встречался в письмах Потемкина). Вот несколько выдержек из этого канона:

«Прогневляя Тебя Всевышнего ежечасно, кто не ужаснется праведного суда Твоего и кто не осудит сам себя на вечную казнь. Но неизмеримы пучины милосердия Твоего. Прибегаю к чистому покаянию, единому средству, во уповании, Господи, Твоея милости»...

«...Поработах греху и оскверних одежду спасения моего, не смею взирати на небо. Яко милосерд, услыши мя»...

«Привержен есмь к Тебе, Спасе мой, от сосцу матери моея; возлюбих Тя, крепость моя, якоже Избавителя моего; но не вем, откуду преступаю заповеди Твоя. Ты — Создатель мой, Ты един помилуй мя, да прославлю Твое Божество. Помилуй мя, Боже, помилуй мя» . . .

«Воздеваю к Тебе, Богу моему, руки моя, поклоняюся Тебе сокрушенным сердцем и чистою совестью Создателю моему; верую и исповедую, яко Ты еси Искупитель мой, и несомненно от Тебя ожидаю спасения моего. Вручаю душу мою и тело; пощади меня угодником Твоим; сего у Тебя единого прошу — и молю, да обрящу»[177]).

Здесь мы подошли вплотную к некоторым сокровеннейшим и решающим глубинам его внутренней жизни.

«Великолепный» князь Потемкин-Таврический — самая блестящая, но парадоксально-оригинальная и глубоко самостоятельная персона блестящего екатерининского двора, более того: по-видимому, тайно венчанный законный супруг императрицы Екатерины, 18 лет вместе с ней правивший судьбами России, этот окруженный блеском фаворит судьбы, вместе с тем и глубоко народен в корнях своей психологии гениального чудака и оригинала, человека с изумительным чутьем неподражаемого импровизатора и виртуоза жизни, и вместе с тем болезненно тоскующего человека. Но также глубоко народно и его горящее религиозное чувство, порыв души его к Богу. Потемкин органически связан с основоположными глубинами русской народной души, он типически русский и в своей гениальной виртуозности, и в своих недостатках, и в своих противоречиях.

О нем так пишет его приятель и современник талантливый prince de Ligne: «Потемкин кажется лентяем, а работает без устали: письменным столом ему служат собственные колени, гребнем — собственные пальцы: он постоянно лежит, но не спит, ни днем, ни ночью, ибо усердие к его государыне, которую он обожает, беспрестанно двигает им . . . Боязливый за других, он смел для себя; перед опасностью тревожится, а при наступлении ее — веселится; тоскует среди своих удовольствий; несчастен от избытка счастья; все ему приелось, легко теряет вкус ко всему; то искусный министр, то десятилетний ребенок; не мстительный, просит прощения за причиненное горе, быстро исправляет сделанную несправедливость; любит Бога, но боится черта; одной рукой делает крестное знамение, а другой посылает привет хорошеньким женщинам; то подозрительный, то добродушный, то свирепо хмурится, то очаровательно приветлив; похож то на надмен-

ного восточного сатрапа, то на любезнейшего царедворца Людовика XIV; под видимостью жестокости человек с очень мягким сердцем. В чем же его чародейственная сила? В гении, и еще раз в гении, и опять в гении. Du génie, et pius du génie, et encore du génie . . .[178]). Природный ум, превосходная память, возвышенная душа, остроумие без злости, хитрость без лукавства, большая щедрость, изящество, справедливость при наградах; много такта, талант угадывать то, чего он не знает, и большое знание людей». Мы добавим, что не только гений, но и русский гений во всех своих недостатках, но и в искании спасения и прибегании к милующей руке Божией.

5

Лев Толстой. Вот другой представитель русских народных противоречий, который невольно сразу же встает перед нашим умственным взором. Влюбленный в жизнь, подобный коренастому столетнему дубу, глубоко ушедшему корнями в родную почву, исполненный очарования жизнью и захваченности жизнью, великий представитель просветленного реализма, глубоко сросшийся с почвой семейного, патриархально-культурного быта и с торжествующим подъемом природных просторов и вместе с тем — разочарованный в жизни, ищущий ее смысла, ищущий в ней «иного», «высшего» града, типичный — и в своей абстрактной нетерпимости и в напряженности своего искания — *русский народный сектант;* недаром его так влекла эта сектантская среда и ее смесь рационализма и душевного порыва. Гениальный писатель земли русской, плод утонченной дворянской культуры — и вместе с тем глубоко народный, понимавший душу русского крестьянина, увлекавшийся некоторое время этой русской народной стихией как «силой завладевающей» в лице русских переселенцев и землепроходов, изобразитель в бессмертном эпосе «Войны и мира» героической борьбы всего русского народа за свою землю против дерзкого врага; человек, сумевший понять именно *молчаливый* героизм лучших представителей народной души, и — рационалистически-радикальный (в духе почти что крайних русских сект: бегунов и нетовцев) отрицатель всякой культуры, всякого исторического развития, порой даже национального начала (сам глубоко пропитанный им, и само отрицание это глубоко национально!), сводящий в своей рационалистически-радикальной

безудержности (тоже типичная народная черта: незнание меры) почти всё живое благовестие христианства к негативно-скучной проповеди пассивного «непротивления злу», т. е. оскопляющий, так сказать, жизнь и религиозную жизнь в своем безудержном сектантском рационализме и максимализме. Как этот максимализм (у Толстого миролюбивый, вернее, проповедующий — иногда гневно и с выкриками — миролюбие и кротость) — как этот максимализм Толстого в его абстрактной нежизненности тесно связан с утопическими крайностями, с радикализмом, с религиозно окрашенным «нигилизмом», встречающимся в глубинах русской души. И вместе с тем этот максимализм глубок и плодотворен у Толстого — *не в разрешении* жизненной проблемы, а в *постановке ее: в искании смысла жизни.* В этом *искании* мятущаяся душа Толстого достигла высших высот мучительного, но творчески оплодотворяющего духовного напряжения. Нам известны из его биографии мучительные переживания им ужаса смерти и бессмысленности жизни во время его поездки в Пензенскую губернию осенью 1869 года. Эти проблемы, начиная с известного периода жизни, вообще все более и более неотступно преследовали его. Его «Исповедь» в этом отношении действительно глубоко автобиографична. Среди полного благополучия, счастия и славы, во цвете лет и сил и на вершине своего художественного творчества, он стал все чаще и чаще ощущать то, что он называет «остановками жизни». Ставились страшные вопросы: «Зачем? Ну а потом . . .»

«Пока я не знаю —зачем, я не могу ничего делать, я не могу жить. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, ну а потом . . .» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело». Или думая о той славе, которую приобретут мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну, и что же?» И я ничего, ничего не мог ответить. Вопросы не ждут, надо сейчас ответить; если не ответишь, нельзя жить. А ответа нет . . . Я почувствовал, что, то на чем я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того чем я жил, уже нет, что мне нечем жить . . .»

«Жизнь моя остановилась, — продолжает Толстой — я не мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не пить, не спать; но жизни не было , потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет» ... Ибо истина была то, что жизнь есть бессмыслица».

Человек, *так* чувствовавший, был человек великой души, как бы абстрактно неудовлетворительны, как бы односторонне сектантски ни были его теоретические ответы на эти вопросы. Но, повидимому, его искания были глубже и сильнее иногда самодовольно-горделивого, лишь *временного* успокоения на найденных им (часто столь абстрактно насилующих жизнь и вместе с тем лишенных зажигательной и внутренне преображающей силы) ответах. Уход ночью 28-го октября 1910 года из дома, каким бы конкретным поводом он ни был вызван, есть неумирающий символ напряженного искания духовного в поисках за смыслом жизни. Что англичанин Буниан символизировал своей поэмой «The Pilgrims Progress» то Лев Толстой незабываемым образом (незабываемым, пока есть русская духовная культура или память о русской культуре) воплотил в своем уходе и в своей смерти.

Сходное томление и искание воплотил в себе и Константин Леонтьев. Образно и убедительно, яркими мазками писал про него В. В. Розанов:

«С Леонтьевым чувствуешь, что вступаешь в «мать-кормилицу широкую степь», во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или «голову положить», или «царский венец взять». Еще не разобрав, *кто и что он*, ... я по всему циклу его идей, ... увидел, что это — человек пустыни, конь без узды, и невольно потянулись с ним речи, как у «братьев-разбойников» за костром».

В этом искании — одно из великих достижений русской народной души. Не хотим ее идеализировать и идеализировать степень ее духовной зрелости и зрячести (вещь различная в разных временах и различных ее представителях), но вспоминаются эти слова: «Просите и дастся вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам. Ибо всякий ищущий обретает, и просящему дано будет, и толкущему отверзется».

В неспокойном томлении русской народной души, может быть, скрыто и обетование для нее: нахождение ответа, успокоение, удовлетворение, обретение творящего жизнь и непреходящего, неумирающего смысла жизни.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТВОРЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА

1.

Начнем сразу с одной из высших вершин русской культуры и художественного творчества — с Пушкина. Как в нем перекликаются разные голоса! Прежде всего голос его непосредственного вдохновения, его творческого гения, его «музы». Но эта муза меняет свой облик сообразно с разными струями или периодами его творческих переживаний, его творческого развития.

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и слов первоначальных!
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвой погремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила... *(1822 г.)*

Этим же воспоминаниям детства — о бабушке Ганнибал, о няне, вдохновившим эти стихи достигшего уже высокой степени художественного совершенства 23-летнего поэта, посвящен и известный отрывок из стихотворения «Сон» семнадцатилетнего юноши, строки также уже полные большой выразительности и поэтической силы.

«Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец,
И длинный рот, где зуба два стучало, —
Все в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...»

Здесь, в этом детском общении с «мамушкой моей» (бабушка Ганнибал, няня) — один из корней поэтической и духовной жизни Пушкина. Впечатления раннего детства и их влияние на всю последующую внутреннюю и творческую жизнь человека невозможно точно обследовать и проследить: мы касаемся здесь самых глубин как подсознательной, так и духовной жизни, но по отношению к Пушкину это особенно трудно ввиду отсутствия материалов, а также ввиду незначительного воспитательного влияния на него его родителей, не являющихся носителями духовной семейной традиции.

Но семена народности и впечатление от теплящейся под образом лампадки, от молитвы и крестного знамени смиренной старушки запали ему в душу. А там они встречались и переплетались с другими настроениями — с очарованием античной красоты, античного мира, как оно выливалось в романтическом восприятии античности с ее сонмом поэтических божественных существ, столь характерном для «романтического классицизма» конца 18-го и начала 19-го века.

«В младенчестве моем она меня любила
И семиструнную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.»

(«Муза»)

«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою — полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.»

(«Нереида»)

Откуда у Пушкина это яркое и вместе с тем такое *внутреннее* переживание античности? Какими путями пришло это к нему? По-гречески он не знал, кое-что из греческих поэтов читал во французских переводах («Илиада» в переводе Гнедича вышла уже позднее, в годы зрелости Пушкина), дух античности он почувствовал главным образом через поэзию Андре Шенье, поэта большой подлинности и силы, с эллинской душой, и при том даже по крови отчасти грека (мать Шенье была родом из Константинополя, полугречанка). Шенье оказал большое влияние на Пушкина (есть у них к тому же — мы увидим — и какое-то духовное сродство), недаром Пушкин посвятил его памяти прочувственное стихотворение [179]).

Но «эллинский», «античный» элемент в творчестве Пушкина не объясняется только литературными воздействиями,

он был *глубоко органичен* душе Пушкина. Он явился для Пушкина не только неким органическим противовесом бурной страстности его натуры, некой духовной самозащитой, он, как мы знаем, *определили самый характер его творчества на его высотах.*

Размеренная, успокоенная, гармоничная Красота. Просветленная страстность. Прозрачность и благородство, благородная *простота,* некая целомудренная сдержанность в выражении своих чувств (а как мог вместе с тем в юные годы Пушкин быть нецеломудрен, фриволен, более того, похотливо и грязно непристоен в некоторых шалостях своего пера, особенно в злосчастный кишиневский период!). Но здесь, в его подлинном, созревшем творчестве, какое владычество гармонии духа над мятущейся страстностью, какая просветленность и внутренняя прозрачность! Если прав один древний мыслитель (Лонгин), что Красота есть господство духа над мятущейся материей, то это определение вполне подходит к творчеству Пушкина на его вершинах, к характеру его красоты.

В глубинах пушкинского духа, у самых истоков его творчества были заложены эти черты, этот внутренний стиль его поэзии. А эти глубины уводили далеко, эти корни уходили в самые основы русского народного духа, во всем его сложном, часто противоречивом многообразии. Но мы знаем, какое огромное, решающее значение для формации и развития русского национального сознания имела живая и творческая традиция православного благочестия. В ней русский народ черпал ту трезвенность, то «благообразие», ту просветленную простоту и смиренную ясность духовную, которые предносились ему — даже посреди грехов его — (как верно об этом замечает Достоевский) как идеал духовной жизни и которые воплотились в его святых и подвижниках. И невольно спрашиваешь себя: одухотворенная простота и просветленность и прозрачная гармоничная трезвенность Пушкинского «внутреннего стиля» не оттуда ли? «Эллинский дух», веющий в его творчестве, не сродни ли вместе с тем и трезвенной простоте смиренного благочестия его православных предков и вообще русского народа? Но художественно, во всяком случае, это — один из высших синтезов, одно из высших достижений русской поэзии, русского культурного и художественного творчества вообще.

Отточенная краткая сдержанность и полновесность стиля приближала Пушкина и к стилю высоко ценимых им классиков римской прозы (Тацит) и к поэзии ему в общем мало знакомого и вместе с тем издалека привлекавшего его Данте (вспомним: «*Суровый* Дант не презирал сонета» . . .). А возвышенное представление о поэте и о его «священном служении» навеяны и Горацием и эстетикой немецкого романтизма, повлиявшей на Пушкина через посредство Жуковского и особенно через молодых московских «любомудров», но оно, вместе с тем, глубоко коренилось в самом внутреннем, глубинном и органическом самосознании поэта. Я не ставлю себе целью перечислять резличные влияния Запада на Пушкина и различные проявления его существенной и глубинной укорененности в русской народной стихии, в русском ландшафте, в идеалах русской великодержавной государственности (соединенных с горячим свободолюбием) и в русском народном быте. Либерализм — и признание ценности русской государственной традиции; Шекспир и Карамзин, французские фривольные и игривые стихи и повести и — нянины сказки; Байрон и байроновские герои, гордые и мизантропические, и простые и честные русские люди, не говорящие громких фраз и верные своему долгу; античная красота и русская деревня, и в ее убожестве и в ее очаровании:

«На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Вступает медленно на лед . . .»

«Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь . . .»

Вот — некоторые из тех струй, что объединились в мощном потоке Пушкинского творчества.

И еще юмор, меткий, иногда грубоватый, и яркость образов русского фольклора. «Сказка о царе Салтане» — это не переложение, не подражание русской народной сказке; это есть подлинное творчество заново из недр русского сказочного духа, и яркого, и остроумного и нередко при том добродушного. Или вот вспомним еще этот удивительный отрывок, полный добродушного народного балагурства:

«Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,

Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно,
Уж как хочешь — будь что будь —
Этих надо помянуть.
Помянуть нам этих нужно,
Поминать, так поминать,
Начинать, так начинать.
Лить, так лить, разлив разливом.
Начинай-ка, сват, пора.
Трех Матрен, Луку, Петра
В первый раз помянем пивом.
А Пахомовну потом
Пирогами да вином.
Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала.
А куды разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!...
Слушать, так душе отрадно.
И не пил бы и не ел,
Все бы слушал да сидел.
Кто придумал их так ладно?
Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам не досужно)
Надо будет помянуть —
Помянуть и этих нужно...
Слушай, сват, начну первой,
Сказка будет за тобой.»

А знаменитое описание въезда в Москву из «Евгения Онегина» — типичное для пушкинской манеры: лирический взволнованный подъем чувства и полное смешливой наблюдательности описание мелочей окружающей жизни.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,

Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о Тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Вот окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами стараго Кремля;
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах...»

Вершина поэтических достижений Пушкина — в его поразительной лирике. К ней особенно — то есть к лирике его уже созревшего творчества — относится то, что мы говорили о просветленности пушкинской поэзии, о господстве духа

над волнующейся материей, о сдержанной целомудренности и краткости и полновесности выражения. Как стих его отточен и как может быть он прост и нежен вместе с тем! Как стиль его иногда нарочито прост, повседневен, и вдруг... прорывается едва сдерживавшаяся струя лирического вдохновения, лирического подъема. Вспомним, например, последнюю строфу:

«... Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,

(какое нарастание лирического волнения!)

На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы.»

стихотворения «Поэт», написанного сначала несколько нарочно сниженным, полу-разговорным, повседневным тоном... И потом идет медленное лирическое нарастание, и вдруг... прорыв лирического чувства. На фоне повседневно-разговорной речи это производит особенно сильное впечатление. Как отточен сонет: «Поэт, не дорожи любовию народной!» — как будто высечен резцом из мрамора или отлит из бронзы. Все сказанное — лишь совершенно недостаточный и слабый намек на богатство творческого синтеза, творческих разнообразных тонов у Пушкина. Но сущность его вдохновения, питающих истоков его вдохновения, может быть, особенно ярко выражена им в одной из самых чарующих автобиографических строф «Евгения Онегина»:

«В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться стала муза мне.

Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детския веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.»

Царское Село с его парком, с его дворцами, с его Лицеем было местом, где родилась эта поэзия. Над ее колыбелью стояли памятники русской славы — «Воспоминания в Царском Селе», и лужайки и развесистые деревья и задумчивые пруды парка и белые статуи античных божеств, полуспрятанные между стриженными кустами в стиле Версаля. Здесь встретились в душе молодого поэта с особой силой Запад и его культура и веяния русской истории, прошлой и современной. В заключительных двух строках этой строфы:

И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны

— указаны не все, конечно, но два особенно важных источника его творчества.

2.

Романтизм в русской умственной и духовной жизни и русской поэзии 19-го века. Романтизм пришел из Германии, но акклиматизировался в России, пустил здесь корни и сделался одним из образующих элементов русского духовного развития. Органически переработался, вошел в плоть и кровь многих явлений русского мыслительного и художественного творчества. Нам незачем при этом сосредоточивать наше внимание исключительно на образах тех писателей и мыслителей, которых можно так или иначе причислить к русской «романтической» группе — например, Жуковского, молодого Веневитинова, молодого Станкевича, Одоевского. К тому же и Жуковский, например, далеко не только романтик. Романтизм, повторяю, вошел в гущу, в самую ткань русской культурной и духовной жизни, оплодотворяя ее, переплетаясь в ней со многими другими элементами и особенно пробуждая многое «свое», «автохтонное», глубинно-народное, к проявлению, к самосознанию, к более интенсивной, сознательной жизни.

Мы знаем, какую огромную роль сыграло романтическое миросозерцание, романтически-динамический подход к истории, как к великому потоку органической жизни, в пробуждении усиленного интереса к родной старине, к стихийно-подсознательным и эмоциональным корням жизни народа, к родному фольклору, к живому преданию народному. Братья Шлегели, Иозеф фон Гёррес, Арним и Брентано,

братья Гримм, Савиньи, а до них уже Гердер положили начало этому новому пониманию истории в Германии, под влиянием восторженного восприятия мира, как некоего великого одушевленного целого. Высшим идейным выражением этого нового миросозерцания явилась романтическая философия Шеллинга. Влияние на русскую культурную и умственную жизнь этого миросозерцания было огромно. Первые работы в области русского фольклора — и Сахарова, и Терещенки, и собрание песен Петра Киреевского, связаны с этим романтическим энтузиазмом. Но это совпало с другими, встречными причинами, еще гораздо более решающими и важными — с исключительным, стихийным подъемом и пробуждением русского национального чувства и национального самосознания в связи, как мы уже говорили, с глубоким потрясением народной души, вызванным событиями 1812 года. Это, повторяю, один из решающих поворотных пунктов в истории русской культуры. Это потрясение глубоко оплодотворило души русских людей и все культурное развитие 19-го века. А романтизм, романтически-динамическое восприятие истории, философия Шеллинга давали идеи, осмыслявшие эти душевные переживания и встречали благоприятную почву в душах молодежи.

Но вернемся к романтизму. Он просветлял в своем мироощущении не только процесс истории и прошлое народа, но и окружающий мир природы. Природа была *живое Целое*. Невидимые и многообразные струи творческой жизни пронизывали ее от основания до вершины, как выражено это, например, в знаменитых стихах (!) философа Шеллинга: «Epikurisch Glaubensbekenntnis Heinzens Widerpostens». Эти подымающиеся из темных глубин мира неорганического жизненные соки, достигающие сознания и просветления в человеке — этой вершине пирамиды природной, могут быть угаданы философией, в некоторых своих проявлениях исследованы наукой, но живее всего этот скрытый смысл, эту сокрытую гармонию великого жизненного Целого, может угадать и восчувствовать *поэт* (срв. сходные мысли в замечательной книге философа С. Л. Франка «Непостижимое», вышедшей в эмиграции в 1938 году). В этом — великое значение и призвание поэта.

Тут есть что-то, что вырастает за пределы только романтического миросозерцания: учение *о духовной интуиции и о живой духовной сущности мира* и о иерархии ее образу-

ющих частей. Это мировоззрение оплодотворило мысль ряда величайших русских поэтов-мыслителей.

Здесь естественно сделать переход к поэзии *Тютчева:* так он связан с западной культурой и с романтическим восприятием ее красоты и с романтикой истории, и вместе с тем глубоко укоренен в *почве русской* — русских черноземных полей, русских просторов, лесов и рек. И он вместе с тем — философский провидец, ощущавший духовную ткань мира, ткань не только светлую, но и темную. И вместе с тем он — романтик, ибо исполнен *томления и жажды духовной,* и классик по отточенности, чеканности и полновесности своего стиха и целомудренной, скупой на слова (поэтому они так отточены и полновесны!) сдержанности чувства.

Тютчев представляет собой одно из высших достижений русского словесного творчества. Но более того, он захватывает нас как человек — своей многообразной, мятущейся и вместе с тем сдержанной в своем выражении, внутренно утонченной, и вместе с тем такой чуткой к проявлениям стихийной жизни, голоса стихий, душой. И эта же душа так ощущает — романтически, или вернее, романтически-классически — красоту итальянского мира и дыхания дремлющих богов и очарование античности. А еще более, может быть, он зачарован русскими черноземными просторами — безбрежными полями под нависшей грядой угрюмых грозовых туч в жаркую июльскую ночь, или прохладной тенью рощи в летний полдень. Это захватывает не только жизнь сердца с ее невыразимой, хотя и сдержанной болью тоски и разлуки, но и острая, строгая мысль, смотрящая в глубины мироздания. Тютчев — большой и подлинный мыслитель, но мысль его перевита с его чувством, часто связана с болью. Но есть и подъемы — встречи, духовные прикосновения к источникам жизни.

Сначала несколько слов о стиле Тютчева. Сжатость, лапидарность, сдержанность — мы уже об этом говорили. Он часто как будто боится профанировать свое чувство, говорит часто лишь намеками. Вспомним эту картину сияющей природы:

Утихла буря, легче дышит
Лазурный свод Женевских вод,
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

. . . .

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою —
Когда бы там, в родном краю,
Одной могилой меньше было.

Или еще:

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом;

и так далее. И потом:

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней —
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей.

Несколько слов всего, и как пронзительно, как они больно захватывают душу!

Язык Тютчева чрезвычайно богат в своей лирической насыщенной сдержанности, в своих многообразных оттенках. То он звучит мерно и торжественно, как удар колокола, то он приближается к самой простой, разговорной, повседневной речи, не боится снизиться до уровня «домашних» безыскусственных оборотов.

Вот торжественно-размеренное четверостишие:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них.

(«Последний катаклизм»)

А вот здесь какая непринужденная легкость разговорного языка:

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство!
И как, спрошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?

Легкость, непринужденная простота и при этом — насыщенность лирическая, *захваченность красотой* — вот характерные черты поэзии Тютчева. Захваченость красотой, раскрывающейся перед ним и на Западе и на Востоке. Редко кто так сумел проникнуть в душу итальянского ландшафта, замершей в весенней истоме итальянской виллы, с ее безмятежно дремлющими в зачарованном безмолвии террасообразными садами, при немолчном лепете фонтана, как Тютчев в своей «Итальянской вилле»:

... И мы вошли: все было так спокойно,
Так все от века мирно и темно!
Фонтан журчал. Недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно...

Это вилла д'Эсте в Тиволи или вилла Альдобрандини в Фраскати, или одна из тех зачарованных итальянских вилл, по которым и теперь еще можно бродить в полном одиночестве.

А вот лунная ночь над Римом:

В ночи лазурной почивает Рим.
Взошла луна и овладела им,
И спящий град безлюдно-величавый
Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ея лучах,
Как с ней сроднился Рима вечный прах!
Как будто лунный мир и град почивший —
Все тот же мир волшебный, но отживший!...

Это — Рим еще эпохи романтики, но это можно на Капитолии и вокруг Форума и во многих его закоулках пережить и сейчас.

И на ряду с этим — стихия захваченности русским пей-

зажем, страстная и чуткая погруженность в душу средне-русской природы.

Совершенно несравненны, по музыке стиха и по тихой музыке вызываемых ими образов эти восемь строк, посвященных лунной ночи над зреющими полями:

Тихой ночью поздним летом
Как на небе звезды рдеют!
Как над сумрачным их светом
Нивы дремлющия зреют!

Усыпительно безмолвны
Как блестят в тиши ночной
Золотистыя их волны,
Убеленныя луной!

Или вот летний грохочущий вихрь набегающий на встревоженно шумящий лес:

Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!

Как под незримою пятой
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой,
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу . . .

Вот зеленеющая роща в беззвучный, недвижный июльский полдень:

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
И в ней какою негой веет
От каждой ветки и листка!

Пойдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником,
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный
К нам долетает с вышины...

Тютчев — повторяю — одно из высших проявлений русского художественного творчества. В его поэзии — синтез не только Запада и Востока, культуры Италии, Франции, Германии и глубокой укорененности в русском народном православном благочестии, глубокого понимания его, но в нем также соединение страстной нежности души с силой и размахом мужественно и пристально созерцающей мысли. В нем есть органиическая близость к романтике — его собственная душа часто романтична, его собственная душа поет, ил, вернее, внимает внутреннему пению невидимых, в глубинах ее сокрытых питающих ключей:

Внимай их пенью, и молчи!

Над охмелевшими головами участников только что окончившегося пира сияют «непорочныя» звезды:

Кончен пир, мы поздно встали...
Ночь достигла половины...

Как над беспокойным градом,
Над дворцами, над домами,
Шумным уличным движеньем,
С тускло-рдяным освещеньем
И безумными толпами, —
Как над этим дольним чадом,
В черном, выспреннем пределе,
Звезды чистыя горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами!

У Тютчева не только соединение различных черт, богатство синтеза, у него и *раздвоение*, мучительное, страстное, борьба в его внутреннем человеке. И то же он ощущает и в

душе русского народа. И то же ощущает он в мире, в природе: врывающаяся тьма, страшный врывающийся хаос, столь близко подходящий к нам, касающийся нас. Но вместе с тем все эти наши расприи, борьбы, мятеж страстей . . . проходят бесследно, поглощаются навеки торжествующим лоном безразличной природной жизни. Так кажется ему иногда.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Но есть и другой ответ, ответ, который Тютчев ощущает и за себя и за русский народ:

О, вещая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия.
Так, *ты* жилица двух миров,
Твой сон — пророчески-неясный,
Твой день — болезненный и страстный
Как откровение духов . . .
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковыя,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Он радостно приветствует в 1857 году приближающееся освобождение крестьян и дух свободы, который повеял от намечающихся реформ Александра II-го. Но кто даст народу забыть прошлое? Кто излечит духовные раны? Кто примирит враждующих, кто обновит духовно?

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старыя, гнилыя раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа...

Здесь — высший подъем духовных исканий Тютчева.

3.

Другой поэт — «служитель красоты», выросший, как Тютчев в деревне, а потом значительную часть своей жизни опять продолжавший жить в деревне; как Тютчев зачарованный (может быть еще сильнее, ибо это было в годы страстного отроческого восприятия впечатлений) красотой Италии и как Тютчев же захваченный философией германского романтизма и —больше того — платоновского идеализма и еще более: образом воплощенного Слова Божия Иисуса Христа, центрального и решающего объекта его духовного устремления — этот великий русский поэт граф Алексей Константинович Толстой (1817-1875), часто несправедливо замалчиваемый, встает перед нами, как один из великих русских художников слова, исполненных духовного многообразия и богатства. Многообразие — в темах и предметах и источниках вдохновения, но через все его творчества четко вырисовывается его, духовно богатая, но вместе с тем мужественно-определенная, лирически нежная и вместе с вместе с тем рыцарски мужественная натура. Алексей Толстой по своему внутреннему облику есть смелый и независимый, и вместе с тем широкий духовно, не фанатично-узкий рыцарь духа.

Он — настоящий поэт, но он чувствует вместе с тем определенно и ярко, что поэзия есть служение, не политически-общественное, а прежде всего *служение духа.* Этим порывом служения духа, борьбой за права духа согрето многое в творчестве Алексея Толстого.

Но прежде всего, не мудрствуя лукаво, он юношески, почти мальчишески увлечен, захвачен расцветающим миром природы.

Въезжают они во трепещущий бор,
Весь полный весеннего крика,
Гремит соловьиный в шиповнике хор,
Звездится в траве земляника.
Черемухи ветви душистые гнут,
Все дикие яблони в цвете,
Их запах вдыхаючи, мыслит Канут
Жить любо на Божием свете.

Недаром:

Звонче жаворонка пенье
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

. . . .

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй
Как натянутые струны
Между небом и землей.

Легкие, свежие, еще не яркие тона ранней весны ему особенно дороги, той ранней поры, когда «зелень рощ еще сквозила» и «в завитках еще в бору был папоротник тонкий». В легкой тени берез она опустила пред ним очи.

То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды —
О, жизнь, О, лес, о, солнца свет,
О, юность, о, надежды!
И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый, —
То было раннею весной,
В тени берез то было.
То было в утро наших лет —
О, счастие, о, слезы!
О, лес! О, жизнь! О, солнца свет!
О, свежий дух березы.

Черниговская губерния, ее центральная, лесистая часть, в которой рос Алескей Толстой, наложила печать на его творчество. Леса и перелески — дубовые с большими лу-

жайками, поросшими орешником и лесной малиной, и сосновые; многообразные трели птиц — соловьи и иволги, запах «смолы и земляники»; луга с волнующимися колокольчиками и простор полей — раздолье для верховой езды. Особенно же запали ему в душу извивы речки Красный Рог, протекающей по лугам и перелескам между высокими стенами тростника. Долгие часы в своей юности проводил он, повидимому, в лодке, тихо скользящей по реке, то въезжая под тень прибрежных деревьев, то снова выезжая на солнце, среди зарослей водяных трав и цветов, под гуденье шмелей, при мелькании синеватых стрекоз и бабочек [180]).

Эта картина, этот задний фон: заросшая водяными цветами речка — вся в солнечных бликах, встает перед нами из баллады об Алеше Поповиче:

Их услыша, присмирели
Пташек резвые четы,
На тростник стрекозы сели,
Преклонилися цветы:
Погремок, пестрец и шильник,
И болотная заря
К лодке с берега нагнулись
Слушать песнь богатыря.

. . . .

Но не меньше очарование чистого песчаного берега реки в летний полдень:

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод:
«Дитя, подойди к нам поближе;
«Тебя мы научим летать.
«Дитя, подойди, подойди же,
«Пока не проснулася мать.
«Под нами трепещут былинки,
«Нам так хорошо и тепло,
«У нас бирюзовые спинки,
«А крылышки точно стекло.»

. . . .

А вот несколько выдержек из его писем:

«Если-бы вы знали, дорогой Яков Петрович, какое это великолепие Красный Рог летом и осенью», пишет он поэту Полонскому. — «Леса кругом на пятьдесят верст и более, луга и лощины такие красивые, каких я нигде не видал, а осенью, особенно в эту осень, не выезжаешь из золота и пурпура. Это было до того торжественно, что слезы навертывались на глаза [181]».

«Я радуюсь как ребенок», пишет он в письме к писателю Маркевичу, — «случай угостить Андрея (его племянник и приемный сын) новой охотой на глухарей ... Вообразите себе весеннюю ночь, теплую, темную, звездную посреди лесов. Вы сидите у костра; сухой хворост пламенеет, кричат цапли в болоте ... и потом, прыжок за прыжком, вы подходите к глухарю, поющему свою таинственную, возбуждающую песню» ...

А вот из другого письма пронизанного отзвуком весенних голосов:

«Сегодня суббота, и звон колоколов нашей маленькой церкви сливается с соловьиным пением и иволгой ... Ничто не молчит кругом, все поет и радуется весне ... Я сам чувствую ,что готов запеть. Все деревья зелены; глухари более не токуют, но лесные бекасы еще лучше запели ... Господи, какая красота весна ... Неужто-ж мы на том свете будем еще счастливее, чем здесь весной [182])».

Вспоминаются эти строки из его баллады «Сватовство» (кстати, написанной им, равно, как и баллады «Илья Муромец», «Алеша Попович», «Садко» и «Канут» в последний период его жизни, когда он уже болел):

По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли.

Поведай, песня наша,
На весь на русский край,
Что месяцев всех краше
Веселый месяц май.

В лесах, в полях отрада,
Все вербы расцвели,

Ой, ладо, диди-ладо,
Ой, ладо, лель-люли.

. . . .

Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи,

И много в небе рея,
Поет пернатых стай —
Всех месяцев звончее
Веселый месяц май.

Но Алексей Толстой не ограничивается только красотой внешнего мира, чувство и мысль его *уводятся в глуби.* Он чует «сквозь легкий сон полей, лесов и нив движенье могучих сил».

...И мнилось мне, что я лечу без крыл
Перехожу, подъят природой всею
В один порыв неудержимый с нею.

Вот эти *задние фоны* действительности, сокровенные глубины и источники жизни природы вдруг встают перед его взором. Он чувствует Великую, питающую и основоположную Тайну мира и старается закрепить это словами. У него есть подлинное и глубинное мистическое ощущение, но его мистическая философия мира выливается у него иногда в несколько бледный трафаретный пересказ Платоновских идей (так, например, в первой песне «Иоанна Дамаскина»). Чувствуется иногда некоторая холодная надуманность: его искренняя, горячая мистически-философская мысль не всегда адэкватно претворяется в поэтическое выражение. Но искренним непосредственным чувством дышет его знаменитое стихотворение: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре» (несмотря на некоторую отвлеченность, недостаточную претворенность в поэтическое чувство, особенно, например, 4-ой строфы)

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце озарила,
И лишь на землю, к нам, ея светила
Нисходят порознь редкие лучи.

И порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты,
Нам вестью лес о ней шумит отрадной,
О ней поток гремит струею хладной
И говорят, качаяся, цветы.

. . . .

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще — неволя недолга —
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега.

Основа и тайна мироздания — творческая, живительная любовь.

Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова;
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо.

. . . .

И вещим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова,
И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало...

Глубинный, невидимо питающий центр личности и миросозерцание Алексея Толстого — его религиозные переживания. Творческая Любовь, лежащая в основе мироздания

раскрылась как Воплощенная Любовь Божья. Религиозный опыт Алексея Толстого, как он встает перед нами из его поэзии, глубоко христоцентричен.

Его отношение к образу Христа явствует, например, из знаменитых строк его «Грешницы»:

«И пронеслося над народом
Как дуновенье тишины,
И чудно благостным приходом
Сердца гостей потрясены.
Замолкнул говор. В ожиданьи
Сидит недвижное собранье,
Тревожно дух переводя —
И Он, в молчании глубоком,
Обвел сидящих тихим оком
И, в дом веселья не входя,
На дерзкой деве самохвальной
Остановил свой взор печальный.
    И был тот взор как луч денницы,
И все открылося ему,
И в сердце сумрачном блудницы
Он разогнал ночную тьму.
И все, что было там таимо,
В грехе, что было свершено,
В ея глазах неумолимо
До глубины озарено.
Внезапно стала ей понятна
Неправда жизни святотатной,
Вся ложь ее порочных дел —
И ужас ею овладел.
Уже на грани сокрушенья
Она постигла в изумленьи,
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил.
И как она восход свой ясный
Грехом мрачила ежечасно.
И, в первый раз гнушаясь зла,
Она в том взоре благодатном
И кару дням своим развратным
И милосердие прочла.
И, чуя новое начало,
Еще страшась земных препон,
Она, колеблюся, стояла . . .

И вдруг в тиши раздался звон
Из рук упавшего фиала,
Стесненной груди слышен стон,
Бледнеет грешница младая,
Дрожат открытые уста —
И пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа.»

Поэтому отчасти и как личное исповедание нужно рассматривать слова его поэмы «Иоанн Дамаскин»:

«Как горной бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно —
Какия-ж мне воспеть дела,
Какия битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу,
Чье передам я торжество,
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный,
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной;
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излиянья —
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья,
И не в венце сияет Он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит Он, гордый сын побед,
Не в торжестве величья — нет —
Я зрю Его передо мною
С толпою бедных рыбаков,

Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простыя Он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ея источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать
И крест на плечи твой приять
И на главу венец терновый!
О если-б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов!
О, мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещия уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!»

4.

Если художественное творчество способно вообще дать вам почувствовать жизнь как живую, так что вы почти *осязаете* ее, то этого высшего дара — непревзойденной никем *свежести* и подлинности изображения жизни, которая тут живет и захватывает вас, достиг Лев Толстой. Россия к нем жива во всей своей яркости, свежести и правде. Россия деревенская — помещичья, усадебная и крестьянская, Россия семейной традиции культурного класса; хлебосольная Москва и петербургские правительственные центры и салоны, чиновники, гвардейские офицеры, судебные деятели и зем-

цы-славянофилы; и «Власть тьмы» и «Хозяин и работник»; Россия всенародного подъема 1812 года, русские солдаты и офицеры в Наполеоновскуе войну, Севастопольскую кампанию и на Кавказе; Россия «Холстомера» — мокрый от росы выгон в утреннем тумане, и шуршание лопухов в утренней росе под сапогами идущего на охоту Левина в «Анне Карениной«. Августовская лунная ночь с черными тенями георгин и их подпорок, косо падающих на блестящий в лунном свете щебень дорожки; резкие тени от балкона и покрывающего его полотна, и нижняя часть серебристого тополя, стоящего у дома, вся закрыта мраком, а верхняя честь, залитая лучами луны, кажется свободно реющей в вышине, — вот-вот она оторвется и улетит в глубину темной синевы. И все это пространство перед домом кажется окруженным зачарованной стеной, сотканной из лунного света и тумана, — кажется, что там кончается этот доступный нам мир, что дальше идти нельзя, что там начинается недоступное, зачарованное царство. И мы, тем не менее, шли по аллее парка, деревья казались колеблющимися домами с яркими пятнами света между ними, желтые листья шуршали под ногами, и волшебная стена раздвигалась перед нами, но лишь для того, чтобы опять сомкнуться недосягаемым кольцом из лунного света и тумана и сзади и спереди. («Семейное счастье»).

Как-то совестно своими словами пересказывать Льва Толстого, но делаю это только потому, что я пережил его описание этой августовской лунной ночи, как явления природной жизни, как некий *подлинник* природной жизни, незабываемый в своем очаровании.

Это соединение тончайших черточек «реализма» в изображении с захваченностью, я сказал бы с магической, зачарованной захваченностью, с ощущением (теоретически, словесно не выраженным) каких-то глубин этой захватывающей красоты, поражает и захватывает нас. Вот еще картина из того же «Семейного счастья»: конец мая, вечер на террасе дома.

«Отовсюду сильнее запахло цветами, обильная роса облила траву, соловей защелкал недалеко в кусте сирени и затих, услышав наши голоса; звездное небо как будто опустилось над нами. Я заметила, что уже смерклось, только потому, что летучая мышь вдруг беззвучно влетела под парусину террасы и затрепыхалась около моего белого платка. Я прижалась к стене и хотела уже вскрикнуть, но

мышь так же беззвучно и быстро вынырнула из-под навеса и скрылась в полутьме сада . . .»

«Мы затихли после ухода Кати, и вокруг нас все было тихо. Только соловей уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо, спокойно, заливался на весь сад, а другой снизу от оврага, в первый раз нынешний вечер, издалека откликнулся ему. Ближайший замолк, как будто прислушался на минутку, и еще резче и напряженнее залился пересыпчатой звонкой трелью. И царственно-спокойно раздавались эти голоса в ихнем чужом для нас ночном мире. Садовник пошел спать в оранжерею, шаги его в толстых сапогах, все удаляясь, прозвучали по дорожке. Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой, и опять все затихло. Чуть слышно заколебался лист, полохнулось полотно террасы, и, колеблясь в воздухе, донеслось что-то пахучее на террасу и разлилось по ней . . .»

Мелкие реалистические детали: «Садовник в толстых сапогах прошел спать в оранжерею . . . Кто-то пронзительно свистнул два раза под горой . . . А между тем, соловей, уже не по-вечернему, отрывисто и нерешительно, а по-ночному, неторопливо и спокойно, заливался на весь сад . . . И царственно-спокойно раздавались эти голоса *в ихнем, чуждом для нас ночном мире . . .»* Чуждый для нас, «ихний» мир здесь близко, рядом. Мир красоты, сливающийся с этим нашим миром. Такая же зачарованность (и вместе с тем это — жизнь, веселая, искрящаяся жизнь молодости) в этом санном беге лунной ночью по снежной равнине в «Войне и мире».

«Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отливом, снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз, толкнул ухаб в передних санях; точно так же толкнуло следующие сани и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.

— След заячий, много следов! — прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.

— Как видно, Nicolas! — сказал голос Сони, — Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое, лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете близко и далеко выглядывало из соболей.

«Это прежде была Соня», подумал Николай. Он ближе вглядывался в нее, и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего, — сказал он и повернулся опять к лошадям.

Выехав на торную, большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная ,загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: начинать или рано еще? — Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцем, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье и хохот и голоса наряженных.

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнул Николай, с одной стороны поддергивая вожжу и отводя с кнутом руку. И только по усилившемуся как будто на встречу ветру, и по подергиванью натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.

Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко-разъезженную дорогу по лугу около реки.

«Где мы едем?» — подумал Николай. — «По Косому лугу, должно быть. Но нет, это что-то новое, чего я никогда не видал. Это не Косой луг и не Демкина гора, а это Бог знает что такое! Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.

Захар сдержал лошадей и обернул свое уж обиндевевшее до бровей лицо.

Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.

Ну, держись, барин, — проговорил он. — Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.

— Врешь, барин, — прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.

Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами . . .»

Один из приемов — не приемов, а вернее способов творчества Толстого, ибо это непроизвольно, это — видеть окружающий мир глазами очень молодых: глазами Наташи, Николая Ростова, Оленина в «Казаках». Все воспринимается ярче, значительнее, все полно обещаний: это — то «весеннее чувство», о котором Толстой пишет в своем «Отрочестве»: ожидание, что вот-вот начнется, что-то важное, решающее, радостное, находится тут близко за дверьми (глава «Как я готовлюсь к экзаменам»). Лев Толстой оттого так умеет передать эту юность сердца, эту свежесть отроческих и юношеских впечатлений, что он умел сам перенестись в эти чувства, даже и в зрелые и в старческие годы.

Это не лирика, а какая-то прозрачная, светлая трезвенность, исполненная *динамизмом жизни,* насыщенная жизнью, полноводная напряженность течения жизни — даже и в тяжелом, какая-то интенсивность жизненная, выражающаяся и в каждодневных мелочах мира человеческого и мира природного. Вспомним, например, эту первую весеннюю поездку верхом по полям Левина в «Анне Карениной»! Про художественное творчество Толстого можно сказать то, что он сам говорил о поэзии Гомера: «Вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем — и даже соринками, от которых она еще чище и свежее [183])».

Неудивительно поэтому, что Толстой любит изображать повторяющееся, основоположное, глубоко-типическое в жизни человеческой и природной, повторяющиеся, возвращающиеся *основные ритмы жизни.* И при этом это типическое выражается им в необычайно тонких, глубоко индивидуальных психологических образах. Он захвачен красотой жизненного потока, ритмически мирно возвращающихся кругов жизни — уютными переживаниями детства, исканием юности, волнениями первой любви, восторгами жениховства, счастьем и разочарованием брачной жизни, полными доверия и теплоты взаимоотношениями между родителями и детьми. И опять круг начинается сначала. Толстой — великий изобразитель и поклонник красоты и тепла русской *семейной традиции,* главным образом как он пережил ее сам в старых русских кольтурных семьях московско-помещичьего типа. Вспомним его старческие воспоминания с образом воспитавшей его и братьев и сестру, тетушки Татьяны Александровны Ергольской, которая окружила их чисто материнской любовью и научила его «счастью любить». Тепло материнское, сияюще-лучистый образ матери: в «Детстве», и об-

раз княжны Марии, когда она уже замужем и ведет дневник о своих детях — в конце «Войны и мира»; или вот приезд Николая Ростова домой после прусской кампании 1807 года — все родные радостно бросаются на него, обнимают, рвут на части; младшие сестры и брат скачут вокруг него, как егоза, но матери нет среди них, и вдруг он слышит спешные шаги . . . он не узнал их, ибо они так спешат к нему: это — шаги матери! Укорененность в родном быте, любовь к деревне, деревенскому укладу жизни и, вместе с тем, участие в западной культуре. Такова семейная атмосфера любимых героев Толстого.

И как изображает он ритм — нормальный,регулярный, не уничтоженный в своих основах даже таким потрясением, как война 1812 года — семейной, обще-человеческой жизни, так рисует он и ритм жизни природной, круговорот времен года и годовой ритм сельских работ. Все это глубоко уходит в родную русскую почву, из нее вырастает. Тут Толстой и глубоко народен и вместе с тем и общечеловечен. Его более всех русских писателей понимают и любят иностранцы. Думаю, что и русские больше всего любят читать произведения Льва Толстого и больше всего именно его призведениями наслаждаются.

Но есть и другая сторона в Толстом, которая подводной струей протекает через его творчество, даже в самый жизнерадостный его период: искание смысла жизни, соединенное с сознанием преходящести того, что любишь. И радость жизни, и *недоумение над жизнью*. Вот эта боль, это недоумение сначала мало окрашивают его творчество, хотя уже входят в его жизнь (уже со всей определенностью прорываются они у него, судя по его интимным записям, в то время, когда он жизнерадостный, полный подъема сил, 27-летний поручик артиллерии стоит в резерве со своей батареей под Севастополем и своей бодростью и веселостью духа заражает и подкрепляет духовно своих товарищей). Это — тоска жизни, «taedium vitae», сознание тщеты пробуждается потом все сильнее (отдельными моментами) особенно после смерти у него на руках его любимого брата Николая, умершего от чахотки. Но все это мало входит в его творчество: жизнерадостность его творчества помогает ему преодолеть тоску жизни, творчество и красота обновляющейся природы есть главное противоядие этой тоски. А потом супружеская любовь, счастливая семейная жизнь! Это —главное противоядие против тоски жизни: жена, дети, и творчество, и хозяй-

ство, и охота, и верховая езда, и природа, и занятия в народной школе, и страстный интерес к народу, к крестьянским детям, и динамическая устремленность вперед, и внутреннее, отчасти подсознательное, питание души могучей духовной традицией, питавшей предыдущие поколения. Но через 15 лет после женитьбы, когда он на верху славы, — ему 47 - 48 лет и он кончает свою «Анну Каренину», — эта подземная струя прорывается наружу, захватывает жизнь и творчество, полу-разбивает и жизнь и творчество и вместе с тем все же углубляет, оплодотворяет их. Это — те проклятые, страшные, вопросы, те заминки, «остановки жизни, о которых он пишет в своей «Исповеди». Три года приблизительно — с осени 1876 года до осени 1879 года длилось, согласно книге Александры Львовны Толстой об ее отце («Отец»), высшее напряжение этого кризиса. При этом он находил волнами. Толстой судорожно ищет точки опоры, хватается за остатки своей веры, старается ее укрепить, удержать, подчеркнуть во-вне. Но находит новая волна сомнений. И вновь надвигается черный «мешок».

Толстой вышел из этого кризиса, он выжил и физически и душевно; он нашел силу жить и смысл для своей жизни. Но насколько разительна и убедительна у него постановка вопроса обще-человеческого по размаху и значению, а по интенсивности, по силе горечи и скорби приближающаяся к «Все — суета сует» Экклезиаста и к скорбным возгласам Иова и Будды, — настолько же не удовлетворяет найденное им теоретически-абстрактное решение. Оно спасло его отчаяния и ужаса, но как оно холодно, рассудочно, «безблагодатно». Это холодное, самодовольное сектантство, но и это было бы не так уже и плохо (бесконечно лучше, чем «черный мешок» отчаяния), если бы оно не было так *агрессивно нетерпимо* к чужому религиозному опыту и убеждению, если оно не было так резко а-мистично, а потому закрывало себе двери к признанию глубин сверх-рационалистического божественного откровения. С величайшей нетерпимостью говорил Лев Толстой о терпимости, с пеной у рта проповедывал любовь. Конечно, далеко не всегда. Но печально было то ,что он не уважал чужого религиозного опыта, что он старался резкими, грубыми словами *оскорбить* чужое религиозное чувство — не оспаривать его, на что он имел, конечно право, а именно оскорбить, забрызгать грязью (например, такие слова, как «вонючее православие», являются еще сравнительно умеренными). И в дешевых, напи-

санных народным языком брошюрках он стремился отнять у народа веру в Божественного Спасителя, не считаясь с неумением народа защитить себя и свою веру. И вместе с тем, по рассказу его друга (и двоюродной тетки), графини Александры Андреевны Толстой, которую он сначала (в начале 1880 года), грубо оскорбил своими насмешками над «святая святых» ее веры, — голос его (это относится к пребыванию ее в Ясной Поляне шесть лет спустя, в 1886 году) дрожал от волнения и слезы навертывались на его глазах, когда при чтении им ей вслух своих любимых стихов А. К. Толстого и Хомякова встречалось ему имя Христа. Христос был для него, подсознательно, в противовес его рационалистическому отрицанию, все-таки больше, чем только учитель совершенной морали. Его личность, божественный свет Его личности, притягивал и покорял душу Толстого. И это так чувствуется в ряде его «Народных рассказов», особенно в рассказе «Где любовь, там и Бог», написанном около того же времени (половина 1880 года). Недаром Иван Сергеевич Аксаков говорил про эти народные рассказы Толстого, что в них «обнаруживается, что Лев Николаевич стоит к святой истине в таких чистосердечных отношениях, тайна которых не подлежит нашему анализу . . . Очевидно, у него свой конто-курант с Богом» (приведено у А. Л. Толстой, «Отец», II, 28).

Но заслуга Толстого несомненна в том, что он понял *радикализм* морального учения Нагорной Проповеди (иногда Толстой впадает при этом в однобокое, искажающее это учение буквоедство), моральный радикализм христианства вообще. Но не признавая благодати, отрицая в течение значительной части этого моралистически-проповеднического периода своей жизни молитвv (по наивно-рационалистическим соображениям: смешно-де думать, что Бог изменит предустановленный Им ход событий по нашей просьбе), Толстой ставил человека одного перед лицом превышающих его человеческие силы требований ригористической морали (истолкованной к тому же у Толстого в заостренно-однобоком и при этом резко-фанатическом духе). Но в христианстве человек стоит *не один* перед лицом этих повышенных требований и зовов нового духовного бытия: он участвует духовно в жизни и подвиге Того, Кто отдал Себя в жертву в безмерном послушании Отцу. Он был «охвачен» — говоря словами апостола Павла — «любовию Христовой» и его благодатным присутствием: «Живу уже не я, но живет во мне Христос». Но это отвергалось Толстым в его самонадеянно-холодном,

горделиво-моральном самоутверждении. И опять-таки это был не весь Толстой. Наряду с презрением к инакомыслящим религиозно (которым так дышет его «Воскресение»), наряду с проповедью самодовлеющей и самоутверждающейся, все силы человеческие безмерно превышающей (если не охвачена будет душа благодатной помощью, благодатным *присутствием* свыше) ригористической морали, нередко заостряемой и преувеличиваемой Толстым до изуверства, наряду с этим — вдруг опять искания и борения, порывы мягкости душевной, смирение перед другими людьми, смиренное и покорное перенесение тех тяжелых и трудных сторон его домашней жизни, которые в значительной степени были вызваны его собственной резкостью и фанатичностью. По письмам его последнего периода (особенно после 1900 года), по записям его дневника видно, как смягчается его душа, как он становится внимательнее, добрее к людям, как он с большим уважением и теплотой начинает относиться к религиозным и нравственным убеждениям других, даже когда они не сходны с его собственными. И потом бегство из дома, темной ноябрьской ночью, прибытие в Оптину пустынь, посещение сестры — монахини в Шамардине, кончина на маленькой узловой станции Рязанской губернии. Не символично ли это для его *искания?* И если он много зла сделал своим осмеянием религии и высшей святыни народа в своих популярно-учительских книжках (не в своих «Народных рассказах»), то не искуплено ли это собственными муками душевными, той искренностью и тем *исканием Истины,* которые характеризуют до конца, несмотря на временные черты нетерпимо-фанатического сектантского самодовления? Если в религиозном его учении *не хватает мистического чувства,* не хватает смиренного и радостного склонения во прах перед Божественным Преизбытком, перед безмерно раскрывающейся Любовью Божественной, то совесть его в нравственных вопросах чутка и мужественна, готова на героизм, не боится борьбы и подвига. Его нравственно-социальные возрения полны ужаса перед тем, как так называемое «христианское общество», даже в лице своих официальных представителей и руководителей, безразлично, безучастно к горю людскому, к нищете и грязи, в которых живут миллионы городской и крестьянской бедноты. Может быть, его выводы непрактичны и могут быть критикуемы, но бужение им чувства *нравственной ответственности* за положение наших братьев, неудовлетворенность его дешевыми, легкими отве-

тами и решениями, не тревожащими нашу эгоистическую любовь к покою и ленивому самоутверждению, его истинно-христианский *нравственный ригоризм* (не вполне, впрочем, истинно-христианский: с нравственным учением Христа, но без веры в божественного Спасителя, без веры в Его благодатную, спасающую силу) — вот эта его мятущаяся душа, и изображенная им красота жизни и эти его вопросы о правде жизни и о смысле жизни и его борьба с ужасом смерти, его искание — может быть, далеко не удачное в своих выводах — точки опоры духовной: все это дает Льву Толстому *всемирно человеческий* размах. Он есть одно из высших проявлений духовного творческого синтеза в русской культуре 19-го века: русская жизнь, русская почва, особенно деревенская, русские просторы, русская семейная, культурная и государственно-общественная традиция и динамика и русское же напряженное, до крайности доходящее искание и отрицание, и *обще-человеческое,* вырастающее далеко за пределы отдельной нации и отдельной культуры, обаяние огромного мастерства и огромной захваченности красотой и жизни и мира, и обще-человеческая же *тоска* «taedium vitae», ужас перед смертью и — искание — до конца неослабное — искание ответа.

5.

Но Достоевский в еще большей мере все-человечен, чем Толстой и не менее русский, только он изображает другую сторону России — если хотите, другую Россию: *взбудораженную Россию.* Она не более и не менее правдива, чем Россия Толстого. В плане реального мира изображение России у Достоевского, может быть, даже менее соответствует ежедневной, эмпирической действительности, чем у Толстого (правда, Достоевский изображает совсем другие слои, чем Толстой), но он *забирает глубже.* Не только в смысле психологических тонкостей или изображения разных психологических «курьезов» — душевной неуравновешенности в самых различных ее видах, маниакальной истерии, приближающейся часто к психопатству.

Доктор Чиж, невропатолог, в известной статье своей в «Вопросах философии и психологии» более, чем пол-века назад, насчитал 29 психопатов в произведениях Достоевского. Нельзя отрицать огромное мастерство Достоевского в изображении психопатизма. Вообще одной из отличитель-

ных черт его творческого стиля (наряду с мастерски проведенной сложностью фабулы и запутанностью интриги, приближающейся иногда почти к типу детективных романов или романов с приключениями в стиле Eugène Sue и некоторых произведений Жорж Занд) является огромное — может быть, диспропорциональное на наш взгляд — количество неуравновешенных, истерических, кричащих, вопящих, волнующихся, часто кривляющихся и выставляющих себя на показ субъектов. Поражает нескромность, несдержанность, часто отсутствие внутреннего целомудрия, внутренней стыдливости в душевных переживаниях многих из них. Все они тащат наружу, разглашают, разглагольствуя, направо и налево сокровеннейшие движения собственной души. С таким же отсутствием стыдливости и меры врываются они иногда в интимную жизнь других, почти незнакомых людей, лезут с непрошенными указаниями и рассуждениями. Это иногда —сплошная истерика, сплошное кликушество, при этом часто на фоне радикального, самоуверенного и душевно несдержанного интеллигентства. Но особенно любит Достоевский типы добровольных шутов, психологических «приживальщиков», находящих наслаждение в болезненном самоунижении, в истерическом, шутовском самооплевании, в бесстыжем, навязчивом, заискивающем (при этом ненужном) «лебезении» на потеху другим. Это не юродство, не смирение подлинных юродивых, а болезненно-сладострастное, и желчное и вместе с тем, изломанно-отталкивающее, фиглярски-надрывное надругательство над основами собственного человеческого достоинства, собственной нравственной личности. Вообще отталкивающего много в этой массе кричащих, волнующихся, несдержанных, истерически-кликушеских персонажей Достоевского. Конечно, далеко не все такие, но таких немало. И, кроме того, общий тон взбудораженности душевной, повышенной восприимчивости, доходящей — как мы говорили — часто до истерии, до безмерности, до нездоровой возбужденности, царит над его произведениями. Мы просто утомлены этими кричащими, волнующимися субъектами и вместе с тем мы зачарованы захватывающей напряженностью действия и гениальной глубиной произведений Достоевского. Но мы понимаем, мы чувствуем, что они могут действовать нездорово и душевно расслабляюще и мучающе и могут отталкивать. Ибо искусство в изображении человеческой психологии и, в первую очередь, ее болезненно неуравновешенных, истерических

сторон огромно. Недаром Достоевский прежде всего прослыл великим психологом, психологом душевно-болезненных явлений. Михайловский называет его «жестоким талантом». Через призму болезненно-истерического психологизма был Достоевский воспринимаем и в разных крикливо-эстетических литературных салонах Запада, полных снобистической извращенности, и в среде русских «оргиастов» и символистов и их проповедью кликушества и болезненного сладострастия. Великим психологом, особенно изображателем низких, темных сторон, болезненных явлений душевной жизни, был признан он — как мы видели — уже при жизни. Но сам Достоевский не признавал таких определений внутреннейшей сути своего таланта и своего творчества и сердился на них. «Меня называют психологом. Но я не психолог, я — реалист, но только в глубоком значении этого слова». Здесь сам Достоевский дает ключ к своему творчеству, к характеру своего гения. Он — реалист, *изображающий духовные реальности,* духовные глубины жизни, то, что *там, по ту сторону* внешних проявлений душевной жизни. А в этих глубинах ведется искони борьба между Светом и Тьмой, между Богом и Диаволом. И касается это равно как отдельной, индивидуальной души, так и духовной жизни, духовной судьбы целого народа.

Отличительная черта гения Достоевского — его огромное *духовное мужество,* его огромная духовная напряженность и динамичность. Эта глубинность его созерцания, эта мужественная напряженность его духа уравновешивает, нейтрализует, обезвреживает всю болезненность, взвинченность, всю кликушескую, иногда сладострастно окрашенную, иногда извращенную неуравновешенность многих из изображаемых им психических состояний. Более того, он виртуозно, гениально пользуется ими для своих творческих целей; они, эти болезненные, взвинченные душевные состояния, ему особенно нужны, как особенно подходящие ему краски на его палитре. Они — тот душевный материал, в который он облекает созерцаемые им факты духовной реальности или, вернее, эту борьбу в плане духа. Для этой напряженной борьбы в плане жизни духа, для этого страстного созерцания последних, основоположных проблем и тайн жизни, психическая взбудораженность является часто самым подходящим и послушным одеянием. И это осуществленно у Достоевского с гениальной силой и гениальной убедительностью. Он — мастер, он — творческий гений и вместе с тем мысли-

тель с силой и яркостью и четкостью и мужеством умственного созерцания, которому нелегко найти равного (он приближается здесь к Паскалю), и вся эта психологическая взбудораженность и даже крикливая истеричность некоторых из его героев есть лишь послушный материал в творческих руках великого художника.

Реализм в смысле созерцания духовных реальностей и бесстрашное мужество мысли — вот, значит, две основные черты творческого гения Достоевского. Борьба духовная воплощается с необыкновенной убедительностью в образах живых людей. Эти люди очень часто являются у Достоевского неким *«экстрактом»*, некой *«конденсацией»* типических черт — таких вполне людей в окружающей жизни не бывает, это — потенцированная, сгущенная правда. Это не русский народ, даже не русская интеллигенция, сама по себе уже довольно взбудораженная и часто неуравновешенная, это — *возможности,* задние фоны в душе русского народа, неожиданно врывающиеся или могущие ворваться вихрем в жизнь, это — как мы говорили — те глубины, в которых Бог борется с диаволом. Но это — *правда,* только не повседневная, поверхностная, «реалистическая», «психологическая» правда, а правда основных, задних фонов жизни, питающих тайников жизни. И в том гениальность и сила Достоевского, что получаются не абстрактные, символические фигуры а *живые люди,* которым мы верим, которые облечены в подлинную плоть и кровь, которые необыкновенно убедительны и подлинны, которых мы даже узнаем как знакомых нам, хотя они часто — огромная творческая конденсация жизни.

Основной сюжет романов Достоевского лежит в этих глубинах духа. Действующие лица (не все, а главные) находятся в том или ином взаимоотношении с этими глубинами, воплощают в себе, сохраняя при этом всю свою яркую жизненность, те или иные моменты этой ведущейся в глубинах духовной борьбы, или то или иное отношение к этим основным проблемам — или вернее — силам, действующим в основных задних планах жизни. Какие же проблемы, какие же это реальности или глубины, которые более всего привлекают внимание Достоевского? На это давался ряд ответов. Указывалось на огромное значение для Достоевского проблемы свободы (Бердяев); указывалось на то, как вопрос о взаимоотношении между личностью и обществом (коллективом) проходит красной нитью через ряд главных творений

Достоевского (Гроссман). Ясно и не подлежит никакому сомнению, что духовная судьба русского народа, что борьба за душу русского народа, силы темные и светлые, действующие в глубинах этой души, что эта проблема глубоко и страстно волновала Достоевского. Все эти суждения глубоко верны, но и неверны, вместе с тем. Ни свобода личности, имеющая для Достоевского огромное значение, ни взаимоотношение между личностью и обществом, ни духовные судьбы русского народа, хотя они и тесно с ней связаны, *не* являются центральной темой, центральным вдохновляющим предметом творческих исканий и созерцаний Достоевского. Такая центральная, решающая тема для него только одна: вопрос о существовании Бога. Без решения этого основного вопроса все остальное не представляет ценности и не имеет смысла.

«Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю жизнь», пишет он в письме к Аполлону Майкову от 25 марта 1870 года, « — существование Божие». Эта проблема является главной темой задуманного им грандиозного произведения, часть которого он осуществил в «Братьях Карамазовых». «Бог мучил меня всю жизнь»», говорит у него Кириллов в «Бесах». Эти слова можно отнести и к самому Достоевскому.

Нельзя жить без смысла жизни. А есть ли он? «Молчание этих беспредельных пространств пугает меня» это выражение Паскаля может быть отнесено и к Достоевскому. Такое же впечатление «опустошенности» невольно охватывает при чтении того места в «Идиоте», где описывается картина Гольбейна в доме Рогожина — снятие обезображенного тела Христова со креста.

«Природа мерещится при взгляде на эту картину», пишет Достоевский, «в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно — в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и проглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо — такое Существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалось — то, может быть, единственно для одного только появления этого Существа. Картиной этой как-будто выражается это понятие о темной, жестокой и бессмысленной силе, которой все подчинено».

Еще более жутко звучат слова атеиста (атеиста, который в глубине души жаждет Бога!) Кириллова в «Бесах»:

«Слушай большую идею: был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со Мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая ни воскресенья. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек был высшим на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета со всем, что в ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть вся планета есть ложь и стоит на лжи и насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего жить? Отвечай, если ты человек».

Это, конечно, говорит не сам Достоевский, а Кириллов. Но такие мысли, приходившие в голову и Достоевскому, являются одним из звеньев в длинной цепи рассуждений за и против Бога, волнующих его героев, волновавших самого Достоевского. Для Достоевского это — не последнее слово. Страшная картина пустого или опустошенного мира, самодовольно-самоуверенный догмат материалистической псевдо-научной философии его времени, для него неубедительны. Он эту картину мира не принимает. Он жаждет святыни. Он *знает*, что есть святыня. И знает, что это есть внутренний, основоположный закон бытия человека — поклониться Святыне; без этого он не может жить.

«Все законы бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно Великим: если лишить людей безмерно Великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии»,

— так говорит Достоевский устами Степана Трофимовича в «Бесах». Так и в уста странника Макара Ивановича в «Подростке» он вкладывает такие слова:

«...жить без Бога — одна лишь мука. Да и что толку: невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И Бога отвергнет, так идолу поклонится — деревянному или златому, или мысленному...»

На это сознательно или бессознательно устремлено искание человека: искание им смысла жизни, в сомнениях, в

муках, даже отрицаниях. Поэтому совершеннейший атеист находится, может быть, на предпоследней ступени перед совершеннейшей верой. Но если человек сознательно поворачивается спиной к Богу, как Ставрогин, ибо Бог стесняет его самоволие, ибо его воля *не хочет* Бога, тогда такой человек духовно разлагается еще при жизни, как тот же Ставрогин. В том счастлив Иван Карамазов, что сердце его не может успокоиться на отрицании: «если не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца, и в этом — вся мука его», говорит ему старец Зосима. «Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небеси есть». Про себя же Достоевский говорит в своей записной книжке: «Я — неисправимый идеалист. Я ищу святыни, мое сердце жаждет ее. Я так создан, что не могу без нее жить». Внешнему впечатлению от молчащих миров и выкладкам механически-материалистически окрашенной науки противополагается чувство укорененности человеческого бытия в Бесконечно Высшем, голос сердца, осознание этой внутренней нормы, внутреннего закона человеческого бытия. Мы здесь также подходим к мировой загадке, но с внутренней ее стороны: через ощущение основного закона нашего духовного, морального существования.

Но если механически-материалистическое восприятие мира в современном ему естествоведении и в представителях материалистической философии не смущало особенно Достоевского, то сердце его трепетало и смущалось под гнетом жизненного опыта, под гнетом *моральной* оценки происходящего в мире. Сердце его трепетало от жалости. Неужели Бог не видит? Как может Он допустить такие страдания? Вот основной вопрос Достоевского: как объяснить страдания, особенно страдания праведников, страдания невинно страждущих, страдания маленьких детей? Ни из какой «экономии» мира, домостроительства мира не могут и не должны быть они объяснены. Это — слишком дорогой билет для входа на будущую гармонию. Не по карману он нам, говорит Иван. Но этот вопрос со всей силой ставится и Достоевским.

В этом «борении с Богом» Достоевский далеко вырастает за пределы одного только народа, одной только культуры — до пределов обще-человеческих. По силе скорби, тревоги и недоумения он приближается к Иову. «На всем Западе не встречал я такой силы отрицания Бога, какую я вложил в

разговор двух братьев в «Братьях Карамазовых», — заносит он в свою записную книжечку. «Ведь не как мальчик верую я во Христа», добавляет он. «Моя «осанна» через горнило сомнений прошла [184])».

Самый основной вопрос нашей человеческой, мировой жизни — особенно остро восчувствованный нами теперь — о смысле страдания и зла и горя и преходящести, царствующих в мире, ставит Достоевский ребром и жаждет, требует, ответа. У него есть только один ответ, и притом не теоретического характера: встреча с Живым Богом, встреча с Тем, кто в беспредельном Своем снисхождении сошел до глубины нашего страдания и разделил его с нами — даже да смерти на кресте. Его близость освящает и страдания. Но *как* веровать в Него? — мятущийся вопрос, поставленный всей огненной инвективой против дела Христова изверившегося в Него Великого Инквизитора. Это есть проэкция духовных переживаний автора поэмы — молодого атеиста Ивана; тайна Инквизитора в том, что «он просто не верует в Бога!» (как понял это Алеша). И единственный ответ на это — повторяю — есть встреча с Ним, как с Милосердным, как с Тем, Который имеет власть и силу прощать.

Мистическая встреча души с Тем, Кто есть подлинный Сын Божий, подлинное предвечное Божественное Слово, который стал плотию и пострадал за нас. Нет другого ответа на вопрос о страдании мира, на ужас перед ним, как *страдания Бога* (побеждающего страдания и смерть Своим страданием) *и близость Его к нам* в нашей оставленности и нашем страдании. И нет другого доказательства, что это действительно так, как *самооткровение* Его, как встреча Его с душой, как захваченность Им души (как это сказано апостолом Павлом, которого Он покорил, встретившись с ним: «Любовь Христова объемлет нас . . .»). Он покоряет и захватывает душу. И так сделал Он и с душой Достоевского.

Весь религиозный опыт Достоевского несомненно *христоцентричен.* Христос покорил его, Христос — его высший идеал. Он для Достоевского — высшая норма, высший критерий правды и источник вдохновения. Но более того: Он для Достоевского — Источник Жизни, воплощенное Божественное Слово, воплощенная Полнота Божественного Бытия. В «материалах» к «Бесам» читаем:

«Дело в настоятельном вопросе: можно ли веровать быв цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. веровать безусловно в божествен-

ность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит)». И далее: «Источник жизни и спасения от отчаяния всех людей и условие для бытия всего мира заключается в трех словах: «Слово плоть бысть» и в вере в эти слова».

Достоевский любит образ Христа с безмерной, благоговейной — можно сказать — ревнивой любовью. Это — высшее из всего, что есть, что было и что будет в мире. Нет ничего равного по красоте, по величию и по захватывающей силе, образу Христа. Но это не только красота и величие и покоряющая моральная сила, это есть *Реальность, Божественная Реальность,* дающая жизнь и утоляющая жажду души. Как эта горячая до страстности любовь ко Христу встает перед нами из его знаменитого письма, написанного им в начале марта 1854 года жене декабриста Фонвизина через несколько дней по выходе его из Мертвого Дома. Письмо это полно глубоких мук и сомнений и вместе с тем дышет какой-то агностической, огромной, страстной и парадоксальной . . . верой:

«Скажу вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая» веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастьи яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу, что другими любим, и в такие то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но — с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (№ 61, февр. 1854 г.).

И это проникает, как господствующая основная и всеусиливающаяся струя всю зрелую жизнь Достевского после возвращения его из каторги. «От народа — пишет он в «Дневнике писателя» — я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился было в европейского

либерала» (1860 г. август, III). Своей племяннице С. А. Ивановой он пишет (1 янв. 1868 г.): «На свете есть только одно положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно, прекрасного лица уже, конечно, есть бесконечное чудо».

Десять лет спустя (1878 г.) пишет он одной матери: «Вашему ребенку теперь 8 лет. Познакомьте его с Евангелием. Лучшего, чем Спаситель, вы не можете найти. Поверьте мне!» В письме его к художнице Е. Ф. Юнге, написанном им в год своей смерти, читаем: «Милая, глубокоуважаемая ... Верите ли Вы во Христа и в его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь Ему вполне, и муки этой двойственности сильно смягчатся, и Вы получите исход душевный, и это — главное».

Достоевский несомненно — самый большой христианский мыслитель России и один из величайших христианских мыслителей мира. Христос является для него — мы видели — единственным адэкватным ответом на самый коренной и самый страшный вопрос нашей жизни: о смысле страдания и оправданности этого, Богом созданного, мира.

> «Брат — проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша — ты сказал сейчас; есть ли во всем мире Существо, которое могло бы и имело бы право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и все, потому что Само отдало неповинную кровь Свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на Нем то и зиждется здание...»

Во Христе — ответ и на трагические судьбы России и на то порабощение, завладение ее души «бесами», которое предвидел Достоевский:

> «Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, затаившаяся на поверхности. И сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть!... Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»... и будут все глядеть с изумлением»...

Во Христе смысл жизни и отдельной личности и всего русского народа и всего человечества и всего мира. Несмотря на свой подчас нетерпимый национализм, который прорывается у него и здесь и там, Достоевский не только подлинно и глубоко патриотичен, но и в основе своей (как мы видим, например, из его знаменитой пушкинской речи или, напри-

мер, из очерка «Похороны Общечеловека» в марте 1877 г. его «Дневника Писателя»), глубоко и подлинно «экуменичен» и «всечеловечен». И это непосредственно и неразрывно у него связано с тем, что Христос, т. е. *бесконечное снисхождение Бога,* разделившего с нами наше страдание и страдание мира, есть для него центр и его миросозерцания и его горячей страстной любви и его религиозного опыта. И в этом, только в этом, и в чуде Воскресения дано для Достоевского оправдание Божьего мира, дана сила благодатного его преображения. Живописец страданий, доходящий в своих изображениях страданий даже. казалось бы, до крайности, не знающий в этом как будто меры, ненасытимый в своем желании уязвить и поразить нас и взволновать наше сердце, он же вместе с тем и проповедник — и даже кое-где изобразитель — силы преображения, начавшегося уже теперь, преображения, вытекающего из действия в мире Слова Божьего, Логоса Божьего. Этим Достоевский глубоко коренится в опыте и духовном предании Православной Церкви, в этом — и в изображении силы благодати, могущей восстановить и восстанавливающей падающаго грешника, в изображении этой «точки пересечения» между благодатью и сердцем, этой встречи между грешником и милующим и прощающим Господом — он более, может быть, кого бы то ни было из писателей новой европейской культуры является *центрально-христианским,* носителем всей силы и вескости апостольского благовестия: «то, что мы видели, что мы трогали своими руками, то было *Слово Жизни* (1 Иоан., 1-2)!»

Думается, что Достоевский прав: что в этом действительно великое культурное и духовное призвание России — строить свою культуру на образе Христа, на проповеди бесконечного и милосердного снисхождения любви Божьей и признания образа Божьего, теплящейся искры Божьей в брате, в страдающем брате, даже в падшем брате.

Ибо Достоевский верит в силу Того, Кто имеет власть изгонять бесов и власть имеет исцелять и прощать и спасти погибшего.

Мысль Достоевского устремлена и вперед и, может быть, более чем у какого-нибудь другого мыслителя и художника, проникает и в грядущие судьбы России.

Но и далеко за пределы России и судеб России . . .

«Что дороже любви?» говорит в своем предсмертном исповедании веры Степан Трофимович Верховенский в «Бесах»: «Любовь выше бытия, любовь — венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если я полюбил Его и обрадовался любви моей — возможно ли, чтобы Он погасил и меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! . . . »

Мы остановились на ряде примеров творческого объединения разнородных элементов в новое, органически-живое и художественно-совершенное целое — в русской культуре и литературе 19-го века. Примеры могли бы быть бесконечно умножены, (все время, например, преподносится взору великий образ Тургенева, не говоря уже о других), хотя думаю, что образы великих писателей, на которых мы остановились, особенно, может быть показательны. Я не компетентен говорить о великой русской музыке. Творческий синтез может при этом пониматься в различных значениях, так как ведь и в жизни он многоразличен и многообразен. Синтез обзначает здесь, как мы видели, и плодотворную встречу на русской почве, плодотворное взаимное проникновение элементов духовной культуры Запада и Востока, и многогранные переживания, многогранный опыт самого творца и художника, выливающиеся в стройные, творчески объединенные произведения искусства, и в частности встречу между личным опытом, личными или национальными переживаниями художника и темами и реальностями общечеловеческого и сверхчеловеческого значения, органическую встречу между индивидуальным или местным, конкретно, национально окрашенным, и вселенским, вечным, основоположным.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДУХОВНЫЕ СИЛЫ В ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА

1.

Еще важнее для народных судеб, чем вся живая ткань культурной традиции, основоположная субстанция народной души, ее конечные глубины, внутренний нравственный облик народа.

Духовное лицо русского народа, его возможности, его подъемы и падения, его таланты, грехи, слабости и озарения его отблесками высшей жизни, т. е. его внутренняя духовная сущность во всех ее противоречиях, с ее усиленным динамизмом и ее внутренней борьбой — все это теперь приковывает к себе все больший и больший интерес всего мира в связи с центральной ролью русского народа во внешних мировых событиях. Вопрос о внутреннем духовном его облике, о борющихся в нем силах, о его росте или оскудении духовном — вопрос, так страстно волновавший в свое время Достоевского, Льва Толстого и Глеба Успенского, — имеет огромное значение не только для русских самих, но и для всего человечества. Теперь, повторяю, еще более, чем когда-либо, в этот момент, когда русская народная жизнь направляется по особенно мучительным путям, когда и внутренне и внешне решается может быть, судьба русского народа. При этих обстоятельствах устремлять свой взор в глубины русской жизни не есть лишь проявление отвлеченной любознательности, а есть дело насущной необходимости.

Духовные созидательные силы, действующие в русской народной жизни! Как их трудно описать, как их трудно выделить из живой ткани ее. Тем более, что русский народ, как и все отдельные люди, полон противоречий, и, более того, эти противоречия, может быть, в нем особенно сильны.

Руский народ полон и слабостей и знает это. Он часто, в своей истории, бывал грешен, даже преступен — и это он часто сознавал. Сколько погрешностей, грехов, распущен-

ности нередко пятнали и пятнают его духовный облик. И, вместе с тем, в нем, как и во всяком другом народе, действовали и дальше еще действуют и духовные созидательные силы, силы духовного восстановления. Более того, может быть, особенно наглядно и осязательно проявлялись они именно в русском народе, оттого что и слабости и погрешности его особенно были видны, особенно были осязательны и потому еще, что иногда и сам он ясно видел и сознавал свои слабости и погрешности.

Роль религиозного начала во внутренней истории русского народа всегда была огромна. Одной из основоположных форм проявления религиозного начала — можно сказать, центральным его проявлением, — одной из таких духовно-созидательных сил, игравшей и играющей большую, часто решающую роль во внутренней жизни русского народа, особенно в поворотные пункты этой жизни, является то, что я назвал бы *«силой умиления»*, как ни странно может в первый момент показаться такая формулировка. То есть, налет какого-то неожиданного порыва, который захватывает человека, смягчение — часто нежданное и поразительное — жесткого сердца, тоска по чистоте и миру духовному и преклонение перед чистотой и миром, когда они встают перед взором, захваченность порывом любви прощающей, слезы умиления и радости, и радостное отдание себя. Эту силу умиления высоко ценил русский народ на протяжении всего своего многовекового прошлого среди всех своих недостатков, страданий, погрешностей, слабостей и, даже, пороков; он ее ценил, он ее нередко искал, и она нередко сходила к нему и умиряла, иногда восстановляла, целила и укрепляла его душу. Поэтому, например, в богослужении Православной Церкви особенно сильно действовали, особенно излюблены были в самых широких кругах народа некоторые особо «умилительные» песнопения и молитвы, когда широкой волной народ склонялся к земле, припадал на землю: «Господи сил, с нами буди. Иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы . . .» — «Непобедимая и непостижимая и божественная сила честного и животворящего Креста, не остави нас грешных . . .» — «Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог, и прославлю Его . . .» — «Покаяния отверзи мне двери, Жизнедавче . . .» — все эти размягчающие и трогающие душу песнопения Великого Поста или, например: «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды . . .», и многие, многие другие песнопения. Песни покая-

ния, призыва на помощь, вопли и зовы о спасении или захваченное и потрясенное созерцание великой тайны безмерного снисхождения Божьего, даже до глубин смерти: «Благообразныый Иосиф, с древа снем пречистое тело Твое...» — песнопение, при звуках которого выносится в Великую Пятницу Плащаница. Умиление, умиленное склонение перед тайной снисхождения и страждущей, отдающей себя на добровольное страдание воплощенной Любви Божьей. В этом ведь основа всего православного молитвенного духа: умиленное созерцание безмерного снисхождения Божьего. Это уже не «народно», это шире и выше народов, но этим народ русский — и верхи и низы его — особенно горячо, особенно ревностно духовно питался, из этого он вырастал и оплодотворялся духовно.

Для этого «умиления» характерно, что оно часто есть и сокрушение сердечное. Раскрывается бездна моей негодности, слабости, порочности и одновременно бездна *уже простившего* меня милосердия Божьего. Вот это-то противоположение особенно и переживается как умилительное. Если перейти на религиозно-богословский язык, то это чувство умиления придется поэтому охарактеризовать как *встречу сердца с благодатью Божьей,* как *место пересечения сердца и благодати,* как ответ наш на прикосновение благодати к больному, требующему исцеления сердца. Именно *ответ:* ибо в глазах религиозного сознания Благодать имеет инициативу, она начинает. Это-то и умилительно, что она, то есть Бог, начинает, а не мы, что *Он* склоняется и нам, что *Он* снисходит, что *Он* принимает нас в Свои объятия, как отец своего блудного сына, как бы мы ни чувствовали себя недостойными. Умилительность прощения, приходящего свыше, умилительность сокрушения — вот один из главных мотивов глубин христианской религиозной жизни вообще, в частности — притом с особенной яркостью — и в русском народе. Народ этот часто чувствовал себя грешным и, когда он бывал истинно религиозен, то ощущал глубоко и растроганно потрясающее величие прощающей и обновляющей благодати Божьей. Вот это делает болезненного, надрывистого Достоевского в хорошем смысле столь народным — и, вместе с тем, и *сверхнародным:* переживание и изображение силы прощения, умилительной и захватывающей силы благодати. Тут он народен в глубочайшем смысле слова, как он сам это понимал; не потому, чтобы он был особенно этнографически точным и ярким изобразителем народа или поэтически вос-

производил его быт, а потому, что он изображает те глубины, из которых по убеждению самого этого народа, обновлялась его духовная жизнь. Внутренний глубинный перелом в человеке, внезапный и вместе с тем долго подготовлявшийся для религиозного сознания, прикосновение благодати к сердцу человека, — вот одна из центральных тем Достоевского, к которой он неоднократно возвращается. Вспомним рассказ о поединке молодого офицера, сделавшегося потом старцем Зосимой, и его обращение к Богу. Волны радостного умиления заливают его душу после решительной победы над собой, над своим старым «я». «Дух даже у меня захватило сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого я не ощущал во всю жизнь». Напор этих волн благодати касается и ожесточенной души Раскольникова, но не сразу, а уже после полутора лет пребывания на каторге. Сердце его вдруг охватилось умилением — умилением любви, которое пробудила в нем беззаветная любовь последовавшей за ним Сони. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени.. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим»... Здесь безмерная, себя забывающая любовь и жалость поразили глубоко его душу, раскрыли ее для благодати. В знаменитой главе «Кана Галилейская», одной из высших вершин своего творчества, Достоевский рисует порыв благодатного восторга, мистического умиления, коснувшийся души Алеши. «Как-будто нити от всех этих бесчисленных миров сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь к мирам иным». Через призму своего особого, индивидуального художественно-психологического подхода — иначе это, ведь, и быть не может — в изображении этих внутренних потрясений, Достоевский рисует *духовные реальности,* истинные переживания души единичной и вместе с тем и народной (ибо переживания эти имеют и типический характер), прикасающиеся к «мирам иным».

Тема: грешник и духовный переворот в нем была особенно близка Достоевскому, была особенно им прочувствована, как своя, как родная. Недаром можно назвать его изобразителем греха и благодати, силы греха и извращения греховного, но и победы благодати над грехом. Тема безмерной важности для народной души. Достоевский понял, что

здесь он касается самых основ духовного существования народа. Ибо решающим моментом в глубинах народного восприятия и переживания религии (и это — подлинно христианская черта) является встреча слабого и грешного человека с милосердно прощающим, утешающим и восстановляющим Богом. Прибегание под кров милосердного Бога. Поворот из глубины греха к Богу на зов благодати. Поэтому-то такой отзыв в народной душе находят евангельские повествования о блудном сыне (срв. многочисленные народные стихи о блудном сыне), о мытарях и блудницах, приходящих и припадающих ко Христу. Поэтому-то такой отклик находят покаянные зовы и молитвы Великого Поста: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» и вопль: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Поэтому так излюблены были в народе образы святых, которые были покаявшимися разбойниками или блудницами: Моисей Мурин, особенно Мария Египетская. Поэтому запомнились народной душе сходные образы из собственного прошлого, исторические или изукрашенные легендой:

«Жило двенадцать разбойников,
Жил Кудеяр атаман . . .»

Или вот, например, почти эпический образ раскаявшегося разбойника из рассказов известной уже нам Дарьюшки-странницы (из середины 19-го века [185]). Она попадает во время своего возвращения пешком зимой с дальнего северного богомолья в руки разбойников в глухом лесу. Они отводят ее к себе в избу и хотят со старухой расправиться до прихода атамана. Перехожу к своеобразному рассказу старушки, записанному с ее слов одной близкой ей петербургской семьей. «(Худой человек», «дурак» — это собственные ее обозначения для себя самой.)

«Вдруг все утихло, словно вымерло,» рассказывает старушка, «и железные ручищи выпустили «худого человека».

«Что вы тут делаете?» — заговорил тихий голос, да таково грозно: «Оставьте эту старуху. На какую пользу ее душу губить?»

— «Да мы убивать ее не хотим . . .»

— «Говорят вам, оставьте ее, не трогайте!»

— «Да что же ты за атаман такой, что и потешиться нам не даешь? Да мы такого атамана . . .»

А атаман как поднимет дубинку, да как стукнет его по голове, тот и не пикнул.

— «Вынесите эту гадину! Да чтобы никто не пикнул ,если не хочет того же.»

Так то они и ушли, а «худой-то ум» еще пуще не помнит себя от страха. Атаман-то остался один, да как бросится пред «дураком» на колени, да схватит худые ноженьки... да и почал целовать их, а сам все в землю кланяется, слезами-то обливается, да и говорит:

— «Как вошел я в избу, они-то не слыхали, а я гляжу на них: лица-то у них, что у зверей лютых; взглянул на тебя — душа-то и дрогнула: словно маменька моя родимая стит, в углу прижавшись; такое же бледное, худенькое, сморщенное личико, как видел ее в последний раз. Так я и оцепенел и задрожал, и не вспомнил себя, и дал бы себя лучше на части растерзать, чем позволил бы коснуться до тебя.»

... Тут жалостный разбойник взял меня за руки, посадил на скамью, давай скидывать с меня грязные сапоги да мокрые чулки; вытер мне ноги полотенцем, вытащил теплые у себя чулки, да надел на меня, и сапоги тоже сухие, а сам все слезно приговаривает: «Не стою я, злодей, такой радости. Словно маменька моя воскресла, да позволяет себе служить. Ах, бедная, как ты перепугалась! И зубы-то стиснула, словно мертвая. Эко горе! Чайку-то нет обогреть тебя. Ну, вот я тебе лекарствица дам.»

И влил мне в рот чего-то горького из бутылки. Потом разостлал сенца, да уложил меня; снял с меня полушубок, да прикрыл, а сам все говорит: «Не бойся ничего, моя родимая, никому в обиду не дам, сам буду тебя оберегать, всю ноченьку глаз не сомкну; ты спи себе спокойно, словно в родной избе, а я все буду смотреть на тебя, да радоваться, что привел Бог послужить тебе. А ты прости меня вместо матери.»

На другое утро атаман разбудил старушку, пока еще другие разбойники спали, и вывел ее из лесу.

«Прости, говорит, а сам в ноги мне, так и плачет и ноги целует: — прости меня за все мои окаянства, помолись Господу за меня грешного. Не смею просить, чтобы благословила ты меня.»

И таково мне стало жалостно, что я бросилась к нему на шею, да так и зарыдала. И долго мы остались так обнявшись да рыдаючи.»

Она убеждает его покаяться и принести повинную, он отвечает ей, что это уже невозможно. Но эта встреча со старушкой, напомнившей ему его мать, не прошла для атамана бесследно. Она его глубоко потрясла. Вскоре после этой встречи

«В городе, говорят,» — так заканчивает свой наивный рассказ старушка, — «и господа-то все перепужались, как увидели разбой-

ников, которых поймать никак не могли. А перед судом-то, вишь, атаман повинился. Так и так, говорит, я больше всех виноват, один всему я начало; других не больно наказывайте: я их уговорил, а они не виноваты. Я заслужил наказание больше, а они только по моему научению. Разбойники только посмотрели на атамана, да и потупились, а кого и слеза прошибла. Говорят, им всем наказание было меньше за то, что сами повинились» . . .

Мотив добровольного отдания себя в руки правосудия, открытого признания перед народом своей вины, всенародного умиленного покаяния, нередко встречается как и в русской литературе, так и в русской народной жизни. Торжественая умиленность этого всенародного покаяния, этого глубокого сокрушения, которое не жалеет себя, не останавливается ни перед чем, чтобы загладить свою вину или понести кару, была почувствована и Достоевским и Толстым. Вспомним сцену публичного покаяния Никиты во «Власти тьмы», как косноязычный Аким (отец) говорит уряднику, чтобы он не мешал Никите все высказать, что он имеет сказать, и подождал пока б с составлением акта: «Погоди, говорю. Об ахтах не толкуй, значит. Тут тае, Божие дело идет . . . Кается человек». А под конец этот же косноязычный Аким, живое воплощение совести для сына, в восторге восклицает: «Бог простит дитятко родимое. Себя не пожалел, Он тебя пожалеет. Бог-то! Бог-то!»

Вспомним, как в «Горькой судьбине» Писемского герой — крепкий и крутой мужик Ананий — кается и отдает себя добровольно властям и не хочет показывать ни на кого другого, хотя бы и разделяющего с ним ответственность: «Мой грех больше всех ихних, и наказание себе облегчить нисколько того не желаю. Помоги только Бог с терпением перенесть, а што хоша бы муки смертные принять, авось хоша-то мало-мальски прощение будет моему великому прегрешению.

Эти два полюса русской народной души — глубина падения и восстание из падения — ярко формулированы, как известно, Достоевским в его «Дневнике писателя». С одной стороны, это «потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и, — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой». Но с другой стороны, когда «русский человек, равно как и весь народ . . . дойдет до последней черты, т. е.

когда уже идти больше некуда», пробуждается в нем «с такой же силой, с такой же стремительностью... жажда покаяния и самосохранения». И Достоевский считает этот порыв сокрушения и покаяния, этот толчок к восстановлению духовному более серьезным, более идущим вглубь, чем «порыв отрицания и саморазрушения [186])».

Конечно, нет тут ни национальных, ни других какихлибо рамок: то, что в глазах верующего человека является действием благодати, не ограничено пределами одного народа или одной Церкви. Тут не может быть и речи о какойлибо монополии на ее действие. Сколько душ пробуждено этой силой во всех концах мира, какое бесчисленное количество примеров сокрушения грешного сердца под ее воздействием, примеров благодатного умиления и просветления, было и есть среди западных и других христиан и вообще ищущих Бога. Но здесь мы поговорим о том, что питало душу русского народа, нисколько не исключая того, что этой же духовной пищей питались и другие народы. Всем народам подавалась она, но, может быть, в немногих народах так сильно ощущалась при этом собственная духовная немощь, собственная греховная слабость, как именно в русском. А где ощущается эта своя собственная немощь, где дух мятется, где отдельный человек или целый народ *недовольны собой* (и пускай имеют при этом полное основание быть недовольными), там, несмотря на грех, разрыхляется, подготовляется почва для благодати. Таков, между прочим, смысл этих слов апостола: «Где умножился грех, там стала преизобиловать благодать» (Римл., 5, 20). Слова эти могут быть в сильной степени отнесены и к русскому народу.

2.

Умиление и сокрушение кающегося грешника, вообще умиление молитвенное, слезное припадание к стопам милостивого Господа, притекание к милосердному покрову: как этим жила русская народная душа среди всех ее слабостей и погрешностей и несмотря на эти ее слабости и погрешности. Это часто соединяется со стремлением реально ощутить *близость Божественного* среди нашего грешного мира. Отсюда, например, огромное влияние духовно-просветленных личностей — старцев — на широкие круги народа, отсюда и поток религиозного странничества и паломничества, бо-

роздивший Россию от края и до края для поклонения святыне. Этим объясняется, например, и то великое значение, которое имели чудотворные иконы в жизни народа. Сторонний, объективный свидетель-писатель из, скорее, лево-интеллигентского лагеря, но при этом искренний, глубокий знаток народной души и радетель о ней — Глеб Успенский так описывает устами своего собеседника-мужика встречу деревенским народом Тихвинской иконы Божьей Матери в Новгородской губернии:

«... Вынесли Ее, Матушку, простились архимандриты у монастыря, поклонились друг дружке, и народ понес икону. И все тут уж были заодно, — и тихвинцы, и старорусцы, — и из всех сел и деревень так тысячами народ и подваливает. Как придут в село, так уж навстречу идет причт с хоругвями, встречает и в церковь несет Ее.»

«Высоко Ее несли, Матушку, надо всеми тысячами вверху сияла Она, как жар на солнце горела... Женщины, особливо монашенки (собралось их — не пересчитать!), таково-то хорошо пели: «Заступница усердная!» — словно ангелы на небеси. И ни на минуточку не замолкали ни днем, ни ночью. Так идет толпа несметная и поет! И откуда что взялось! Кто поил этот народ, кто кормил? Она, Владычица! В поле остановятся — костры сами разгораются, котлы большущие на кострах закипают, провизия всякая варится, все пьют, едят, все сыты, все довольны! А пение всю ночь, весь день вокруг иконы, и всегда множество народу, и всю дорогу на руках... Как прошла Она, так весь наш тракт как ветром продуло, — нет голытьбы ни единой души! всех подобрала, всех пропитала, всех приютила!..» (Рассказ «На минутку»).

Здесь народная душа переживает умиленную встречу с миром божественным, ощущает благодатное присутствие этого мира, здесь для нее как бы объективируется близость и снисхождение божественного Милосердия. И величайший художник русской народной жизни, Лев Толстой, закрепил подобную же сцену в «Войне и мире» — молебен в войсках перед Смоленской иконой Божией Матери накануне Бородинской битвы:

«Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота со снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение. Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку несут! Заступницу! . . . Иверскую! . . .

— Смоленскую матушку, — поправил другой.

Ополченцы и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, — один старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом, в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных . . .

Все внимание Пьера было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно-жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице», и священник и диакон подхватывали: «яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству» — на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса, и слышались вздохи и удары крестов по грудям . . .»

А как плакала и изливалась перед Богом народная душа, например, в Иверской часовне в Москве. Иван Киреевский так передает свое переживание этой народной молитвы перед Иверской иконой Божьей Матери:

«Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные старики стояли на коленях и крестясь клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением . . . века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, на святую икону — тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными, Она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей . . ., и я пал на колени и смиренно молился ей [187])».

В тяжелые времена гражданской войны сколько безутешных, скорбящих матерей и жен приходило сюда молиться о своих близких. А как молилась и молится народная душа, например, у раки св. Сергия. Эти молитвенные молчаливые вопли и стенания народной массы перед лицом Божиим, как это характерно, как это нас вводит в самые глубины народной души. Эта стихия народного прибегания с Богу с умиленными слезами скорби и радости проявилась, например, в широкой степени и во время потрясений последней Великой войны в разных местностях России.

3.

Эта религиозная умиленность, размягченность сердца часто проявляется в любви *к религиозной красоте*, в восхищенно-растроганном созерцании ее. Красота церковная потрясающе действовала уже на отдаленных наших предков. Об этом ярко свидетельствует, например, переданный в Начальной Летописи рассказ послов Владимира, ходивших по его поручению испытывать, какая вера лучше. Пришли они к болгарам, смотрели их богослужение, «и несть веселья в них, но печаль и смрад велик, несть добро закон их.» И у немцев им не понравилось: «И придохом в немьци, и видехом в храмах многы службы творяще, и *красоты не видехом никоеяже*». И пришли они к грекам, и повели их греки туда, где они служили Богу своему, «и не знаем мы, на небе ли мы были или на земле, ибо нет на земле такого вида и красоты такой, и недоумеваем, что и сказать. Только то мы знаем, что там Бог с людьми пребывает, и служба их лучше всех. Мы же не можем забыть красоты той, ибо всякий человек, если вкусит сладкого, не принимает потом горького. Так и мы не можем не быть здесь».

Древние русские памятники полны умиленного описания церковной красоты. Уже похвальное слово митрополита Иллариона (в середине XI века) взывает к усопшему кагану (князю) Владимиру: «Виждь же и град величеством сияющь, виждь церкви цветуща, виждь христианство растуще, виждь град иконами святых освящаемь, блистающься, и тимиамом обухаемь (т. е. благоухающим от фимиама) и хвалами божественными пении святыми оглашаемь» . . . Трепет восторга пробегает, например, через летописное повествование о создании Андреем Боголюбским (в 1158 г.) знамени-

того Владимирского Успенского собора, «яковато не бысть на Руси и никогдаже будет»... «Христолюбивый князь Андрей уподобися царю Соломону.. и доспе в Володимере церковь каменную соборную святыя Богородицы, пречудну вельми и всеми различными виды украси ю от злата и сребра, и верхы ея позлоти, двери же церковные трое золотом устрои, каменьем драгим и жемчугом украси и многоценным и всячески узорочьи удиви... и всеми виды и устроением подобна бысть удивлению Соломонови святая святых [188])»... Ряд древних памятников, особенно начиная с XV века, говорит умиленно-восторженными словами о красоте и благолепии церковном и о сиянии бесчисленных церковных глав над русской землей. Так в одном из вариантов повести 15-го века о Флорентийском соборе («Слово иже на латыню») читаем следующее обращение к великому князю Василию Темному:

«Ныне убо тебе подобает во вселенной под солнечным сиянием с народом истинного к вере православия радоваться..., имея покров Божий на себе много светлую благодать Господню, исполньшися цветов Богозрачне цветущих Божиих храмов, якоже небесных звезд, сияющих святых церквей, якоже солнечных лучей блещащихся, благолепием украшаемых собором святого пения величаемых [189])».

Красота церковная явилась одним из питающих корней национального самосознания, которое начинает особенно расти с XV века, и русского народного патриотизма, она входит одним из существеннейших слагающих элементов в представление о «Святой Руси» [190]).

Это черта остается присущей в течение многих веков русскому народу: любовь к церковному благолепию, любовная захваченность этой не только внешней, но и внутренней красотой церковного строя, церковного богослужения, захваченно-восторженное созерцание чуемого в ней присутствия высшей, Божественной Красоты. Ибо именно в формах религиозной красоты Божественная Реальность часто приближалась и приближается к народной душе. Мне рассказывали, как в начале русско-германской войны — в ноябре 1941 года, было устроено православное богослужение для желающих среди военнопленных красноармейцев в одном лагере военнопленных к югу от Гатчины. Пожелали присутствовать почти все пленные советские солдаты. Мой знакомый (русский, который был насильственно взят нем-

цами в качестве переводчика) случайно находился при этом. Неподалеку от него стоял крестьянский мальчик 18 лет, военнопленный, с детских лет не видавший богослужения. Служил местный православный священник из вновь открытой церкви села Волосова, просто и прочувствованно. Пел любительский хор из пяти женщин, пришедших из села вместе со священником. И вдруг слышит мой знакомый, как этот мальчик восклицает вполголоса: «Боже мой, какая красота!» Его сердце тронулось этой красотой. Вот один из путей «встречи благодати» с душой народа. Сравним, например, следующее характерное место из старорусского памятника (может быть уже 14-го века) ,«Сказания о Петре Царевиче Ордынском»:

«И приде сей отрок со владыкою в Ростов и видев церковь украшенну златом и жемчугом и драгим камением, яко невесту украшенну, и в ней пения доброгласная, — бе бо тогда в церкви Святыя Богородицы левый клирос гречески пояху, а правый русски. Слышав же сие, отрок в неверии сый, и огнь возгореся в сердце его ... и воссия солнце в душе его. И припаде к ногам святого владыки ...»

В лагере военнопленных не было ни «злата», ни «жемчуга», ни «драгих камений», ни чередующихся клиросов, как не было всего этого и в потрясающих душу пасхальных богослужениях, тайно, — например, в глуши вологодских лесов, — совершавшихся в начале 30-х годов для украдкой пришедших сотен и тысяч русских людей, в этих истинно «катакомбных» богослужениях, о которых повествуют некоторые очевидцы [191]).

Самые слова песнопений, знакомые народной душе, самые напевы литургические насыщены для верующего чувства огромной духовной красотой и «умилительны». Верно и тонко, с понимающей любовью изобразил это никто иной, как Чехов в своем знаменитом очерке «Святой ночью». Помните, как монах Иероним, правя монастырским паромом в Святою ночь, рассказывает о своем лучшем друге, только что скончавшемся иеродиаконе Николае, писателе акафистов, и вообще о даре писания акафистов:

« ... Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрагался и в трепет приходил. В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима.» В

другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози.» — Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой. — «Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное...», пробормотал он. — «Найдет же такие слова. Даст же Господь такую способность. Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово и как это у него все выходит плавно и обстоятельно... «Светоподательна светильника сущим» сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна. Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем. Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенькое и для уха вольготней. «Радуйся, крине райского прозябения», — сказано в акафисте к Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: «крине райский», а «крине райского прозябения». Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал.»

С этим устремлением к религиозной красоте тесно связано, например, широко распространенное в до-советской России среди масс народа уже упомянутое нами явление религиозного странничества и паломничества. С восторгом рассказывали эти странники и паломники о виденном ими церковном благолепии, об умилительном и благочинном богослужении. Одна книжка сравнительно недавнего времени — одно из особенно привлекательных произведений русской зарубежной литературы — «Богомолье» Шмелева (1935 г.) — наполовину бытовой рассказ, наполовину поэма в прозе, изображает эту красоту паломничества, как она переживается широкими кругами народа. Или вот подлинное свидетельство, простодушно-наивный рассказ известного уже нам инока Парфения о его паломничествах на Афон, рассказ, согретый внутренним огнем и, при всей его безыскусственности, полный яркости и изобразительной силы. Умиленно и взволнованно повествует Парфений о церковной красоте на Афоне. Одним из первых его афонских впечатлений была торжественная вечерня в Хилендарском монастыре.

«О, воистину благословенна была для меня та вечерня. Первую такую во всю жизнь мою сподобил меня Господь отстоять. Воистину,

«во храме стоя, на небеси мнился стояти», в ужасе и радости. Куда не воззрю, всюду приводит мене в удивление. Аще воззрю на высоту: ужасает мене и удивляет иконное стенное писание высокой греческой работы, более 500 лет существующее, и ничем не повредившееся, и все исписано разными божественными и евангельскими событиями и притчами. Аще воззрю немного к высоте: удивляет мене хорус со многими свещами и со многими иконами и с пятью паникадилами, чего еще аз прежде никогда и нигде не видал. Аще воззрю на землю: удивляет мене драгоценный и разноцветный мраморный пол; испещрен разными цветами, и светится яко хрусталь. Аще воззрю прямо на иконостас: удивляют мене чудотворные и прочие местные иконы, от древних лет невредимые, аки сейчас написанные». После богослужения возвращается он в гостинницу. «... И вопросил мене брат мой спутник: «Что в церкви видел удивительного.» Аз же ему ответил: «Где я был, не знаю, — на земли, или на небеси; что я видел или слышал, того прежде никогда очима моима не видал, ниже слыхал ушима моима, ниже взыде на сердце мое, ниже могу что тебе сказать; а егда сам увидишь, тогда и познаешь. А только скажу тебе, любезный брат: блажени наши ноги, сюда дошедшие, и блажени наши очи, сие видевшие; блажени есмы и мы, не послушавшие человеков, нас расстроивавших и отговаривавших». И тако мы много радовались и веселились [192])».

Этот простосердечный рассказ напоминает нам слова посланцев князя Владимира о богослужении в Царьграде.

Конечно, не малая опасность заключалась и заключается в этой повышенной эстетической окраске религиозных переживаний народной души. Легко было впасть в поверхностное, религиозно мало плодотворное увлечение преимущественно внешнею стороной богослужения и отсюда в строгий и истовый, но духовно непросветленный, а потому узкий и жестокий обрядовый формализм, что, как мы знаем, нередко и случалось.

4.

Но красота церковная — повторяю — лишь указание для верующих на близость высшего, божественного мира, лишь свидетельство о превозмогающем присутствии. Она лишь подготовляет и размягчает сердце к приятию его. Как близость божественного мира и созерцание небесной красоты и собственного недостоинства перед лицом ее выражены в этом умилительном песнопении Страстной седьмицы: «Чер-

тог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь . . .»

Ощущение превозмогающего присутствия безмерной святыни и своего собственного недостоинства с особой силой и реальностью дано верующим в таинстве Евхаристии. Душа потрясена величием переживаемого — приближением Господа, присутствием Его среди верных. «Осанна в вышних. Благословен Грядый во имя Господне.» Вот, Царь царей, Владыка всяческих, живый, пострадавший и прославленный Господь в славе Своей, окруженный небесными воинствами. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершенна дориносится.» — «Иже херувимы тайно образующе . . . всякое ныне житейское отложим попечение, яко да Царя всех подымем . . .» Верные склоняются перед Господом, грядущим во святых дарах. «Святая святым.» Со страхом и трепетом предстоим мы перед небесным алтарем. Сам Христос есть Закалающий и Закалаемый, Небесный Первосвященник, приносящий Себя Отцу за грехи мира. Недаром поэтому слова литургии внушают страх и трепет предстоящим: «Станем добре, станем со страхом . . .» Так Кирилл Белоозерский пишет, например, в послании к князю Андрею Дмитриевичу Можайскому (1408-1413):

«А в церкви стойте, господине, со страхом и трепетом, помышляюще в себе, аки на небеси стояще, занеже, господине, Церковь наречется земное небо, в ней же совершаются Христовы таинства.»

Но не только в трепет повергающая, превозмогающая Святыня — и безмерное снисхождение Его любви раскрывается здесь верующим. Душа размягчена, потрясена, повергнута ниц. Господи, я недостоин приступить, я недостоин воззреть на Высоту Твою, но вот дерзаю, уповая на милость Твою, приступаю, прибегаю к Тебе. Я недостоин, чтобы Ты взошел под кров души моей, — «зане весь пуст и пался есть и не имаши во мне места достойна, во еже главу подклонити», — но вниди, Человеколюбче, и просвети и исцели помраченный мой помысел, мою страждущую душу. Так — словами древних молитв — молятся верные с умиленным и сокрушенным сердцем, приступая к чаше . . . Здесь, — хотя бы на краткий миг — мистически прикасается душа к глубинам божественной жизни.

Великий святой Российской церкви, Дмитрий Ростовский, так излил трепетную и торжественно-умиряющую радость встречи души с Господом:

«Вниди ,Свете мой, и просвети тьму мою; вниди, Животе мой, и воскреси мертвость мою. Вниди, Врачу мой, и исцели язвы моя. Вниди, Огню Божественный, и попали терния грехов моих и сердце мое пламенем любви Твоея разжги. Вниди, Царю мой, сяди на престоле сердца моего и царствуй в нем, Ты един Царь мой и Господь.» И далее: «Величие души моея, радование духа моего, сладосте сердца моего, сладчайший Иисусе ... буди со мною и во мне неразлучно выну, и мене всесильною Твоею десницею удержи с Тобою и в Тебе, да прилеплюся Тебе, Господеви моему, во един дух с Тобою, да в Тебе и о Тебе и Тобою будут вся помышления моя, словеса и деяния: без Тебе бо не могу творити ничесоже. Да не к тому себе живу, но Тебе, Владыце моему и Благодетелю; да вся чувства моя душевная и телесная не мне, но Тебе, Создателю моему, работают, о Немже живут и движутся; и вся силы моя душевныя и телесныя Тебе, Искупителю моему, да служат, Имже и в Немже держатся; и все житие мое до последняго моего издыхания во славу пресвятаго имени Твоего, Боже мой ,буди. Аминь.»

На высотах духовных молитвенное умиление становится длительным состоянием, становится как бы стихией духа, основным фоном, питающим всю жизнь. Это умиленность и умягченность духовная, радостно просветленная, находит себе подчас выражение в так называемом »даре слез». В святоотеческих писаниях говорится об этих слезах умиления, как о высоком даре благодати избранным, очищенным духовно. Изумительное читаем об этом у Исаака Сирина:

«Когда достигнешь области слез, тогда знай, что ум твой вышел из темницы мира сего, поставил ногу свою на стезю нового века и начал обонять благоухание нового воздуха. Слезы источаться начали, потому что приблизилось рождение духовного младенца [193])». — «Вот что будет знаком тебе, что ты приблизился ко входу в страну сию: когда благодать начнет отверзать очи твои, так что они будут зреть вещи существенным зрением, тогда очи твои начнут изливать слезы, так что потоком их омоются ланиты твои, и тогда брань чувств утихает и они будут мирно заключены в тебе. Если кто будет тебя учить противно сему, не верь ему.» — «Сердце умаляется, делается подобно младенцу; и как скоро начнет молитву, льются слезы».

Мы действительно касаемся как бы иной страны, иной плоскости духовной в личностях великих русских праведников и святых, в которых эта внутренняя умиленность и просветленность духа становились действительностью. Это, конечно, не было каким-либо свойством, присущим русской душе самой по себе. Душа эта была в данном случае лишь полем, на которое пало семя благодати, полем, бесчисленные другие разы остававшимся бесплодным, но принесшим плод в лице святых и праведников. Чистосердечный и вместе с тем чрезвычайно живой рассказ известного нам уже старца Парфения рисует нам образ одного такого замечательного старца — схимника Иоанна [194]).

«Старец Иоанн так был сух, что крови и мяса не приметно, кроме кожи и костей; лицом светел и весел, и всегда очи его были полны слез, и никогда не мог говорить без слез. Слово его было тихое, мягкое и кроткое, пронзительное, так что мог всякого заставить с малых слов плакать; на ходьбе был легок; пищи употреблял мало, лакомства отнюдь никакого не имел; всех учил и наставлял наипаче терпению, послушанию, посту, смирению и любви... Он много меня поил от своих изобильных источников, и услаждали словеса его паче меда сердце мое; а говорил он все со слезами, и без слез не мог ничего говорить, и был подобен изобильному кладезю, быстро через верх точащему живую воду. И егда из очей изобильно текут слезы, — из уст паче меду исходят словеса его...»

Парфений спрашивает схимника, как он достиг этого духовного состояния.

«Он же весь наполнился слез и сказал: «Что мя вопрошаеши, чадо, яже выше мене. Остави ныне о том вопрошати, но иди с Богом во святую Афонскую гору и старайся очищать внутреннего человека молитвою: и *егда уязвится сердце твое любовию Христовою*, тогда сам познаешь — коль есть добро быти с Богом». — Наконец, на настойчивые мольбы Парфения, схимник Иоанн рассказывает ему свой длительный и многотрудный путь — душевного безмолвия и умного внутреннего делания, умной беспрестанной молитвы. «И когда я препроводил так многие лета, — помалу начала та молитва во мне углубляться. Потом, егда жили мы в скиту Покровском, тогда посетил мя Господь за молитвы отца Платона. Осенила сердце мое неизреченная радость и стала действовать молитва; и столь усладила меня, что и спать мне не дает: усну в сутки един час, и то сидя; и паки восстаю, якобы никогда не спал; и хотя аз сплю, а сердце мое бдит. И начали

от молитвы плоды прозябать. Воистину, чадо, царствие небесное внутри нас есть. Родилась во мне любовь ко всем неизреченная и слезы: аще хочу — плачу беспрестано. И столь сладостно мне сделалось Божественное Писание, а наипаче Евангелие и Псалтирь, что не могу насладиться, и каждое слово приводит в удивление и заставляет меня плакать. О Боже, безвестная и тайная премудрости Твоея явил мне еси.»

Мы подошли к самому сокровенному и святому в жизни наших великих святых и праведников. Такое хотя бы частичное и весьма сдержанное приподнятие завесы над своим внутренним миром духовным, какое имеем в этих записанных иноком Парфением замечательных автобиографических признаниях схимника Иоанна, признаниях, сделанных им крайне неохотно, лишь на усиленные просьбы Парфения, являются весьма редким исключением в нашей духовной литературе. Но некоторые внешние сдержанные указания и намеки дают нам иногда биографические записи, исходящие от лиц, близко к этим подвижникам стоящих, иногда и старые жития или поучения. Так, и в житии Кирилла Белозерского читаем про его умиленную молитву: «Девять лет трудился он в поварне» (туда он был сначала назначен на послушание) «и стяжал здесь такое умиление, что не мог без слез вкушать хлеба . . .» — «Преподобный до того проникнут был любовью к Господу», читаем дальше в его житии, «что при служении литургии и во время чтений церковных не мог удержаться от благоговейных слез; особенно же лились они у него во время келейного правила [195])». Нил Сорский славит «слезы покаяния»: «Слезы любовные, слезы спасительные, слезы, очищающие мрак ума моего.» Эти любовные слезы являются источником радости: «В радости бывает человек тогда, не обретаемой в веце сем.» На сокровенную умиленную молитву Тихона Задонского проливают некоторый свет замечательные записки его келейника Чеботарева:

«Ночи он имел привычку провождать без сна, а ложился на рассвете. Упражнением его были в ночное время молитвы со поклонами, но при том не хладные молитвы были, но самые горячие, от сокрушенного сердца происходили, так что иногда и гласно вопиял он: «Господи, помилуй. Господи, пощади», и присовокуплял еще: «Кормилец помилуй.» Сам же главою ударял о пол. Все же сие происходило в нем от великого внутреннего жара и любви к Богу. Но также в самую полночь выходил в переднюю келию, пел тихо и умиленно псалмы

святые. Замечательно ,когда он был в мрачных мыслях, тогда пел псалом: «*Благо мне, яко смирил мя еси*», и прочая. Когда же в ведренных мыслях, пел псалмы: «*Хвалите Господа с небес*», и прочие утешительные псалмы, и всегда со умиленными слезами и сердечным воздыханием ... В Толшевском монастыре в полуночное время один около церкви обхаживал и перед всеми дверьми с коленопреклонением молился и горячо слезы проливал ,чего я зрителем бывал.»

Молитвенную жизнь великого Оптинского старца Макария (1788-1860) изображает нам его биограф, один из учеников его по Оптину:

«По временам старец приходил в состояние духовного восторга, особенно при размышлении и беседе о неизреченных судьбах Промысла Божьего, Его великой и присносущей силе и Божестве; тогда запевал он одну из своих любимых церковных песней, как например: «*Покрываяй водами превыспренная своя, полагаяй морю предел песок*» (ирмос на Рождество Богородицы), или песнь, в которой с такой глубокой силой и вместе краткостью выражено таинство Святой Троицы: *Приидите, людие, триипостасному Божеству поклонимся* ...» и прочая. В Великий Четверг сам певал посреди церкви песню: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный ...», и как певал. Казалось, что слово «вижду» имело в устах его прямое значение и что пение выражало лишь то, что на самом деле видели его душевные очи. Старческий голос дрожал от волнения чувств, слезы катились по бледным ланитам, и сердца слушающих проникались умилением [196]) ...»

У Макария Оптинского и вообще на высотах духовных имеем уже состояние *радостной духовной просветленности*, проникающей всю жизнь и просветляющей жизнь, отзвуки которой Достоевский пытался воспроизвести в образе своего Зосимы и которая, например, так характерна для Серафима Саровского. Он всю тварь и ближних видел в лучах Воскресения Христова. Некоторые отзвуки такой просветленности имеем и в этом интересном психологическом памятнике русского народного благочестия середины 19-го века — «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему».

«Иногда чувствовалась», рассказывает про себя странник, «пламенная любовь и Иисусу Христу и ко всему созданию Божию, Иногда сами собой лились слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника. Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде

присутствие Божие.» И еще: «Не токмо чувствовал сие внутрь души моей, но и все наружное представлялось мне в восхитительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога; люди, дерева, растения, животные — все было мне как родное, на всем я находил изображение имени Иисуса Христа.» Все твари свидетельствуют для него «любовь Божию к человеку и все томится, все воспевает славу Богу. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии «ведением словес твари», и я увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими.»

На высотах духовной жизни духовный жар, умиленное горение сердца соединяется с глубоким смирением, с глубиной детской простоты и с мужественной, мудрой и бдительно-просветленной *трезвенностью* духа, рождающейся из молитвенного подвига Эта смиренная трезвенность духа, — при умиленности, — характерна для русских святых и праведников.

5.

И в отношении к ближним нередко сказывался этот умиленный порыв, эта умиленная *захваченность* души, захваченность стихией сострадания, снисходящего прощения, покрывающей, жалеющей, не судящей и восстанавливающей любви. Русский народ, который может быть и очень жестоким, нередко может быть и безгранично жалостливым, сострадательным и, при этом, сострадательным и милосердным не от избытка своего, а от скудости своей, делящимся последним своим с неимущими, когда он живет из этой новой жизни духа, или из отзвуков этой новой жизни. Ибо эта жалостливость и сострадательность глубоко вошли во внутреннейшую стихию народной души, являясь нередко частью этой стихии. Конечно, далеко не всегда, ибо иногда звериный лик во всем его ужасе проявлялся в русском народе. Вспомним, хотя бы, те зверства. которыми проявили себя широкие круги народа — особенно распущенная солдатня, возвращавшаяся с фронта, — возбужденные большевистскими агитаторами в начале большевистской революции и охваченные какой-то — прошедшей потом — стихийной и, я сказал бы, бесовской одержимостью, или, например, холодную, расчетливую жестокость, встречающуюся иногда среди крестьянства и так тонко подмеченную Буниным в этом потрясающем сборнике его рассказов «Крик». Но как часто зато, в проти-

вовес этим темным силам, встречалась среди самых широких, даже самых бедных и «темных» кругов русского народа эта *великодушная жалость* — к осужденному преступнику, к пленному врагу и вообще к несчастному, всеми брошенному, оставленному, или просто страдающему человеку, будь он и совсем чужой или иностранец или даже враг. Вспоминаю рассказ моего приятеля, бывшего в 1942 году на немецко-русском фронте.

Два молодых немецких военных в 35-градусный мороз по дороге на передовые позиции, совершенно прозябшие в своем автомобиле, вошли погреться в первую попавшуюся крестьянскую избу. Изба оказалась особенно бедной, с глиняным, не досчатым полом, и перенаселенной: на полу повсюду шмыгали и шныряли дети. В ней жили три семьи, две из них пришедшие накануне из сожженной немцами деревни. Немцы систематически сжигали все деревни со всеми запасами при отступлении своем из Тулы и Ельца в лютую зиму 1941-42 года, совершенно не считаясь с судьбой выброшенного на верную гибель — от замерзания и голода — населения. Эти две семьи, бежавшие к знакомым в нетронутую деревню (ибо находившуюся в районе, не очищенном немцами) с массой детишек, успели спасти от огня и приволочь с собой только мешок зерна и корову. И вот, когда молодые военные грелись, стала одна молодая еще баба над ними сочувственно приговаривать: «И вы то бедные тоже! И вам-то тоже, поди, невесело на чужой стороне в холод такой.» Потом вышла она на кухню и принесла через несколько минут кувшин разогретого молока и два больших ломтя хлеба и настояла непременно, чтобы они съели. От скудости своей дала. Это молодая баба была как раз беженка, у которой немцы, систематически и холодно исполняя приказ о полном опустошении оставляемого края,, спалили почти что над ее головой ее избу со всем ее скудным достатком. Молодые люди были потрясены до глубины души. Это глубоко русская народная черта — великодушие и жалость к врагу, когда тот страждет или голоден. Но черта эта — не результат только славянского простосердечия и добродушия: здесь в народную душу глубоко запало семя христианства. И взошло оно и принесло плод без того даже, чтобы душа этих простых, бедных людей сама вполне ясно осознала это благодатное семя. И как разительно отличается от этого то зверское искажение народного гнева, под влиянием большевистской пропаганды,

которое проявилось, например, в ряде страшных жестокой советских войск в Западной Европе!

Мы знаем традиционное отношение русских людей к преступникам, жалость их к «несчастненьким», их подаяние — едой, медными копейками — осужденным, отправляемым на каторгу. Достоевский был глубоко взволнован медной копейкой — подаянием, которое ему, пересыльному арестанту, сунула в руку проходящая мимо простая женщина. Одной из черт ритуала царской жизни на древней Руси было личное посещение царем заключенных накануне великих праздников. Царь Алексей Михайлович проявлял здесь живую сердечность своей мягкой, жалостливой души.

«В особенности перед «великим» или «светлым» днем Св. Пасхи, на «страшной» неделе, посещал царь тюрьмы и богадельни, оделял милостыней и нередко освобождал тюремных «сидельцелв», выкупал неоплатных должников, помогал неимущим и больным. В обычные для той эпохи рутинные формы «подачи» и «корма» нищим Алексей Михайлович умел внести сознательную стихию любви к добру и людям [197])», пишет историк Платонов.

Главный источник христианской любви к братьям, можно сказать, мистический. За братом ощущается Его присутствие, просветляющее и возвышающее и образ брата. «Так как вы сотворили сие одному из братьев Моих меньших, то Мне сотворили» (Матф. 25, 40). Здесь происходит таинственная, мистическая встреча с Самим Господом в лице страждущего брата. И эта встреча с Господом в лице страждущего глубоко ощущалась народной душой и выражалась народным сознанием. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные народные рассказы и легенды о явлении Христа в образе нищего как на Средневековом Западе [198]), так и у нас в России. Символически выражалось это, например, в том почете, который царь Алексей Михайлович оказывал некоторым избранным старикам-нищим, жившим у него во дворце. Платонов так пишет об этом:

«В особых палатах, на полном царском иждивении жили так называемые «верховые (т. е. дворцовые) богомольцы», «верховые нищие» и «юродивые». «Богомольцы» были древние старики, почитаемые за старость и житейский опыт, за благочестие и мудрость. Царь в зимние вечера слушал их рассказы про старое время о том, что было «за 30 и за 40 лет и больше». Он покоил их старость так же, как

чтил безумие Христа ради юродивых... О «брате нашем Василии» (юродивом) не раз встречаются почтительные упоминания в царской переписке. Опекая подобный люд при жизни, царь устраивал «богомольцам» и «нищим» торжественные похороны после их кончины и в память их учреждал «кормы» и раздавал милостыню по церквам и тюрьмам...»

Этим как бы выявляется высокое достоинство этих бедных: они являлись представителями, более того, меньшими братьями Господа. Поэтому милостыня на Руси просилась и подавалась «Христа ради». В духовном стихе о Вознесении Христове, записанном в многочисленных вариантах по всему лицу России и обычно начинающемся так:

«Как вознесся Христос на небеса,
Расплакалась нищая братья:
Чем мы будем, бедные, питаться?»...

подчеркивается великая ценность «Христова имени», оставленного Христом нищей братии в качестве наследия [199]). Глубоко христианским и вместе с тем истинно народным по духу является поэтому замечательный рассказ Толстого «Где любовь, там и Бог», при всей его народности с его «мистическим» окончанием.

«... Авдеич проводил их (старуху с мальчиком) и вернулся к себе, нашел очки на лестнице, они не разбились, поднял шило и сел опять за работу. Закончив работу, достал с полки Евангелие. Хотел он раскрыть книгу на том месте, где он вчера обрезком сафьяна заложил, да раскрылось в другом месте. И как раскрыл Авдеич Евангелие, так вспомнился ему вчерашний сон. И только он вспомнил, как вдруг послышалось ему, как будто кто-то шевелится, ногами переступает сзади его. Оглянулся Авдеич и видит: стоят точно люди в темном углу, стоят люди, а на может разобрать, кто такие. И шепчет ему на ухо голос: «Мартын, а Мартын, или ты не узнал Меня?» — «Кого?» проговорил Авдеич. — «Меня», сказал голос; — «ведь это Я». И выступил из темного угла Степаныч, улыбнулся и как облачко разошелся, и не стало его... «И это Я», сказал голос., И выступила из темного угла женщина с ребеночком, и улыбнулась женщина, и засмеялся ребеночек, и тоже пропали. — «И это Я», сказал голос. Выступила старуха и мальчик с яблоком, и оба улыбнулись и тоже пропали. И радостно стало на душе Авдеича. Перекрестился он, надел очки и стал читать Евангелие там, где открылось. И вверху страницы он

прочел: «Ибо взалкал Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня, был странником и вы приняли Меня...» И внизу страницы прочел еще: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25 глава). И понял Авдеич, что не обманул его сон, что точно приходил к нему в этот день Спаситель его и что точно он принял Его.»

Русская народная душа жалеет — мы знаем — и падших и никчемных, и русские великие писатели часто верили в возрождающую силу жалости. Жалость именно к падшему, к грешному, к слабому человеку и желание пробудить сострадание к нему, найти даже на самых глубинах падения искру добра, и вера в возможность возрождения и восстания его — вот один из основоположных тонов и одно из основных заданий всего творчества Достоевского. Но и вообще тона жалости, гуманности, сострадания к людям характерны для всей русской великой классической литературы. Над всей русской классической литературой могут быть поставлены эпиграфом эти слова Пушкина: «И милость к падшим призывал». Гуманность, живое сострадание к людям — ее отличительная черта. Эта гуманность, это сострадание к людям встречается и у ряда великих писателей других народов, в особенно яркой и просветленной степени у Диккенса. Но нет в мире целой такой литературы, характерной чертой которой во всей совокупности ее величайших произведений и величайших писателей, в такой же сильной степени была бы *жалость к людям*, как это в русской. Это — национальная черта на просветленных, очищенных (ибо много и грубого и непросветленного и жестокого есть в русской народной душе) вершинах народной жизни, у простых ли людей, у величайших ли художников русского слова. И эта черта есть *христианская,* коренится в евангельском благовестии, в религиозно-мистическом опыте народной души. Лучшее, что имеет духовно русская народная душа и что проявила она духовно в своих высочайших произведениях, что придало особый тон, особый облик этим произведениям, что дало им их гуманно-воспитательную, облагораживающую силу, родилось — сознательно или бессознательно — из почвы христианства: и жажда справедливости и милость к падшим, к бедным людям, к униженным и оскорбленным. Как характерны эти заглавия Достоевского: «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»! А как, наряду с этим пробуждением жалости к падшим, к «малым сим», характерно для Достоевского его

требование: признавать за каждым, даже самым «ничтожным» из людей, право на его человеческое достоинство, право быть целью, а не только средством. Эти его излюбленные, заветные мысли еще раз вылились у него, сконденсированно и остро, в его пушкинской речи:

«... Какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастьи? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего лишь одно человеческое существо, мало того — пусть не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо... И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту идею, что люди, для которых выстроено это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться на век счастливым?...»

Взгляд, весьма несходный со взглядами, проповедуемыми большевистской идеологией.

Вдумчивая, деликатная, нежная гуманность царит, например, в большинстве (кроме чисто юмористических) рассказов Чехова. И как чувствуется его большое, доброе и грустно-умиленное сердце! Чехов не из сознательной религиозности черпал эту сострадательную нежность сердца: он не был сознательно религиозен, не был — не считал себя — верующим христианином. Но в подсознательном его «я» корни, повидимому, глубоко уходили в религиозную почву, и это все больше и больше сказывалось под конец в его творчестве и его жизни, как мы это видим, например, на одном из величайших его произведений, последнем его рассказе «Архиерей» и из его разговоров, сохраненных нам Буниным.

На высотах духовной жизни мы имеем как бы некую — и при том безмерную — захваченность этой стихией любви и жалости к людям. Широкой и велокодушно-горячей любовью дышет эта молитва древне-русского праведника — Кирила Туровского (бывшего епископом во 2-й половине XII века):

«Спаси, Господи, и помилуй ненавидящих и обидящих мя, и враждюущих ми, и творящих ми пакости, и поношающих ми, также и оклеветающих мя: да никто же никако же от них мене ради нечистого зло никако постраждет, ни в нынешнем веце, ни в будущем. Но очисти их милостью Своею и покрый их бдагодатию Своею, Блатий» [200]).

А как замечательно эта стихия захваченности любовью выразилась, например, в этом образе о. Кириака у Лескова («На краю света») в его предсмертной молитве: «Вот ... риза Твоя уже в руках моих ... но я не отпущу Тебя ... доколе не благословишь со мною всех ...» «Люблю эту русскую молитву», замечает по этому поводу у Лескова престарелый архиерей-рассказчик, «как она еще в XII веке вылилась у нашего Златоуста, Кирилла в Турове, которую он и нам завещал —«не токмо за свои молитися, но и за чужие, и не за единые христианы, но и за иноверные, да бьша ся обратили к Богу.» Милый мой старик Кириак так и молился — «*за всех* дерзаю, *всех,* говорит, благослови, а то не отпущу Тебя. Что же с таким чудаком поделаешь?»

Если у Достоевского раскрываются пропасти ужаса и глубины падения, то раскрываются и бездны безмерной, без остатка изливающей себя, снисходящей и прощающей, пропасти заполняющей любви.

«Тогда умилилось бы сердце наше», говорит, например, у него старец Зосима, «в любовь бесконечную, вселенскую, *не знающую насыщения* ... [201]) Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их в молитве тако: Спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет Тебе молиться».

Здесь Достоевский сознательно является учеником Христовым, как он и в старце Зосиме, и в Алеше, и в князе Мышкине старается воплотить образ истинного ученика Христова, Его последователя в служении любви.

Ибо эта стихия захваченности любовью вдохновлена образом Христа, она основоположна для христианства. Безмерность любви в отдании себя! «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою ... Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за други своя» (Иоан., 13, 35 и 15, 13). «Любовь познали мы в

том, что Он положил за нас душу Свою, поэтому и мы должны полагать души свои за братьев» (I Иоан., 3, 16). Этой безмерностью любви дышут, например, рассказы об апостоле любви — Иоанне, или вот, например, следующее место из очень чтимых в древней Руси творений св. Исаака Сирина[202]):

«Быв спрошен: что такое сердце милующее? — сказал: Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, и животных и о всякой твари. При воспоминии о них, очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости сжимается сердце его, и не может оно вынести, или слышать или видеть какого-либо вреда, или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных и о врагах Истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу...» »Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим, как Моисей сказал Богу: «Если оставишь им грех, оставь; а если нет, то изгладь меня из книги, в которую Ты вписал меня» (Исх., 32, 31), и как говорит блаженный Павел: «Я готов бы быть отлученным от Христа ради братьев моих» (Рим., 9, 3). Конец же всего вкупе — Бог и Господь, Который из любви к твари предал Сына Своего на крестную смерть... И домогаются святые сего признака — уподобиться Богу совершенством в любви к ближнему»[203]).

И, как мы видели уже, эта пламенеющая проповедь любви могла в русском народе не раз падать на добрую почву. И эта жалость к людям сделалась характерной, если, к сожалению, не всегда для русского народа, то во всяком случае для высших проявлений его духовной культуры, *для высшего цвета его национальной культуры* (в лице, например, его великих, его всемирно-великих писателей, с этим — я сказал бы — почти безмерным *культом жалости* у Достоевского!) и для его идеала праведности и святости. Это — *обще-христианский,* отнюдь не специфический русский идеал, но жадно воспринятый лучшими сторонами народной души, тянувшейся из своего, иногда глубокого мрака и даже смрада к вершинам этого идеала: ибо здесь эта мятущаяся, обездоленная, «труждающаяся и обремененная», часто и бурно-грешная душа находила то, что ей было нужно: *милосердие.* Поэтому, может быть, никакие слова Евангелия так не врезывались в народную душу, как эти, все вновь и вновь

читаемые, бесконечные разы, при бесконечно повторяющихся коленопреклоненных просительных молебнах: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». То, в чем эта душа нуждалась, — милосердие, то она и больше всего ценила, то и было для нее идеалом Божьего пути, то больше всего привлекало ее и в образе ее святых и старцев, этих милосердных служителей народного горя и целителей народной души. Поэтому так народен был в высшем смысле слова (и остался народен, и как хорошо понял это, например, Глеб Успенский, назвавший его одним из величайших учителей и воспитателей русского народа) образ, например, св. Тихона Задонского! Так много трогательного простодушия и горящего широкого сострадания в его отношении к людям. Келейник его пишет:

«Он с охотой внимал гласу вопиющих к нему: питал сирот и беспомощных, милосерд был к нищете и убожеству, словом, он все раздавал, как-то деньги, кои из казны получал, и что привозили к нему старшины донских казаков; также из городов Воронежа и Острогожска благородные и купцы богатые присылали немалое количество денег, но он не только деньги, но и самое белье раздавал, а оставалось лишь то, что на себе имел, и хлеб, который посылали благодетельные господа помещики, но и того еще недоставало: он покупал и раздавал. И одежду, и обувь получали от него бедные и неимущие, для чего покупал он шубы, кафтаны, холст, а иным хижины покупал, иным скотину, как-то: лошадей, коров, и оными снабдевал их. Мало сего, даже и деньги занимал. Когда все раздаст, скажет мне: «Пойди, пожалуй, в Елец и займи денег у такого-то купца; я отдам ему, когда из казны получу, а теперь у меня нет ничего; вот приходит бедная собратия ко мне, и отходит без утешения, жалко мне и смотреть на них.» Иногда и то бывало, что приходящему бедному и откажет, но только расспросит откудова и какой человек: на другой день приходил в сожаление, призовет меня и скажет: «Вчера отказал я такому-то бедному, возьми деньги, пожалуй, отнеси ему, так, может быть, и утешим его». И всем бедным, приходящим к нему, весьма удобный был приступ. Смиреномудрие в нем было удивительное: из приходящих поселян стариков сажал при себе и с ними ласково и много разговаривал о их сельской жизни и, снабдя их нужным, отпускал их радостными. Также близь монастыря живущих экономических бедных крестьян, а паче вдов и сирот, он на своем коште содержал, и за них подушные и прочие казенные подати платил, хлебом кормил и одеждами одевал их, словом, во всех нуждах помогал им. Замечательно было: в который день приходящих бедных более бы-

вало у него и когда больше раздаст денег и прочего, в тот вечер он веселее и радостнее был; а в который день мало, или никого не было, в тот день он прискорбен был... Также и прохожие, на работу идущие крестьяне в случае, если иной из них дорогой заболеет, у него спокойное пристанище обретали. Он сам успокаивал их, даже свою подушку и колпак приносил им, и пищу понежней приказывал готовить для них, чаем раза по два и по три на день сам поил их, по часу и более сидел подле них и ободрял их приятными и благоразумными разговорами. Некоторые из них умирали: он христианское и сострадательное попечение имел о них, чтобы больного напутствовать святыми Тайнами; при таких случаях сам присутствовал и при погребении бывал. А которые выздоравливали, отходили в путь с награждением, куда кому следовало».

И в политические и общественные идеалы русского народа, и в политическую его жизнь — жизнь, полную стольких погрешностей, слабостей, ошибок, а порой и преступлений! — могла врываться и врывалась (так например, даже, во внешнюю политику русских царей 19-го века) проповедь великодушия и сострадательной, мужественно-широкой и истинно творческой любви. Дух истинного рыцарства, питаемый из этой основы христианского прощения и великодушия, мог иногда проявляться в отдельных незабываемых актах русской истории. Таким незабываемым актом — победой не над врагом, а над собой является благородная «месть» Александра I городу Парижу в 1814 году за гибель Москвы в пожаре 1812 года.

В день Светлого Воскресения Христова, 29-го марта (10-го апреля) 1814 года парижское население было свидетелем совершенно нового для него зрелища. Событие этого дня послужило позднее императору Александру предметом его беседы с князем А. Н. Голицыным.

«Еще скажу тебе о новой и отрадной для меня минуте в продолжении всей жизни моей», промолвил государь: «я живо тогда ощущал, так сказать, апофеоз русской славы между иноплеменниками; я даже их самих увлек и заставил разделить с нами национальное торжество наше. Это вот как случилось. На то место, где пал кроткий и добрый Людовик я привел и поставил моих воинов; по моему приказанию сделан был амвон, созваны были все русские священники, которых только найти было, и вот, при бесчисленных толпах парижан всех состояний и возрастов, живая гекатомба наша вдруг огласилась громким и стройным русским пением. Все замолкло, все внимало!... Тор-

жественная была эта минута для моего сердца, умилителен, но страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по воле Провидения, из холодной отчизны Севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступающих на Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как-бы тризну по короле французском. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как-бы очищал окровавленное место пораженной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигнуло своей цели; оно невольно втолкнуло благоговение в самые сердца французские. Не могу не сказать тебе, Голицын, хотя это и не совместно в теперешнем рассказе, что мне даже забавно было тогда видеть, как французские маршалы, как многочисленная фаланга генералов французских теснилась возле русского креста и друг друга толкала, чтобы иметь возможность скорее к нему приложиться. Так обаяние было повсеместно: так оторопели французы от духовного торжества русских» [204]).

Мы знаем, — из уст самих французов, — как великодушно проявили себя широкие круги русского народа по отношению к французским пленным в России и как великодушно держали себя русские войска (были, конечно, и исключения) во Франции в 1814 и 1815 годах. Русское высшее командование запретило, между прочим, пруссакам (Блюхеру) разрушать памятники Парижа, связанные с воспоминаниями побед Наполеона. Император Александр, задававший, конечно, тон, явился вместе с тем подлинным выразителем тех благородных чувств, которое проявили русские по отношению к побежденному врагу [205]). Отголосок этих благородных чувств, одушевлявших русского императора и русское войско в 1814 году, находим в замечательном — можно сказать, программном — письме Чаадаева, этого типического представителя лучших настроений александровского поколения с его религиозными исканиями, к А. Н. Тургеневу от 1835 года:

«Почему бы я не имел права сказать, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить политику в духе узкого национализма («pour faire de la politique des nations»); что ее призвание в мире это — политика всего человечества; что император Александр это превосходно понял и что составляет лучшую славу его; что Провидение нас сделало слишком большими, чтобы нам быть эгоистами;

Что оно нас поставило вне интересов отдельных национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши идеи в области жизни, науки, искусства должны отсюда исходить и к этому возвращаться; что в этом наша будущность и наш прогресс... Россия, если она поймет свое призвание, должна взять на себя инициативу проведения всех великодушных идей, потому что она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы» [208]).

Конечно, такие акты изумительного и подлинного великодушия (и большой политической мудрости вместе с тем), подобные поступку Александра I с побежденным врагом, встречаются в русской истории не на каждом шагу, являются все же чем-то исключительным, но интересны они прежде всего как свидетельство о неком *нравственном идеале*, о некой идейной и духовной закваске, хотя бы и редко, хотя бы временами и искаженно, проявляющихся в истории народа. Интересно в связи с этим и то, какие политиические идеалы — как раз касательно и отношений к другим народам — исповедывались рядом величайших русских мыслителей. И при этом не только «западником» Чаадаевым (как мы уже видели), но не в меньшей мере, например, и «отцом славянофильства», Хомяковым. На этих идеалах ярко горит печать *экуменизма*, т. е. стремления к христианскому единению и братству народов, как совместно призванных — каждый по мере своих сил и данных — на служение Правде Божьей на земле.

Хомяков так обращается к родной стране:

«О вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси,
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни вопроси:
Внемли ему — и, *все народы*
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей.»

(«России», 1832 г.)

Бог не с тем, кто из себя самого делает кумира:

«Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам,
Он с тем, кто *все зовет народы*
В духовный мир, в Господень храм...»

(1851 г.)

В стихотворении «Суд Божий» (1854 г.) Хомяков пишет эти знаменательные, столь подходящие к нашему времени слова:

«Твой суд совершится в огне и крови,
Свершат его слепо народы...
О Боже, прости их и *всех призови* [207]),
Исполни их веры и братской любви,
Согрей их дыханьем свободы.»

И опять читаем (обращение «К раскаявшейся России», 1854 год):

«Иди! Тебя зовут народы.
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!»

Хомяков, сам — одна из благороднейших личностей в русской духовной жизни 19-го века, явился здесь выразителем тех высших христианских идеалов, которые преподносились многим лучшим русским людям в их отношении к другим народам. Характерно, как у страстного, горячего, нередко и жесткого Достоевского, который так сильно и страстно ощущает свою «русскость» и нередко так однобоко нетерпим и несправедлив мог быть к другим национальностям, как у него — более страстного и неуравновешенного, чем Хомяков — на высотах его жизненного и творческого развития получается *синтез*, сходный с Хомяковским: горячая любовь к родному и сознание, что народ призван служить Божьему делу на земле, в братском единении с другими народами, в братском служении им. Именно осуществляя Божью правду, оставаясь верен своему призванию служения правде, служит он другим народам:

«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, *всечеловеком,* если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей...

О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! [206]). И впоследствии, — я верю в это, — мы, то-есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что *стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия* уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»

Так говорил он в своей знаменитой пушкинской речи, произнесенной 8-го июля 1880 года (за 8 месяцев до своей смерти). Конечно, русская действительность слишком часто не соответствовала этим идеалам. И вполне возможно, что Достоевский преувеличил всемирное «экуменическое» значение русской души, хотя действительно эта душа нередко, и в лице самых простых людей, выказывала и выказывает большую широту и истинно-братскую, сердечную терпимость. Можно далее сказать, что все народы в той или иной степени к этому призваны, и что этот дар, это призвание любовию примирять противоречия, растет и в душе отдельного человека и в душе народов вместе с силой благодати. Ясно, во всяком случае, что это не есть монополия или привилегия какого-нибудь народа, а лишь его призвание (и притом не его одного только) и что слишком часто это призвание остается неосуществленным. Но со всем тем уже много, если руководящие и наиболее характерные мыслители какого-нибудь народа проповедовали как высшую цель не идеологию разбойнического захвата и истребления, а идеал великодушия, взаимного уважения, братской терпимости, более того — взаимной любви, признания всех духовных ценностей, даже и чужих, и любовного, бережного отношения к ним и к чужому облику во всем богатстве его данных, в сознании того, что мы вместе призваны, при всем многоразличии наших даров, к совместному деланию дела Правды и к братскому служению друг другу.

5.

Еще одна черта характерна для лучших носителей религиозно-нравственного начала в русском народе: *трезвенная простота и смирение.*

Простота свойственна русской народной душе в лучших, наиболее подлинных ее проявлениях. Она свойственна и ряду высших проявлений ее художественного творчества — творчеству Пушкина и Толстого (не творчеству Достоевского). Она является одной из основоположных черт ее нравственного идеала. Величайшие русские праведники и святые просты и беспритязательны и в этой простоте какая сила и глубина. Какую огромную духовную ценность представляет их ясная, мудрая, при этом просветленная и благостная простота, плод великой духовной борьбы и духовного горения.

Все это в достаточной мере известно. Но остановимся немного на стремлении ряда величайших представителей русской литературы не только осуществить прекрасную простоту в своем творчестве, но и выявить огромную духовную ценность простых подлинных людей, смиренных и укорененных в некой духовной реальности, т. е. простых верующих русских людей, беспритязательных и крепких духом. Эта красота духовная простых и смиренных духом — и мужественная вместе с тем — людей открылась молодому, еще обвеянному байроническим порывом Пушкину в деревне, особенно в лице его старой няни. Известно это как бы программное заявление в 3-ьей песне «Евгения Онегина», написанное как раз в эту пору:

«Друзья мои, что ж толку в том.
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства;
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины.

Перескажу простые речи
Отца иль дяди старика,
Детей условленные встречи

У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья;
Поссорю вновь, и наконец,
Я поведу их под венец...» *(1824 г.)*

Все дальнейшее развитие поэмы «Евгений Онегин», начиная с этой самой песни, является, как известно, осуществлением, если не этого плана, (он был до известной степени осуществлен в «Капитанской дочке»), то сходного по духу замысла: реабилитировать *настоящее, подлинное* (а оно вместе с тем простое, но и глубокое и крепкое духовно) в противоположность мнимому, не подлинному, пусканию пыли в глаза, ходульности и позе. Это стремление красной нитью проходит через многие величайшие творения русской литературы. Татьяна духовно побеждает фразера Евгения в своей полной очарования простоте и смиренной и стойкой верности долгу (хотя она его и любит). Какая художественная простота и в рисунке и в стиле и в типах «Капитанской дочки»! И здесь центральными фигурами являются простые русские люди, добрые, патриархальные и простодушные, но вместе с тем верные своему долгу: герои, притом не сознающие, что они герои. Вот это противоположение настоящего дутому, подлинности и смирения — крикливой фразе или корчению из себя чего то, надуманному удальству (поручик Розенкранц в «Набеге»), или например, топорно-сентиментальному и вместе с тем наивно-смехотворному, эгоцентрическому карьеризму какого-нибудь Берга (он был ранен в правую руку и переложил тогда шпагу в левую руку и с самоуверенностью рассказывает об этом), — вот это противоположение особенно характерно для Толстого. С ним отчасти связаны, например, и замысел «Севастопольских рассказов» и в весьма значительной степени вся психологическая структура «Войны и мира». Подлинность внешне непрезентабельного, простодушного и смиренного героя, капитана Тушина, противополагает он ловкому штабному карьеристу Друбецкому, истинных героев 1812 года и солдат и офицеров и ряда генералов (Дохтурова, Коновницына, Багратиона) и самого главнокомандующего Кутузова — полуинтернациональной штабной клике «присосавшихся» к войне любителей карьеры. Напыщенная фраза, которой начальник штаба армии, генерал Бенигсен, открывает заседание военного совета в Филях, пустозвучна и безвкусна (особенно в этой

трагической обстановке). Это замечает и подчеркивает в своих ответных словах толстовский Кутузов: «*Священную древнюю столицу России,* — вдруг заговорил он сердитым голосом, повторяя слова Бенигсена, и этим указывая на фальшивую ноту в них, — позвольте Вам сказать, Ваше Сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека . . .» Вообще Толстой не верит в шумливые слова, в декламации и в крикливые, ходульные эффекты.

Под этим углом зрения проводит он и параллель (часто недостаточно объективную и прямо таки тенденциозную) между Кутузовым и Наполеном. Уже в раннем очерке «Набег» спокойный и мужественно простой капитан Хлопов противополагается рисующемуся своим удальством, корчащему из себя «азиата» и «удальца-джигита», «по Марлинскому и Лермонтову», поручику Розенкранц. В «Трех смертях» спокойная и безропотная смерть простого человека — бедного крестьянина-ямщика, противополагается истерическому цеплянию за жизнь богатой барыни. К источникам духовной подлинности стремится Толстой в многочисленных своих образах и различных своих произведениях. Он может быть при этом исторически несправедлив в изображении и оценке того, что кажется ему неподлинным, но основной курс здесь взят им глубоко правильно: в истинной простоте и смирении открывается духовная глубина.

Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной, —

— так обращался Тютчев к родной стране и здесь узрел присутствие духовных богатств в нищете, простоте и смирении.

Конечно, легко было впасть в идеализацию *внешней* простоты (и даже грубости) народной жизни, в идеализацию этой жизни как таковой, а не только как возможного носителя высших духовных ценностей. В эту ошибку впадали многие и в первую очередь впоследствии и сам Толстой со своей позднейшей проповедью внешне понятого, нездорового, подчас даже — особенно в некоторых последователях своих — упадочного и внутренне разлагающего «опрощения». Это мнимое «опрощение» становилось для многих из этих последователей сознательным одичанием, огрубением и даже духовным самокалечанием. Это была не истинная

простота, а погоня за простотой, внешнее переодевание, надуманное и лишенное внутренней правды.

Достоевский. Как он возбужден, взволнован, как возбуждены, не просты, часто истерически неестественны, лишены внутреннего равновесия, внутренней гармонии его герои. Сколько тут надрывов, сколько вымученно-крикливого или болезненно-кликушеского, психопатического в их чувствах и действиях. Но это психопатически-преувеличенное, непростое, неестественное, иногда даже крикливо-кривляющееся многих его героев (при всем том они так гениально и ярко изображены, что веришь в их существование) искупается глубиной и прямотой, глубоким и честным радикализмом этой ясной, идущей смело к цели, не боящейся смотреть страшной действительности в глаза, борющейся за Бога мысли Достоевского. Если герои Достоевского психопатичны и полны болезненных надрывов, то его мышление, при всей своей трагической окрашенности, при всей своей взволнованности, необычайно здорово, творчески прозрачно и исполненно огромной внутренней мощи. С подкупающей душу благородной прямотой и честностью, с гениальной сосредоточенностью и силой духа смотрит Достоевский в лицо страшным загадкам бытия, стучит он в вечные двери, в искании правды и ... обретает Бога, или вернее обретается Богом. И нездоровая возбужденность его героев получает тогда свое законное место в этой гениально развиваемой им драматической схеме — борьбе души за Бога, в этой огромной, сложной драме, во всех ее волнующих душу перепетиях. Таким образом можем говорить не только о творческой возбужденности, нет, более того — о некоторой внутренней целеустремленности и гениальной »простоте« этого непростого и сложного, часто в своих героях столь неестественного, столь нездорово взволнованного Достоевского. Ибо один *основной стержень* его творчества и жизни (говорю о периоде зрелости его творчества) — искании Бога. В этом его веськость, его потрясающая значительность, его монолитность. Но и более того: Достоевский сам нередко ощущал красоту ясной простоты и внутренней подлинности и духовной укорененности в людях, у него огромное стремление к этой духовной подлинности и к истинной, просветленной и умиренной, не внешней только простоте (ибо он был положительно против опрощения, считая его вредным и смешным фарсом). Разве не имеем у него противоположения духовной ненастоящести крикливо-агрессивных, болезненно-самолюбивых

юношей, вроде Ипполита в «Идиоте», или взбудораженности большинства героев «Подростка» и «Братьев Карамазовых», спокойному и умиренному старцу-страннику Макару Ивановичу (в «Подростке»), отказавшегося от всего для благостной тишины и отказавшемуся от своего «ветхого человека» старцу Зосиме. И как просто и правдиво и исполнен очарования менее, может быть, известный образ «Столетней» (в «Дневнике писателя») — дряхлой старушки (104 года), которая с трудом, все время присаживаясь, бредет по улицам Петербурга навестить внучку и ее семью — правнучков своих. Этот рассказ, написанный Достоевским с особой теплотой и любовью, принадлежит к перлам его творчества. Старушка, дотащившись до внучки, умирает в гостях.

«...Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное: Сто лет как то страшно действуют до сих пор на человека. Благослови Бог жизнь и смерть простых добрых людей.»

Или вот мастеровой, бледный, испитой, одетый по праздничному, с нахмуренным, сердитым лицом, бережно ведет за ручку маленького, двухлетнего мальчика. И следует очерк, полный большой внутренней прелести. Эту красоту духовную найти и выявить в обыденной жизни в подлинных, простых и вместе с тем глубоко преданных нравственному долгу людях, в тех, на которых и из которых строится духовная жизнь, — этой целью, как известно, задался и Лесков в своих «Праведниках», «Соборянах» и вообще в ряде лучших своих произведений.

Это понимание красоты духовной простых (не в смысле звания, а в смысле духовного склада и внутренней подлинности и целостности) людей характерно для многих лучших творений русской литературы; это — один из основных ее тонов, делающих ее в ее классических произведениях не только художественной, но и духовно столь ценной и воспитательной — именно этим выявлением подлинности духовной. Этому соответствует далее и стиль и внутренняя сущность наших величайших поэтов - лириков: Пушкина и Тютчева. Как в своей прозе, Пушкин сжат и целомудренно прост в своей лирике. Эта классическая простота и ясность выражения, сдержанность, соединенная с силой чувства, произ-

водит тем большее лирическое впечатление. Изумительно, как этот страстный и увлекающейся человек так целомудренно ясен, прозрачно-гармоничен, более того — просветлен и внутренно умирен в своей поэзии.

Непросто, буйно, хаотично, крикливо и несдержано было творчество русских «оргиастов», этих представителей русского духовного декаданса (при всех иногда художественных их достоинствах) начала 20-го века, — Мережковского, Андрея Белого и тути кванти. Каким-то тайным сродством с болезненным кликушеством, встречающимся порой в народных массах, и с исступленным духом хлыстовства веет от этой нецеломудренной, неестественно-взвинченной и изломанной (у Андрея Белого часто отвратительно кривляющейся) литературы. Сродство со стихийным духом хлыстовства и с простонародным кликушеством не делает ее более подлинной духовно, ибо и в стихии народной души есть мутные, грязные набегающие волны, есть нецеломудренные выкрики, есть и изломанность духовная, есть темная, судорожно-искривленная стихийность, болезненно-истерическая «закидка», отсутствие ясной, просветленной и умиренной простоты. Ибо за эту простоту духовную нужно бороться. Простота души присуща детям и тем, которые сохранили детскость духовную — таких много среди простых и по званию людей, более близких к природе. Но ее углубление и утверждение, ее внутреннее просветление высшим началом дается лишь *духовному подвигу* (часто незаметному и в великой простоте совершаемому), есть плод праведности. Тут она становится подлинной «евангельской» детскостью духовной, великим перлом «нищеты духовной» и пронизанного любовью смирения, кротким и ясным — не громким, не крикливым, не навязчивым — сиянием духа. Такая простота характерна — как мы уже указывали — для всех наших великих праведников, она является вместе с тем и решающим элементом того идеала праведности, который преподносился русскому народу. «Ибо Я кроток и смирен сердцем и обрящете покой душам вашим» — так вставал пред очами этих праведников вдохновляющий их образ. И они старались стать Его учениками. Как назидательны и умилительны в своей простоте многие из тех старцев и светочей духовных, к которым стекался народ! Народны и просты, доступны и смиренны, радостны и любвеобильны, исполнены даров Духа — даров утешения, исцеления мятущихся душ, дара молитвы, дара трезвения и великой

проницательности и мудрости духовной, но эти дары сияют в простоте и простота есть сама один из высших даров Духа. «Если не обратитесь и не будете как дети, не можете войти в царствие небесное». Какая простота, очаровательная и умилительная струится, например, нам навстречу из этих записей о Тихоне Задонском его келейника Чеботарева, из которых уже были нами выше приведены два отрывка. Вот еще несколько черточек оттуда же:

«Малых детей экономических крестьян он приучал к обедне ходить и чем же? Когда он из церкви пойдет, то они за ним все идут; войдет в переднюю келью и они за ним войдут, по три поклона земных положат, единогласно и громко скажут «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» А он скажет им: «Дети, где Бог наш?» Они также единогласно и громко скажут: «Бог наш на небеси и на земли.» — «Вот хорошо, дети», и погладит рукой всех по голове, даст по копейке и белого хлеба по куску, а в летнее время по яблоку оделит их. Когда же по слабости своего здоровья, не бывал у обедни, то дети придут в церковь, посмотрят, его Преосвященства в церкви нет, они и уйдут вон. Когда же приду я к нему от обедни, то он спросит: «Были ли дети у обедни?» Скажешь, что входили в церковь, посмотрели, что нет Вашего Преосвященства в церкви и ушли по домам. Он улыбнется и скажет: «Это беда: они, бедные, ходят к обедне для хлеба и копеек. Что ты не привел их ко мне? Я весьма радуюсь, что они ходят к обедне». Обстановка его была крайне скудна, так как он, что мог, все раздавал. «Постеля у него была — коверчик постлан, да две подушки; одеяла не имел он, но шубу овчинную, китайкой покрытую; опоясывался ременным поясом; также и ряса была у него одна, но и та суконная, гарусная; обувался он в коты и чулки шерстяные толстые, кои подвязывал ремнями, да две зимы в лаптях ходил, но только в келии в оных ходил и скажет: «Вот как спокойно ногам в лаптях ходить». Когда же к обедне идти ему, или гости приедут. то оные снимал с себя и обувался в коты; и четки были у него самые простые, ременные. Не было у него ни сундука, и никакого влагалища, но только кожаная киса и то ветхая, куда ехать ему, он брал ее с собой и клал в нее книги да гребень. Вот и весь наряд и украшение его.» Конечно, крайне бедно для архиерея. А вот еще картинка, рисующая благостную простоту его духа: «Три года имел он лошадь и одноколку, данные от господ Бехтеевых, на которой после обеда и отдохновения проезжался в поле, иногда в лес; с ним всегда езжал я один. «Пойди», скажет, «заложи одноколку, проедемся; возьми с собой чашку и косу, накосим травы «старику» (ибо лошадь была весьма стара), также и воды напьемся там». В лесу, на полянах

траву сам косил, а мне прикажет подгребать, скажет: «Клади в одноколку, старику годится на ночь.»

А эта необычайная, трогательная простота, этот сердечно-внимательный и вместе с тем безыскусственно-простой подход к людям столь прозрачно-ясный, столь простодушный и вместе с тем столь мудро и благодатно просветленный великих старцев 19-го века: Серафима Саровского, Московских старцев середины века, старцев Оптиной пустыни, старца Варнавы в Гефсиманском скиту близ Троицы-Сергия, или других им подобных. Как доступна, как понятна самым простым, самым темным, самым невежественным и наивным, скорбящим и озлобленным эта благостность в простоте, эта любовь, которая «не превозносится», которая не пренебрегает ни одним «из малых сих», ни их горем и заботами.

«Мелочей для отца Амвросия (Оптинского) не существовало. Он знал, что все в жизни имеет свою цену и свои последствия. Не было ни одного вопроса, на который бы он не ответил с неизменным чувством добра и участия. Однажды остановила его баба, которая была нанята помещицей пасти индюшек. Индюшки у нее не жили и барыня хотела ее расчесть. «Батюшка», кричала она в слезах, — «хоть ты помоги мне. Сил моих нет. Сама над ними не доедаю, пуще глазу берегу, — а все колеют оне. Согнать меня барыня хочет. Пожалуй, родимый.» Присутствующие тут посмеялись над ее глупостью, к чему ей идти с таким делом к старцу. А батюшка ласково расспросил ее, как она кормит и дал совет, как их содержать иначе, благословил ее и простился. Тем же, которые смеялись над бабой, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. Тот же Амвросий Оптинский любил говорить: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного», иногда прибавлял «Где нет простоты, там одна пустота».

Простота эта есть вместе с тем и трезвенное стояние души перед Богом. Смиренный и мужественный каждодневный подвиг, смиренное и ясно-умиренное несение своего креста. Увенчивается эта простота духа полнотой покорного предания себя в руки Божьи: «Иди, куда поведут, смотри, что покажут и все говори — Да будет воля Твоя».

5.

Какова духовная судьба русского народа? Отдался ли он всецело тем темным силам, которые теперь захватили его в плен и держат его под своим игом? Правда, уже раньше проявлялись в его душе, наряду с влияниями светлыми и

возвышенными, и темные, мутные течения, всплески волн хаоса и разложения — в безобразных, свирепых бунтах Разинщины, Пугачевщины, и в зверствах Смутного времени, и в бесстыдном разгуле разбойничье-казацкой вольницы, и в злобном изуверстве фанатизированных сектантов, и в жестокостях крепостного права, и в угнетениях и неправдах приказного строя (до реформы 60-ых годов), и в разврате Карамазовщины, и в разливанном море «зелена вина», в котором часто утопали и совесть и достоинство и таланты русского человека. Все это — часть русского прошлого, и все это отчасти подготовило, наряду со многим другим (например, отсутствием национального и государственного самосознания у русской радикальной интеллигенции), почву для захвата большевиками в роковой момент, когда ослабло в русском народе его нравственное сознание, власти над русским народом.

Но советская власть не есть Россия, она не есть русский народ, она — не плоть от плоти его, она есть нарост, она есть наказание (и испытание) русского народа и, вместе с тем, и его величайшее несчастье, которое могло бы, быть может, и не произойти, если бы ряд обстоятельств (тяжелая, непопулярная война, заговор сил разрушения и, наконец, слабость и ошибки власти и элементов порядка и безответственность политических деятелей) не ослабил бы сил сопротивления народа. И вот большевизм, это живое и величайшее в мире воплощение начала лжи и злобы, использовал в роковую минуту злые страсти и элементы разложения, поднявшиеся в душе русского народа, чтобы ворваться в нее. Говоря словами Достоевского, это — «бесы», это — злое навождение, использовавшее слабые стороны русской души. Но наряду с этими слабостями есть и высокие духовные традиции, есть возвышенные духовные силы, жившие в душе русского народа. Погибли ли они, засохли ли совершенно под игом демонической власти, старающейся превратить в механическое, рабское клише и осквернить самую душу человека? Нет, эти высшие духовные силы живы в душе народной, несмотря на подавляющее и развращающее действие советской власти. Под жестокой и безжалостной советской властью, стремящейся затоптать и заплевать все святое в душе русского народа, русский народ не был духовно задавлен, хотя много пострадал и материально и духовно. Он сохранил огромную жизненность, не только физиологическую, нет — и духовную. Более того — он отчасти

закалился духовно. И эти жизненные, духовные силы находились в прямом противоположении тому, что было официально советским миросозерцанием. Как много было сделано советской властью, чтобы разрушить, разложить семью, и как она крепка теперь в России, особенно в деревнях.

С какой беззаветной преданностью и нежностью держатся друг за друга члены семьи — это можно было увидеть, например, во время войны, из того, как лагеря, в которых было интернировано немцами в прифронтовой полосе гражданское мужское население, по словам очевидцев, в буквальном смысле «осаждались» женами, родителями и детьми, пришедшими на свидание и принесшими им передачу. Последнее от себя отнимали, шли по морозу по 30, 40, 50 верст пешком, чтобы только разыскать мужа или брата или сына и подкормить его. А целомудрие русских девушек, приводившее в изумление германских солдат и офицеров! «Нам налгали дома» — так говорил, например, один молодой германский офицер, сражавшийся на северном участке фронта, — «будто у русских нет культуры: у них душевная культура выше, чем на Западе, выше, чем у нас. Как горды, как чисты, как недоступны русские деревенские девушки!»

Поражало немцев, бывших на войне в России (и особенно в плену), наряду с проявлением жестокости, неожиданные проявления бесконечного добродушия и жалости — свое последнее отдавало иногда население, чтобы накормить голодного, погибающего врага — до невероятия. «Мы никогда ни в каком народе таких порывов жалости к врагу, такого незлобия, такого добродушия и, более того, такой великодушной жертвенности по отношению к врагу не встречали (наряду с буйством и хамством и диким озверением)» — в один голос говорят побывавшие в России в плену немцы, недавно вернувшиеся в Германию. Невероятно, что это за народ! Откуда-то, из каких-то тайников, вдруг изливается эта как бы стихийная сила жалости, эта великодушная и трогательная широта.

«Русские крестьяне» — пишет один немецкий военный — «миролюбивы и добродушны ... Когда мы во время переходов испытываем жажду, мы заходим в их избы, и они дают нам молоко, как будто мы были паломниками. В каждом человеке они готовы видеть прежде всего нуждающегося. Как часто видел я русских крестьян, голосивших над ранеными немецкими солдатами, как будто это были их собственные сыновья» [209]). А как русские врачи относились к ране-

ным немецким солдатам! «Борьба шла за каждую жизнь, и от пенициллина (я знал одну женщину-врача, которая покупала этот дорогой медикамент за свой счет) до отборной диэтной кухни — все было предоставлено для спасения больных...» Об этом каждый пленный может рассказать истинно трогательную историю», пишет в своей замечательной книге Х. Голвитцер (теперь профессор богословия Бонского университета [210]). «Как хорошо», пишет другой автор, бывший военнопленный в России, — «когда кто-нибудь бывает добр, как эта старая бабушка — она подошла со своей корзиной вплотную и боязливо совала нам хлеб. У нее были такие добрые глаза. Давать что-либо пленным было строго запрещено, все же она это сделала, и это было более ценно, чем кусочек хлеба» [211]).

Вот еще несколько примеров: Русские крестьяне (т. е. главным образом женщины и старики), несмотря на запрещение советских властей, кормят умирающих от голода и лежащих уже без движения немецких солдат, уже окруженных со всех сторон русскими войсками, в последней фазе трагедии Сталинграда. Одна крестьянка принесла 42 яйца, другая — большой хлеб; а у них самих едва имеется, чем прокормиться — рассказывал один немецкий офицер, переживший Сталинград и вернувшийся в Германию. Один немецкий пастор, взятый на войну, попал в форме немецкого офицера в советский плен [212]). Измученный, обессиленный, голодный лежал он на земле в лагере военнопленных; подходят к нему два советских солдата и начинают стягивать с него штаны. Он двинул нечаянно головой, и солдаты вдруг увидали на его шее золотой пасторский крест. «Это — поп», сказал один из солдат, и штаны они на нем оставили. Он опять впал в забытье, и вдруг через некоторое время кто-то сильно толкает его в бок: над ним стоит один из тех двух солдат-красноармейцев и говорит ему: «Esse (вместо iss'), поп!» и протягивает ему посудину, наполненную горячей мясной похлебкой. Пастор не может этого забыть. В конце замечательной книги Пливье о неудачном походе на Москву рассказывается, как русская девушка, потерявшая все на войне от разрушительной лавины немецкого нашествия, спасает замерзающего и заблудившегося немецкого полковника, отогревает его и выводит через снежную пустыню к немецким передовым линиям. Этим заканчивается книга.

Русская духовная традиция не умерла. Русскими классиками население (преимущественно, конечно, городское) зачитывается, а это ведь — прорыв в большевистском духовном

фронте, как является таким прорывом и сохранение и укрепление семьи. Вот — некоторые цифры с советского книжного рынка (цитирую из статьи М. Слонима в газете «Новое русское слово» от 30 3. 1958 г.), «Что читают в Советской России»):

«В отличие от других стран, самыми распространенными, ходкими книгами в России являются не произведения современной литературы, а классики. Их поглощают в астрономических количествах. В 1957 году, например, иллюстрированные издания «Отцов и Детей» Тургенева, поэм Некрасова и «Сказок» Щедрина, рекомендованные для старших классов десятилетки, вышли тиражем в 800 тысяч экземпляров. Отдельные издания «Дыма» и «Дворянского Гнезда» выпущены 300-тысячным тиражем. Единственное произведение современного писателя, конкурирующее с классиками — рассказ М. Шолохова «Судьба человека» (в два листа), выпущенный в количестве 450 тысяч экз. Вообще, успехом пользуются отдельные издания рассказов, повестей и поэм. Вот некоторые цифры прошлого года: «Ася» Тургенева — 500 тысяч, «Мороз Красный Нос» Некрасова — 500 тысяч, «Лика» Бунина — 300 тысяч, «Скифы» Блока — 250 тысяч. Но было бы глубокой ошибкой предположить, что огромные тиражи относятся лишь к небольшим произведениям. Наоборот, в России за последнее десятилетие необычайно развилась подписка на многотомные собрания произведений писателей. К чтению пришли новые социальные группы, никогда не обладавшие книгой, и для них составление собственной библиотеки — заманчивое и приятное дело. И прежде всего и больше всего они интересуются классиками. Не говоря уже о Пушкине, (сочинения которого все время выходили и продолжают выходить в десятках миллионов экземпляров), подписчики буквально набрасываются на новые издания Тургенева (последнее 12-томное полное собрание сочинений — 300 тысяч), Толстого (14 томов художественных произведений — 300 тысяч), Некрасова (5 томов — 225 тысяч), Чехова (12 томов — 300 тысяч), Горького (30 томов — 300 тысяч). Такой же интерес возбуждают и другие писатели 19 века — начиная от Аксакова («Детство Багрова внука» — 225 тысяч) и кончая Помяловским или Гариным Михайловским (пять томов — 75 тысяч). Четыре тома Мельникова Печерского «В лесах» и «На горах», выпущенные два года назад 300-тысячным тиражем, разошлись так быстро, что сейчас объявляют о втором издании — таким же тиражем. Художественные сочинения Достоевского печатаются в количестве 225 тысяч экземпляров.

А русские классики проповедуют ведь жалость к людям и признание великого достоинства каждого человека, огром-

ную ценность индивидуального лица — это мы знаем, т. е. то, что диаметрально противоположно советскому миросозерцанию.

И — самый важный прорыв: религиозное чувство не умерло в душе русского народа — оно оказалось гораздо сильнее, чем предполагали враги и друзья. Смерть исповедников и мучеников, погибших от руки Советов, не прошла бесследно, а стала в глубинах народной души невидимым семенем религиозного подъема. Большевикам пришлось пойти на видимые (хотя, конечно, неискренние) уступки верующему населению в 1942 году, чтобы мог создаться духовный фронт сопротивления немцам (которых сначала ведь население встречало с распростертыми объятьями, пока немецкие гражданские партийные власти в оккупированных, ставших уже тыловыми, местностях не проявили беспощадную, дикую жестокость и безудержное хамство больших и маленьких полубожков-сатрапов по отношению к населению, часто в этом отличаясь от немецкого военного командования). Против воли большевиков этот подъем религиозный продолжается и поныне, находит широкий отклик в различных слоях населения, и большевики должны с этим фактом считаться. Они стараются из Церкви сделать орудие своей политики экспансии и обмана, в угоду им произносятся рядом иерархов речи и проповеди, исполненные лживой казенщины и лести, но Церковь существует тем не менее, несмотря на неискренние льстивые речи некоторых стремящихся угодить большевикам предстоятелей Церкви. И толпы народа опять молятся у гробницы св. Сергия, и церкви, которых все еще сравнительно немного открыто, переполнены молящимися.

О религиозно-духовном искании и горении в кругах советской интеллигенции, особенно молодежи, свидетельствует огромное впечатление, которое производят стихи и роман Пастернака, например в широких кругах студенчества советского, где произведения его переписываются и ходят по рукам.

Пробудилось и национальное чувство — стихийное, самоотверженное во время войны. Большевики стараются его использовать, как величайшую приманку, как величайший обман, и в этом — величайшая опасность. Подделать национальное чувство, сделать его «советским», т. е. лишенным всяких нравственных основ и религиозно-нравственного просветляющего и вдохновляющего — веянием свыше — начала, т. е. сделать его зоологическим, сделать его голым, само-

довольным культом силы и насилия (по образу Блоковских «Скифов» — этого глубоко отвратительного по всему своему духу и вдохновению, хотя и талантливого стихотворения). В этом — великий, страшный, истинно-диавольский соблазн. Поэтому в противовес большевикам нужно проповедывать национальное чувство, *подчиненное* религиозным и нравственным началам и проверяющих себя по ним, как делал великий русский патриот и служитель Правды Божьей — Алексей Степанович Хомяков, со дня рождения которого недавно исполнилось 150 лет.

Хомяков против идеологии «Скифов» Блока, которая есть и идеология советского *звериного* лица, советского мнимого — звериного «патриотизма». Лицо человеческое, лицо народное одухотворяемое служением Правде Божьей — против лица *зверя:* вот как заостряется борьба, охватывающая душу русского народа, борьба мирового масштаба и мирового значения. Чтобы не дать большевикам использовать русское национальное чувство, русский патриотизм, ценности русского прошлого, которые они стараются и исказить и захватить, «украсть» в свою пользу, нужно нам самим и всем борющимся духовно с большевизмом, помнить великое мировое призвание русской духовной культуры и признать великую ценность русского национального чувства: когда оно добровольно подчиняется тому, *что безгранично выше его,* т. е. Правде сверхнародной, той *Правде Высшей,* которая одна только и дает смысл существованию и человека и народа и которая есть *Правда Божественная.*

Из нее и вдохновлялся русский народ во всех высших проявлениях своей культуры и своей духовной жизни и духовной традиции, несмотря на все свои глубокие, глубочайшие падения и грехи (вспомним, например, все ужасы и всю глубину разврата и озверения русских людей в годы Смутного времени в начале 17-го века — достаточно прочитать в дрожь повергающее повествование знаменитого подвижника и борца за Россию, Авраамия Палицына, келаря Троице-Сергиевой обители [213]). Из нее, из этой Правды Божественной, вдохновится и возрождение духовное русского народа и победа — и внешняя и внутренняя — над силами тьмы.

Пророческая книга Достоевского «Бесы», предвосхитившая, в своем прозрении вперед, разгул бесовской стихии по лицу русской земли, заканчивается, может быть, также пророчески (так верил Достоевский, так верим и мы): образом евангельского бесноватого (он же, по словам Степана Трофи-

мовича, — «великий и милый наш больной — наша Россия»), из которого изгнаны были бесы силой Божьей. То же повторится и с Россией. Войдут бесы в свиней и бросятся «со скалы в море»... «Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых».

Духовное возрождение и восстановление России возможно лишь под знамением Воскресения: победы Божией над силами тьмы и той прощающей и восстанавливающей Любви, которая открылась в подвиге и победе Сына Божия и излилась из Него.

Подготовление этой победы, которая вместе с тем будет даром свыше, и участие в ней требует прежде всего духовного подвига и от каждого из нас и от русского народа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]) ... Что до меня касается, то я знаю, что во сколько я могу быть полезен, ей (своей матери) обязан я и своим направлением, и своею неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у которого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения дает такое убеждение. Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему ...» (Письмо к М. С. Мухановой 10 сентября 1857 года).

[2]) И. Забелин. «Домашний быт русских царей в шестнадцатом и семнадцатом веках». Часть 11, стр. 558. Москва 1915 г.

[3]) Забелин. Там же, стр. 51.

[4]) Письмо от 28 авг. 1812 г. («Русский Архив» 1874 г. № 11, стр. 1096).

[5]) «Русская Старина», 1865 г., стр. 375.

[6]) Она перешла потом к протоиерею Н. В. Арсеньеву, женатому на княжне Х. С. Голицыной, старшей представительнице этой ветви.

[7]) См. «Биография Ф. И. Тютчева». — Собрание сочинений И. С. Аксакова, Москва 1886 г.; далее, «Материалы для биографии И. В. Киреевского», написанные его полубратом Н. В. Елагиным, 1861 г.; см. полное собрание сочинений И. В. Киреевского, Москва 1911 г., т. 1, стр. 6.

[8]) «Былые годы» в «*Русской мысли»,* Прага, 1923 г. кн. 1-11, стр. 104, 98-99.

[9]) Очерк «Авдотья Петровна Елагина» (1877). См. собр. сочин. К. Д. Кавелина, том 111, стр. 1121 - 1122, 1125, 1126, 1127.

[10]) Н. Н. Гусев. «Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой». Москва, 1927 г. Стр. 26, 23, 33-37.

[11]) Имение Трубецких.

[12]) Кн. Е. Н. Трубецкой. «Из прошлого», стр. 31.

[13]) Кн. Е. Н. Трубецкой. «Из прошлого», стр. 34.

[14]) «Очерк семейного быта Аксаковых». Отрывок, написанный Иваном Сергеевичем Аксаковым, напечатан в «Иван Сергеевич Аксаков в его письмах» в качестве вступления. Том I. Москва, 1888. стр. 12-13, 14, 17.

[15]) Там же (смотри предыдущую стр.).

[16]) И. И. Панаев «Литературные воспоминания». Ленинград, 1928 г., стр. 246-247.

[17]) «Дневник Веры Сергеевны Аксаковой 1853—1855 г.». Редакция и примечания кн. Н. В. Голицына и Щеголева. СПБ. 1913. Особенно стр. 25-26.

[18]) Кн. Е. Н. Трубецкой «Из прошлого», стр. 25—26.

[19]) Из архива Т. А. Кузьминской; приведено у Бирюкова: «Л. Н. Толстой. Биография», том II, Берлин, 1921 г. Стр. 82—84.

[20]) Приведено в книге Бунина «Освобождение Толстого», Париж, 1937. Стр. 111.

[21]) Кн. Е. Н. Трубецкой. Воспоминания. София, 1921. Стр. 131—133.

[22]) Помещено под заглавием «Письмо из советской тюрьмы» в «Вестнике» (Органе РСХД). Париж, август 1928.

[23]) См. Прот. Сергий Четвериков «Оптина пустынь». Париж. Имка-Пресс. Стр. 149—150. (Письма Н. П. Киреевской к оптинскому старцу иеромонаху о. Макарию).

[24]) Собрание писем Святителя Феофана, вып. V. Москва, 1899. Стр. 17, 22—23, 25—26, 28—29, 41, 19, 31, 15.

[25]) Собрание писем Святителя Феофана. Стр. 122, 130, 131, 146.

[26]) Собрание писем Святителя Феофана.Выпуск III. Москва, 1898. Стр 96.

[27]) Собрание писем Святителя Феофана. Выпуск I. Москва, 1898. Стр. 75.

[28]) Письма Высокопреосвященного Филарета, Митрополита Московского к Е. В. Новосильцевой. Москва, 1911 г. Стр. 61.

[29] Там же, стр. 64—65.

[30]) Там же, стр. 79, 112—113, 190.

[31])) См. «Татевский сборник» С. А. Рачинского. СПБ, 1899. Стр. 128—133.

[32]) *М. П. Погодин.* «Русский Архив», 1882, № 5.

[33]) *М. П. Погодин.* «Воспоминания о С. П. Шевыреве». СПБ. 1869.

[34]) *А. П. Петковский.* Материалы для биографии Веневитинова. Сборник, изданный студентами СПБ-ского университета. СПБ. 1860. Вып. II, стр. 225. Эта цитата и обе предыдущие взяты из советского издания: «Д. В. Веневитинов. Полн. собр. соч. Академия.» 1934. стр. 366.

[35]) Приведено там же, стр. 408, 407, 406.

[36]) 1827 г. (№ 33 в цитированном полном собрании сочинений).

[37]) В том же письме читаем: «Я недавно купил Платона, но устал от своего издания — оно без перевода и без нот (примечаний) и тем очень замедляет чтение». Он читает, как мы видим, Платона по-гречески, (Письмо № 12. *Д. Веневитинов.* Полное собр. соч., стр. 300—302). А в одном из предыдущих писем к тому же Кошелеву (№ 10) он пишет: «Виноват перед Вами. Вы у меня требуете Вашего Шеллинга, а я, вопреки Вашему приказанию, еще удержал его».

[38]) *А. И. Кошелев*. Записки. Берлин. 1884, стр. 11-12. Срв. *М. Аронсон и С. Рейсер*. «Литературные кружки и салоны». Ленинград. 1929. Стр. 125-126.

[39]) «Жизнь и труды Погодина» Н. Барсукова. Кн. II. СПБ. 1890. Стр. 48.

[40]) Сочинения А. С. Хомякова. т. VIII. Москва. 1904. Стр. 119.

[41]) Кн. В. Ф. Одоевский. «Русския Ночи». Вторая ночь. Москва. 1913. Стр. 90. (Перепечатка с I-го изд. 1844 г.). Задуманы были «Русския ночи» Одоевским еще в 20-ых годах, отдельные части были напечатаны в 30-ых годах. Курсив мой.

[42]) *Н. Анненков*. Н. В. Станкевич. Москва. 1857. Стр. 8.

[43]) *В. Г. Белинский*. Письмо к М. Бакунину от 16. 8. 1837 г. (Письма, т.I. СПБ. 1914, стр. 110; срв. *Аронсон*, стр. 135).

[44]) *И. С. Тургенев*. Воспоминания о Н. В. Станкевиче. «Вестник Европы», 1899. Т. I., стр. 14-15.

[45]) Письмо к В. Г. Белинскому от 30. 10. 1834. См. «Переписка Н. В. Станкевича». Москва. 1914. Стр. 408-409.

[46]) Письмо от 10. XI. 1835 г. «Переписка Н. В. Станкевича», стр. 338.

[47]) Москва, 2. XII. 1835. Там же, стр. 345.

[48]) Удеревка, 21. XI. 1836. Там же, стр. 366.

[49]) Письмо от 2. XII.1835. Там же, стр. 345.

[50]) Пятигорск, 14. 6. 1836. «Переписка Н. В. Станкевича», стр. 446-447.

[51]) Грановскому (там же, стр. 450)

[52]) Неверову, Москва, 18. 5. 1833 (там же, стр. 217).

[53]) Ему же, Москва, 18. 3. 1831.

[54]) Стр. 208.

[55]) Удеревка, 6. 8. 1835 (Переписка, стр. 329).

[56]) Удеревка, 30. 10. 1834. (стр. 408).

[57]) Срв. письмо к Неверову от 3. 3. 1837 г. (Переписка, стр. 371).

[58]) К Неверову, Москва, 25. 1. 1837. (там же, стр. 369).

[59]) К. Аксаков. «День». 1862. № 39-40.; срв. Аронсон, стр. 175.

[60]) Воспоминания А. И. Кошелева о Хомякове. См. Сочинения Хомякова, т. VIII, Письма. Москва, 1904. Стр. 125—126.

[61]) От 15. 9. 1843 г. «Сочинения», т. VIII, 367.

[62]) Там же, от 11. 12. 1853. — Соч. VIII, 274.

[63]) Курсив мой.

[64]) От 1. 1. 1854. VIII, 209. срв. письмо к Ивану Аксакову — VIII, 367.

[65]) От 15. 9. 1843 — VIII, 367.

[66—68]) Курсив мой.

[69]) Соч. VIII, стр. 349.

[70]) Соч. VIII, 342.

[70а]) Сочинения VIII—72.

[70б]) Из письма к Самарину. Апрель 1858. VIII—282.

[71]) Срв., например, юмористический рецепт, который он предписывает Ю. Ф. Самарину в письме от 3. 9. 1858 г. — VIII, 284.

[72]) Письмо от 17. 3. 1848 г. к А. Н. Попову — VIII, стр. — Срв. мою брошюру «О Хомякове». Варшава, 1943 г. Стр. 5—6.

[73]) Примером такого духовного «повивания», такого духовного педагогического воздействия в тиши является, например, следующее письмо Хомякова к Самарину от 15. 10. 1843 г.: «Содержание Вашего письма было для меня не неожиданно. Вы может быть вспомните наш разговор с Вами и Аксаковым, когда я Вам обоим обещал внутреннюю борьбу и даже пророчил, что она начнется у Вас прежде, чем у него. В его природе более мечтательности, и — не во гнев ему будь сказано — женственности или художественности, охотно уклонявшейся от требований логики. Вы за дело принялись мужественно; сознавшись в своем внутреннем раздвоении. Я этого ожидал, но, признаюсь, не так скоро» Срв., например, еще следующее место из воспоминаний Д. Погодина, сына историка: «Хомяков был опасным соперником начинавших уже появляться людей с крайним, так называемым «красным» оттенком. Оттенок этот проскользнул уже в университете и коснулся молодежи ... Маленький студенческий кружок этот собирался на Воздвиженке, во флигеле углового дома знаменитого красавца в былые времена, грека Орфано, женатого на очень богатой барыне Мусиной-Пушкиной ... Молодые люди этого кружка зачитывались Фейербахом, Ренаном и всем, что писалось с целью колебания веры в Бога. Об этом кружке узнал А. С. Хомяков и со страстной настойчивостью своей натуры взялся наставлять молодежь на путь истинный, приезжал раз в неделю во флигель большого дома Мусиной-Пушкиной беседовать с «заблудившимися». Д. М. Погодин «Воспоминания», «Исторический Вестник», 1892 г. Том 48. Стр. 39—40.

[74]) «Русский Архив». 1879 г.

[75]) А. И. Кошелев «Воспоминания о Хомякове», «Русский Архив». 1879. Том III., стр. 260. Срв. Аронсон стр. 159—160.

[76]) П. Бартенев «А. П. Елагина», «Русский Архив». 1877. Том II, стр. 445. Срв. Аронсон стр. 160—161.

[77]) «Русский Архив» 1880. Том II, стр. 271,срв. Барсуков «Труды и жизнь Погодина» кн. У., 1892 г. Стр. 475—476.

[78]) «РусскийАрхив» 1880. т. II, стр. 322—324; срв. Барсуков, VII, 1893, стр. 102.

[79]) Приведено в книге М. Гершензона «П. Я. Чаадаев». СПБ, 1908. Стр. 120—121, 122 с подлинников, хранящихся в Румянцевском музее (подлинники на французском языке).

[80]) Письмо к Алексею Веневитинову. Февраль 1843 г. (VIII, 69)

[81]) Письмо к А. Н. Попову от 13. 2. 1849 г. (VIII, 188).

[82]) «Из московской жизни сороковых годов». «Дневник Елизаветы Ивановны Поповой». СПБ, 1911. Записи от 9. 1. и 20. 1. 1847 г. (стр. 10 и 15).

[83]) Кн. П. А. Вяземский. Сочинения, т. VII, стр. 329. Срв. Аронсон и Рейсер «Литературные кружки и салоны». Ленинград, 1929. Стр. 154—155.

[84]) А. Ф. Тютчева «При дворе двух императоров». Москва, 1928. Стр. 70—73.

[85]) Кн. А. В. Мещерский. Воспоминания. «Русский Архив». 1901. Кн. I, стр. 101.

[86]) А. И. Кошелев «Воспоминания о Хомякове». «Русский Архив». 1879. Кн. III, стр. 126; срв. Аронсон, стр. 169.

[87]) Гр. В. А. Сологуб «Воспоминания о князе В. Ф. Одоевском». Москва, 1865, стр. 96—97; срв. Аронсон, стр. 174.

[88]) О. О. «Из воспоминаний о князе Одоевском», «Русский Архив». 1892, кн. I, срв. Аронсон, стр. 181.

[89]) А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма, со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой, под ред. Цявловского. Москва, 1929, стр. 50.

[90]) А. О. Смирнова, Записки, СПБ, 1895. Т. I, стр. 49—51, 54, 313; срв. Аронсон стр. 185—186, 188.

[91]) Там же, стр. 312—313; срв. Аронсон, стр. 188.

[92]) Следовало бы упомянуть еще, например, о музыкально-литературных собраниях у добрейшего, культурно-утонченного мецената и знатока музыки, графа М. Ю. Вельегорского, много доброго сделавшего на своем веку благодаря своим придворным связям; о литературных собраниях у автора «Тарантаса», графа В. А. Сологуба, у поэтессы графини Растопчиной, об интимных литературных вечерах у В. А. Жуковского, о литературно-музыкальных средах, с участием композитора М. Глинки и художника Брюллова, писателя Кукольника, и т. д. Соллогуб живо описал в своих талантливых «Воспоминаниях» («Исторический Вестник». 1866, Т. XXIV, стр. 560—561, также отдельно литературные вечера, происходившие в его доме. Материал современных свидетельств об этих и ряде сходных собраний начала и середины XIX-го века подобран в чрезвычайно ценной хрестоматии «Литературные кружки и салоны», составленной М. Аронсоном и С. Рейзером, на которую я уже многократно ссылался.

[93]) Кн. Е. Н. Трубецкой «Воспоминания». София, 1921. Стр. 180-182.

[93а]) Теперь воспоминания кн. О. Н. Трубецкой вышли в Чеховском издательстве, Нью-Йорк, 1953.

[93б]) Недавно вышла книжка «Из бесед Владыки Сергия Пражского», Париж, 1957.

[94]) Вересаев «Пушкин в жизни». Вып. II, стр. 3. Москва, 1927.

[95]) Письмо к брату Льву, конец октября 1824.

[96]) П. Анненков «Материалы». Стр. 111—112.

[97]) Вересаев «Пушкин в жизни», стр. 27.

[98]) «Русский Архив». 1882 г. 1—230.

[99]) Вересаев. II, 34.

[100]) Письмо к Плетневу от 7. 9. 1830 г. (Вересаев, III, 29).

[101]) К нему же от 9. 12. 1830 г. (Вересаев, III, 35).

[101а]) Барон Б. Э. Нольде. «Юрий Самарин и его время». Париж, 1926. Стр. 18.

[101б]) Срв. его письма от 11. 7. 1833 г. и 19. 7. 1832 г. Н. В. Станкевич. Переписка и его биография, написанная П. В. Анненковым. Москва, 1857. Том II. Стр. 38, 40—43, 7, 98.

[102]) 2. 8. 1830 г. Сочинения А. С. Хомякова. Москва, 1904. Том VIII, стр. 27.

[103]) Там же, VIII, 87, июнь 1837 г.

[104]) Из письма к Веневитинову, 1853 г. Там же, VIII, 39.

[105]) Из письма к Веневитинову, 1844 г. Там же, VIII, 73.

[106]) От 1. 12. 1850 г. Там же, VIII, 196.

[107]) Срв. его письма к брату Михаилу в «Богословском Вестнике», сентябрь 1915 г., стр. 51—53.

[108]) Бунин «Роза Иерихона». Берлин, 1924. Стр. 67 и 69 («Пост»).

[109]) Бирюков «Биография Л. Н. Толстого». Москва, изд. Толстовского музея. Стр. 18.

[110]) Н. Н. Гусев «Жизнь Л. Н. Толстого». Москва, изд. Толстовского музея. Стр. 18.

[111]) Гусев. Стр. 43.

[112]) Статья «Невольное пробуждение старых мыслей и чувств» («Гражданин», 1887 г. № 33).

[113]) Срв. выше гл. I.

[113а]) Срв. ценную брошюрку «Астафьево», изд. Управлением музеями-усадьбами. Главнаука Н. К. П. Москва, 1927.

[114]) Но сколько зато других драгоценнейших гнезд и средоточий культуры было уничтожено и разорено и расхищено большевиками.

[115]) Д. Благой «Мураново». Стр. 23—25.

[116]) «Русская Старина». 1897 г., кн. IV, стр. 597. Срв. Н. Трубицин «О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века». СПБ, 1912.

[117]) О хоре кн. Ю. Голицына см. подробно в записках его дочери Хвощинской в «Русской Старине» 1897 г.

[118]) Записки М. И. Глинки. СПБ, 1887. Стр. 5—6. Приведено у Трубицина, ук. соч. стр. 31—34.

[119]) Приведено у Трубицина, стр. 33. У него же ряд других примеров.

[120]) В сборнике М. Азадовского «Литература и фольклор», Ленинград 1938. Стр. 24.

[121]) «Литературное наследство», изд. Академии Наук СССР, 37/38: «Л. Толстой», II Москва, 1939. Стр. 104, 106.

[122]) Напечатано в 38 томе полн. собран. сочинений Л. Толстого.

[123]) Письмо, за исключением отдельных выражений написано по французски.

[124]) Например, житие Дионисия Глушицкого, Саввы Крыпецкого, Лонгина Коряжского, Павла Обнорского и др.

[125]) Рукопись № 230 бывшей библиотеки Соловецкого монастыря 105, цитировано у Ив. Яхонтова: «Житие святых севернорусских подвижников Поморского края». Казань, 1881 г. Стр. 232—233 прим.

[126]) В. Иконников «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории». Киев, 1869. Стр. 98—99.

[127]) Ркп. 228 Соловецкой библиотеки, лист 29. Срв. И. Яхонтов, стр. 233.

[128]) Профессор философии, ученик Гегеля.

[129]) Письмо от 29. 17. 1837 г. («Переписка Н. В. Станкевича 1830—1840», редакция и издание Алексея Станкевича. Москва, 1914. Стр. 158—159, 161—162.

[130]) Письмо от 2 окт./2о сентября 1837 г. Там же, стр. 388—384.

[131]) Письмо от 11/26 февр. 1830 г.

[132]) Письмо от 14/26 марта 1830 г.

[133]) Полное собрание сочинений И. В. Киреевского, под редакцией М. Гершензона, том I. Москва, 1911. Стр. 29. Письмо от 20/2—4/3. 1880 г.

[134]) Там же, стр. 221.

[135]) Письма Н. В. Гоголя, под редакцией В. Шенрока, том I, СПБ, 1902., стр. 542—543. Письмо от 7. 11. 1838 г.

[136]) Полн собр. соч. А. С. Хомякова. Москва, 1900. Том I, стр. 13а.

[137]) «Заметки об Англии и об английском воспитании». Собр. соч., т. 3, стр. 469—470.

[138]) Письмо 4 к Пальмеру, 1847 г.

[139]) Письма Гоголя, том I, стр. 439 (к А. С. Данилевскому, апрель 1837 г.).

[140]) Там же, стр. 493—497 (к М. П. Балабиной, апр. от основания 2588 г.).

[141]) Там же, стр. 506 (от 13. 5. 1838 г.).

[142]) Там же, стр. 622 (к С. П. Шевыреву 25. 8. 1839 г.).

[143]) Полн. соб. соч. кн. П. А. Вяземского, изд. С. Д. Шереметевым, СПБ, 1882. Том 7, стр. 97—98. «Допотопная или допожарная Москва» (1865).

[144]) А. Ф. Тютчева «При дворе двух императоров.

[145]) «Биография Ф. И. Тютчева» собр. соч. И. С. Аксакова, Москва, 1886 г.

[145а]) «Материалы для биографии И. В. Киреевского», составленные его полубратом Н. В. Елагиным (1861 г.). См. Полное собрание сочинений И. В. Киреевского. Москва 1911 г. Том I.

[146]) «Литературное наследство», изд. Академии наук. Москва. 1939.

[147]) А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. № 80: Зорька, Вечорка и Полуночка.

[148]) Там же. № 95: Иван-Царевич и Белый Полянин.

[149]) Там же. № 128: Царь-девица.

[150]) Там же. № 125: Морской царь и Василиса Премудрая.

[151]) Русская Мысль, Прага-Берлин. 1923. Т. I—II,стр. 233—234.

[122]) Ончуков, «Печорские былины». 1904, стр. 336.

[153]) Ф. Буслаев. Русская хрестоматия, 1891, стр. 398.

[154]) Буслаев, стр. 403.

[155]) Ончуков, «Печорские былины», «Застава богатырская», стр. 6—7.

[155à]) Буслаев, стр. 400.

[156]) Ончуков, стр. 246—249. «Добрыня и змей».

[157]) Буслаев, стр. 392.

[158]) Буслаев, стр. 385.

[159]) «Домашняя Беседа», 1864 г.

[159а]) Сказание о странничестве ... инока Парфения, Москва, 1855г. Том II. Стр. 78—79.

[160]) Мельников-Печерский. «В лесах». Часть IV. Гл. 2, стр. 265. Срв. очерк Пришвина: «У стен града невидимого», «Русская Мысль», Москва, 1909 г. Январь-февраль-март.

[160à]) П. И. Мельников, «Очерки поповщины», Полн. собр. сочин., СПБ. 1909, Т. VII.

[161]) Владим. Андерсен. «Старообрядчество и сектантство». СПБ., стр. 174—175.

[161à]) = В эти(!)

[162]) Ловягин. Кн. Г. А. Потемкин-Таврический. Русский библиографический словарь, VIII, 1905, стр. 656.

[163]) «Приказы и войска, начальству моему высочайше-вверенные». «Русская старина». 1873 г., II, стр. 722.

[164]) Там же, 1875, май, стр. 23.

[165]) Там же, стр. 31.

[166]) Там же, стр. 33.

[167]) Там же, стр. 39.

[168]) См. Масловский. Письма и бумаги А. В. Суворова, Г. А. Потемкина и П. А. Румянцева. СПБ, 1894. Стр. 224.

[169]) Ловягин. Стр. 657.

[170]) «Какие приказания были Его Светлости Обер-штетер-крикс-комиссару Фалееву о строениях в городе Николаеве». «Русская старина», 1874 г. II, стр. 291.

[171]) Там же, стр. 289—299.

[172]) Донесение кн. Потемкина императрице Екатерине, от 8 окт. 1786 г. «Русский Архив». 1865, стр. 747.

[173]) «Русский Архив» 1879, III, стр. 19.

[174]) См. «Русская Старина» 1875 г. июнь, стр. 166—168.

[175]) «В самое то время, когда он так щегольски одевался и так нарядом своим занимался, приказал сделать себе и мундир из солдатского сукна, дабы подать пример недостаточным офицерам». — Записки Л. И. Энгельгардта (1766—1836). Москва, 1867 г., стр. 106.

[176]) Письма к графу А. А. Безбородко, «Русский Архив», 1873 г. III, стр. 166.

[177]) «Русский Архив», 1881 г. II, стр. 17—23.

[178]) Lettres et pensées du Maréchal de Ligne. Paris, 1809, p. 164—167.

[179]) Привожу здесь два стихотворения Андре Шенье, которые могли навеять некоторые образы и настроения из приведенных выше стихотворений Пушкина «Нереида» и «В младенчестве моем она меня любила».

„Je sais quand le midi leur fait désirer l'ombre
Entrer à pas muets sous le roc frais et sombre,
D'ou parmi le cresson et l'humide gravier
La naiade se fraye un oblique sentier.
La j'épie à loisir la nymphe blanche et nue
Sur un banc de gazon mollement étendue,
Qui dort, et sur sa main, au murmure des eaux,
Laisse tomber son front couronné de roseaux . . ."

(Etudes et fragments, X.) *)

А вот обучение ребенка игре на флейте:

„Toujours ce souvenir m'attendrit et me touche,
Õuand lui-même, appliquant la flûte sur ma bouche,
Riant et m'asseyant sur lui, près de son coeur,
M'appelait son rival et déjà son vainqueur.
Il façonnait ma lèvre inhabile et peu sûre
A souffler une haleine harmonieuse et pure;
Et ses savantes mains prenaient mes jeunes doigts,
Les levaient, les baissaient, recommençaient vingt fois,
Leur enseignant ainsi, quoique faibles encore,
A fermer tour a tour les trous du buis sonore".

(Etudes et fragments, IX)

(Цитирую по изданию: „Poésies de André Chénier“. Edition critique, p. p. L. Becq de Fouquière. Paris. 1862).

180) Писатель Б. Маркевич, друживший с Алексеем Толстым и часто бывавший у него в имении, так описывает эту речку в своем рассказе: «Марина из Алого Рога»: «Все сияло, пело, благоухало вокруг... Густыми и стройными рядами слева и справа подымались со дна реки тонкие стебли высокого тростника, тихо помахивая бледно-лиловыми новорожденными перьями. Шильник и душистый аир несли вверх свои острые иглы и смелые, как лезвие шпаг, языки... На светлой речной глади глянцевитыми блюдами лежали круглые листы кунавок и бело-бархатные маковки, задетые веслом... исчезали в струях и всплывали вновь, на миг ракрыв под их тяжестью свою, как золото, ярко-желтую сердцевину. Нескончаемыми извилинами бежал Алый Рог: то близко сходились высокие берега и, спутывая свои ветви, низко опускали их с обеих сторон, над водой дубы и ольхи, то расходились они в широкий плёс».

181) «Русская старина», 1884. Том 51, стр. 197. См. статью А. Левенстина «Граф А. К. Толстой, его жизнь и произведения» в «Вестнике Европы», 1906, октябрь, стр. 507.

182) «Вестник Европы» 1895 г., том X, стр. 645 и 661.

183) Приведено И. Тхоржевским в его «Русской литературе».

184) Срв. другую заметку из записной книжки Достоевского (написано в последнем году его жизни): «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога...»

185) Напечатано впервые в «Домашней Беседе» в 1864 г.

186) См. очерк «Влас» в «Дневнике писателя», за 1873 г.

187) Цитировано у Герцена, «Былое и Думы», т. 2.

188) Срв. Н. Н. Ушаков. «Спутник по древнему Владимиру и городам Владимирской губернии». Стр. 36. Сравни с этим восторженное описание красоты церковного престола в храме св. Софии в Константинополе (в «Русском хронографе», 1512): «Престол же церковный сице сотвори: собра воедино злато с сребро и бисерие и камение многоценно и медь и олово и железо и ото всех вещей и вложи в горнил и егда смесишася слия трапезу и меру ея. И бысть красота трапезы сиречь престола неизреченно и недомысленно уму человечью, зане же убо овогда злато являша ся, овогда сребрена, овогда же яко камень драгий и овогда инако. Амбон же златом и сребром и камением драгим украси, такоже и двери его не может ум человечь постигнути и покров церковный такоже златом украси». Полное собрание русских летописей. Петербург, 1911, т. XXII, стр. 294.

[189]) См. А. Попов. Историко-литературный обзор полемической литературы. 1875. Стр. 395 (приведено у А. В. Соловьева, см. след. прим.)

[190]) См. об этом замечательную статью проф. А. В. Соловьева «Святая Русь» в «Сборнике русского археологического общества в королевстве СХС», т. I, 1927.

[191]) Срв. например, потрясающий рассказ о пасхальном богослужении в лесу в замечательной книге А. Шварца „In Wologdas weissen Wäldern“. Hans-Harden Verlag. Altona, S. 86-90.

[192]) «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника святыя горы Афонския инока Парфения», Москва. 1855. Том 2, стр. 95 и 97.

[193]) Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. Москва, 1858. Слово 65, стр. 491.

[194]) Инока Парфения «Сказания...» Ч. 2, стр. 35, С. 1, стр. 210, Ч. 2, стр. 32—34.

[195]) «Русские святые, чтимые всею Церковью или местно. Опыт описаний жизни их». Соч. Ф. А. Ч. (Филарет, архиепископ Черниговский). Чернигов, 1863 г. Мес. июнь. Стр. 42, 47.

[196]) См. «Полное жизнеописание иеросхимонаха Макария», издание Оптиной Пустыни. Срв. «Жизнеописание отечественных подвижников благочестия 18-го и 19-го веков», Москва 1909 г. Сентябрь. Стр. 132 и 115.

[197]) С. Ф. Платонов «Лекции по русской истории», Петроград, 1917. Стр. 408.

[198]) Срв. об этом мою работу «Образ страждущего Христа в религиозных переживаниях Средних Веков» в «Трудах русских ученых за границей», т. 2. Берлин, 1923 г., перепечатано в сборнике моих статей «Из жизни Духа». Варшава, 1935 г.

[199]) См. Безсонов «Калеки перехожие», №№ 1 и след. №№ 420 и след.

[200]) Творения св. отца нашего Кирилла епископа Туровского. Киев. 1880, стр. XCVII.

[201]) Курсив мой.

[202]) *В. Иконников* в своей замечательной работе «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (Киев, 1869) пишет: «судя по количеству сохранившихся рукописей и древних книг, более всего ценились писатели и сочинения созерцательного характера: Василий Великий, Дионисий Ареопагит, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин, Григорий Синаит, Лествица и Патерик» (стр. 233). В примечании к этому месту Иконников дает и более подробные к тому данные: «Обыкновенно сочинения разных писателей мы встречаем по одному, два и много три экземпляра в каждой из означенных (старых монастырских) библиотек; но этих писателей бы-

ло в гораздо большем количестве. Так, сочинений Василия Великого означено в Троицкой библиотеке 9 экземпляров, в Белоозерской — 8; Дионисия Ареопагита в Белоозерской — 6 экз., в Троицкой — 4; *Исаака Сирина* в Троицкой библиотеке — 7 экз., в Белоозерской — 17, в Волокамской — 13, в Соловецкой — 8» и т. д. Из приведенных Иконниковым данных явствует, что на первом месте по распространенности в четырех главных монастырских библиотеках стоит «Лествица» (82 экз.), на втором Исаак *Сирин* (45 экз.).

[203]) Аввы Исаака Сириянина Слова подвижническия. Москва, 1858. Слово 48, стр. 299, 300, 301, 302.

[204]) Эти слова Александра Голицына пересказал потом Юрию Никитичу Бартеневу, который, со слов Голицына, их записал (См. «Русский Архив», 1886 г. кн. 2, стр. 97—110; срв. Шильдер «Император Александр I», том III, стр. 223. СПБ, 1905).

[205]) См. подробно об этом в превосходной французской книге: Emile Haumant «La Culture française en Russie (1700—1900)» Paris, 1910, chap. XXI «1812» et chap. XXII «Les armées russes en France» (pages 270—281, 283—293).

[206]) Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, под ред. М. Гершензона. Том I. Москва, 1913, стр. 185.

[207]) Курсив мой.

[208]) Курсив мой.

[209]) G. H. Kühner. Nikolskoje, 25.

[210]) H. Gollwitzer „Und führen, wohin du nicht willst.“ III.

[211]) E. Grazioli und G. Hofman „Weisst du noch, Kamarad?“, 79.

[212]) Это мне раскизывал один близкий мне приятель его, когда я был летом 1954 года в Германии.

[213]) См. XIII том Сборника Императорского Исторического Общества.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ АРСЕНЬЕВ

(Библиография)

1. В исканиях абсолютного Бога. Москва, 1910.

2. Плач по умирающем Боге. "Этнографическое Обозрение" и отдельное издание. Москва, 1912.

3. Платонизм любви и красоты в литературе эпохи Возрождения. "Журнал Министерства Народного Просвещения". Санкт-Петербург, 1913 (Январь-Февраль) и отдельное издание (103 стр.) в том же году.

4. Пессимизм Джиакомо Леопарди. "Журнал Министерства Народного Просвещения". Санкт-Петербург, 1914, и отдельное издание, Москва, 1914.

5. Мистицизм и лирика. "Журнал Министерства Народного Просвещения". Санкт-Петербург, 1917, и отдельное издание, Москва, 1917.

6. Жажда подлинного бытия. Берлин, 1922.

7. Ostkirche und Mystik. München, 1925.
   - Mysticism and Eastern Church. London, 1927; New York, 1979 (St. Vladimir´s Seminary Press).
   - Мистика и Восточная Церковь (сокращенный вариант). Варшава, 1934.

8. Die Kirche des Morgenlandes. Sammlung Goschen, 1926.
   - L´Eglise de l´Orient. Paris, 1928 (Ed. Irenikon).
   - Biserica Rasariteana. Bucuresti, 1929.

9. Die russische Literatur der Neuzeit und der Gegenwart in ihren geistigen Zusammenhängen. Mainz, 1929.

10. Литургия и таинство Евхаристии. Париж, 1928 (YMCA-Press).

11. Православие, католичество и протестантизм. Париж, 1930 и 1950 (YMCA-Press).

12. Der urchristliche Realismus und die Gegenwart. Kassel, 1933.

13. The Primitive Christian Message and Present-Day Religious Trends. Milwaukee, 1936; London, 1937.

14. Эллинистический мир и христианство. Варшава, 1935; Мюнхен, 1960.

15. Из жизни Духа. Варшава, 1935.

16. Религиозный опыт Апостола Павла. Варшава, 1935; Мюнхен, 1960.

17. Das Heilige Moskau. Padeborn, 1940.
- Holy Moscow. London, 1940.
- La Sainte Moscou. Paris, 1948.

18. Von dem Geiste und dem Glauben der Kirche des Ostens. Leipzig, 1941.

19. Mohanimul si Colea Ascetico-Mistica in Biserica Rasariteana. Bucuresti, 1940 (La Ruma Cernauti).

20. Die Verklärung der Welt und des Lebens. Gütersloh, 1955.

21. Алексей Хомяков. Нью-Йорк, 1955.

22. Из русской культурной и творческой традиции. Франкфурт, 1959.

23. Преображение мира и жизни. Нью-Йорк, 1959.

24. Revelation of Life Eternal. New York, 1963.

25. Piété Russe. Neuchatel, 1963.
- Russian Piety. London, 1964;
Clayton (Wisconsin), 1964.

26. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966 ("Жизнь с Богом").

27. О Достоевском (Четыре очерка). Брюссель, 1972 ("Жизнь с Богом").

28. Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт, 1974 ("Посев").

29. Единый поток жизни. Брюссель, 1973 ("Жизнь с Богом").

Составил Серафим Милорадович

ОГЛАВЛЕНИЕ